ИВАН ШАМЯКИН

В добрый час



Иван Шамякин

В ДОБРЫЙ ЧАС

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Выше моста берега у речки крутые и высокие. Правда, поднимаются они не над самой водой, а поодаль, образуя пойму, по которой среди желтых наносных песков и течет эта небольшая река. Только на поворотах она подмывает то один, то другой берег, обнажая в песчаном грунте толстые корни, а иногда и целые стволы почерневших от времени деревьев.

Когда-то здесь был лес. И, видно, не очень давно, так как и сейчас ещё на одном берегу сохранилось несколько огромных дубов. Точно богатыри, глядят они, сняв шапки, в широкий простор, упрямо не желая покориться старости. Темно-коричневые, точно опаленные огнем, листья настороженно подрагивают на них до самой весны, пока не настанет их черед уступить свое место новым, молодым. На другом берегу от леса осталась лишь одна суховерхая сосна. Стоит она в колхозном дворе, как раз против конюшни; её комель, некогда шероховатый, так вытерт скотиной, что блестит как полированный.

Берег этот был песчаный, и песок с обрыва сползал в речку, засыпал её. Речка мелела с каждым годом, прямо на глазах.

А ниже моста, сразу же за дорогой, начинаются заливные луга, и берега тут низкие, болотистые, летом они так зарастают травой, что и вблизи воды не видно.

Луга тянутся — сколько хватает глаз — до самого леса, темной полосой подпирающего вдали небосвод. С обеих сторон от лугов на пригорки поднимаются деревни. Возле моста речка разливается широким и глубоким плесом.

Максим соскочил с телеги и задержался на мосту. Оглянулся вокруг. Пересчитал дубы. Перед войной их

было восемнадцать. Теперь только семь.

«Да, на всем война оставила свой след».

Ему захотелось проверить крепость льда на плесе. Он отковырнул комок мерзлой земли, подошел к перилам. Но, увидев во льду несколько свежих пробоин, швырнул свой комок в сторону. В лунках чуть заметно колыхалась черная вода.

Только один камень не пробил льда — должно быть, недостаточно сильно был брошен. От него во все стороны, как паутина, расходились белые трещины. «Как здесь все знакомо». Максим почувствовал в груди приятную теплоту.

Да, все очень знакомо, но вместе с тем — странное чувство! — словно бы не такое каким было шесть лет тому назад. Например, улица кажется короче, речка— уже, и расстояние от нее до деревни как будто уменьшилось.

Максим, опершись на перила, стал всматриваться в лед, стараясь разглядеть свое отражение. Оно было темное, неясное и слегка колыхалось.

— Д-да, немало воды утекло, — он произнес это вслух и двинулся за конем. — Но-о, ты! Порожний воз не тянешь!

Конь, остановившийся было за мостом в ожидании хозяина, лениво затрусил дальше. Затарахтела, забренчала, подскакивая на мерзлых комьях, разбитая телега. Максим шагал рядом, весело помахивая кнутом.

— Ну и гребелька!.. Неужто трудно было починить? Как только они осенью здесь пробирались?

Недалеко от моста — длинный пруд. В памяти Максима сохранилось много разных происшествий, связанных с этим прудом. Издавна это было любимое место ребят, особенно вот в такую пору, потому что замерзал лед здесь раньше, чем на речке. И теперь Максим услышал звонкий детский смех и увидел, как за кустами

мелькают заячьи шапки.

Группа мальчишек смело кружила вокруг широкой полыньи, выписывая коньками такие замысловатые фигуры, что Максиму даже стало завидно.

Мальчики, увидев его, подкатили друг к другу и остановились, о чем-то перешептываясь. Возможно, они удивлялись: только вчера Лесковец приехал домой, ещё и на улице ни разу не показался, не дал поглядеть на себя, а уже едет в лес.

— Что, хлопцы, держит? — весело крикнул Максим.

— Ага! Уже крепкий! — отозвались ребятишки.

Он догнал телегу, вскочил на нее, щелкнул кнутом.

— Но-о! Шевелись!

Конь рванулся и вдруг… выскочил из оглобель, натянув вожжи, прикрученные к передку. Чересседельник перевернул седелку.

Сзади звонко захохотали мальчишки.

— Тпру-ру! Падаль! — злобно выругался Максим и, чувствуя, как у него загораются уши, быстро соскочил с телеги и стал осматривать упряжь.

«Черт старый! Не мог дать сбруи получше. В такой хомут слон пролезет, не то что эта пигалица. Ну, ну, стой смирно! А то я… Как же тут быть, с таким хомутом?..»

Его сердитые размышления прерваны были мальчишками. Они неожиданно оказались передним. Раскрасневшиеся лица их были серьезны, степенны, будто это совсем и не они только что так громко хохотали.

— Может, помочь, дяденька? — тихо спросил один из них, но Максим увидел, как он лукаво подмигнул своим приятелям Максим по лицу узнал мальчика и тоже с

хитринкой спросил:

— Ты, случаем, не Михайлы Примака сын? — Его. А что?

— То-то, я вижу, хитер, как отец.

— А вы гужи подтяните, они длинные, — серьезно посоветовал другой.

Максим воспользовался советом и мигом запряг коня.

Но обиженный мальчик решил отплатить ему и, сделав вид, что больше не обращает на Максима никакого внимания, начал весело рассказывать товарищам: — А то летом был тут случай… Один начальник — из районных — ехал, и у него конь вот так же распрягся; за вербу зацепил, хозяин-то храпака задавал. Так вот, ходил он, ходил вокруг коня… А мы со Степкой гусей пасли, в кустах лежали… Ну и догадались: не умеет человек запрячь. Потом он нас заметил и идет к нам… Я и говорю Степке: скажем, что мы тоже не умеем запрягать… — И вдруг неожиданно, с осуждением, заключил: — Работнички!

Максим, усаживаясь на телегу, весело засмеялся.

Сосновый лес находился километрах в двух от реки. Он тянулся длинной полосой по высокому пригорку и был лишь немногим моложе Максима. Лесковец помнил, как его сажали, чтобы задержать наступление песков на урожайные поля, раскинувшиеся у реки, под дубами. За какие-нибудь пять лет сосняк перерос Максима и его сверстников. А перед войной это был уже славный колхозный лесок — любимое место детворы. Да и взрослые часто в праздничные дни отдыхали на опушке, где рядом с соснами вытянулись курчавые березки. Воздух в лесу в жаркие дни был густой и душистый.

Ранней осенью по утрам лес наполнялся веселым шумом и ауканьем ребят. И сколько бы их там ни было — и из Лядцев и из Добродеевки, — все через часок-

другой появлялись с полными кошелками красных рыжиков и скользких маслят. А ещё в лесу сгребали сосновые иглы, которыми засыпали хлевы, чтоб больше было навоза, и накрывали картофельные бурты.

Максим с волнением подъезжал к сосняку. Даже про случай у моста забыл. Но на опушке он, растерянный, остановил коня. От леса почти ничего не осталось. Со стороны деревни тянулась узкая полоска низкорослых, полузасохших сосен, которые издали и создавали впечатление, что лесок стоит нетронутым. На деле же за ними по обе стороны дороги раскинулась вырубка, заваленная сухими ветками. Большинство пней уже почернело, кора на них облупилась, некоторые были со всех сторон обколоты. Но немало попадалось и таких, которые поблескивали желтоватыми лысинами — следы совсем недавних порубок.

Сиротливо стояли одинокие сосны — либо слишком тонкие, либо низкорослые и сучковатые, не годные ни для постройки, ни на дрова — их трудно колоть.

У Максима сжалось сердце.

«Столько леса… Такое богатство… И так бессмысленно погублено».

Он долго стоял неподвижно, оглядывая вырубку. Не поднималась рука взять топор и свалить тут ещё хоть одно деревцо. Скорее поворотить бы коня и ехать назад в деревню. Но что скажут односельчане? Да и матери твердо обещал отремонтировать и утеплить хлевок для телушки. И после недолгих размышлений он нашел в конце концов оправдание.

«Что поделаешь? Война. И не такие богатства прахом пошли. А людям надо строиться… Выберу, которые все равно расти не будут. Да, наконец, один-то я много ли вырублю?»

И он поехал подальше вглубь, под Голое болото. Лес здесь был более поздней посадки, а потому почти нетронутый. Сосенки стояли высокие и гибкие.

Максиму как раз такие и нужны. Он скинул шинель, ослабил ремень на гимнастерке и, закурив, стал выбирать деревцо. Долго он кружил по сосняку, закинув голову и выпуская из трубки клубочки сизого дыма. Много раз он останавливался у сосенок пониже, гладил рукой кору, обламывал сухие ветки, пробовал большим пальцем лезвие топора. Но тут сердце снова охватывала жалость, и он шел дальше.

Наконец ему стало стыдно собственной нерешительности. Тогда он замахнулся топором, ахнул и изо всех сил вонзил его в ствол молодой сосенки—той, которая в этот момент оказалась перед ним. Лезвие топора больше чем на половину вошло в дерево. Сосенка испуганно вздрогнула, осыпала плечи Максима сухими иглами. Он ударил второй раз на вершок выше и отколол толстую щепку. Обнажилась белая рана. И тогда опять возникло то же чувство, которое он испытал, когда увидел вырубку. Максим поднял щепку, с минуту подержал её в руке, поднес к лицу. Ощутил знакомый горьковатый запах застывшей смолы. Но от этого сильнее вспыхнула злость на самого себя. «Такое ли рушили!» И ещё двумя взмахами топора свалил деревцо, начал обрубать ветки. Его остановил веселый возглас, вдруг раздавшийся над самым ухом:

— Эге! Узнаю отцовскую хватку!

Максим даже вздрогнул от неожиданности и быстро обернулся с поднятым топором. Перед ним стоял председатель колхоза Амельян Денисович Шаройка — человек лет пятидесяти пяти, с бритым лицом и короткими, аккуратно подстриженными усами. Во всей фигуре его, несмотря на возраст, чувствовалась какая-то особая слаженность, крепость.

Шаройка был в новом ватнике, в бараньей шапке, с берданкой за спиной.

— Воюешь?.. Ну, здоров, здоров, брат, здоров, — он подал руку, потом снял шапку, обнял Максима и троекратно поцеловал. — Значит, насовсем?.. Давно пора, давно, давно. Надо мирную жизнь строить…

Максим улыбнулся над его привычкой повторять одно и то же слово; может быть, поэтому у него и кличка на деревне была Амелька Троица.

— Прости, что вчера на чарку не пришел. Поздно приехал из района… После очередной головомойки.

Они сели на поваленную сосну, вытащили табакерки: Шаройка — дюралюминиевую собственной работы, Максим — трофейную, японскую, красного дерева, с инкрустациями.

Шаройка взял Максимову табакерку в руки, довольно чмокнул губами.

— Да, это вещь… Вещь… Ничего не скажешь, вещь… Отвык? Да-а, брат, трудно привыкать будет.

— К чему? — спросил Максим.

— Как к чему? Ко всему… Топором вот, к примеру, махать, в землянке жить…

Максима эти слова задели.

— Я не из хором пришел в землянку. Пять лет в землянках провел. Да и, наконец, землянка — дело временное. Будем и мы в хате. А вот вам, Амельян Денисович, должно быть стыдно, что семья погибшего партизана, мать двух офицеров Советской Армии до сих пор живет в землянке.

— Так, так, — Шаройка глядел в раскрасневшееся лицо Максима и весело улыбался. — Узнаю характер Антона Захаровича. Отец твой, бывало, ещё и не поздоровается, а уже начинает критиковать. Что ж, критика и самокритика — главное в нашей жизни. Меня критикой не обидишь. Я люблю её, люблю, брат. Только ты зря горячишься, Максим Антонович!

Мать твою вниманием не обходили. Кому-кому, а ей первой помощь была. Да только, скажу тебе, гордая она старуха. Спроси у нее, попросила она хоть раз чего-нибудь? А попробуй ей предложить — обидится, в этом

я, брат, убедился.

Доброе слово о матери успокоило Максима, и он, уже миролюбиво, как бы в шутку, сказал:

— А вы и рады были.

Шаройка почувствовал эту внезапную перемену и, пропустив замечание мимо ушей, зашел с другой стороны:

— Опять же, сам знаешь, помощь помощью, а такой груз, как хата, одной старой женщине не под силу… Сынклета Лукинична это хорошо понимала. Другое дело теперь, когда такой богатырь вернулся! Тут и помочь весело. Я уже подумал сегодня. В воскресенье мобилизуем все наше тягло, можем даже у соседей занять, чтоб за один день весь твой лес был дома. А там и бригаду перекинем… Миром, брат, это живо…

Максим поблагодарил.

— Не за что благодарить. Это наша святая обязанность. А критиковать — критикуй. Свежему человеку оно виднее, все наши промахи… Критикуй, брат, критикуй… Только спасибо скажу за это.

Максим посмотрел на лошадь, которая стояла поодаль и подбирала остатки брошенного сена.

— Скажете или нет — дело ваше. А критиковать есть за что… Вот… Видели вы, хозяин, этого коня? За такое отношение к лошади я душу бы вытряс кой из кого. Ей же богу… Вы простите, но…

Лицо председателя на миг потемнело, погасли задорные огоньки в глазах. Пальцы рук пробежали по ремню берданки, которую он держал перед собой между колен. Потом он прижался щекой к стволу и минуту помолчал.

— Да-а, конечно… Не знаючи, оно все кажется… А конь этот — инвалид войны. Надорванный, искалеченный… Их, может, половина таких. Такие кони в других местах

давно уже богу душу отдали. А у меня за два года, слава богу, только три подохло…

Максим перебил его:

— А вы видели, какая на нем сбруя? От такой сбруи любой конь ноги протянет. Да вы поглядите…

Но Шаройка не тронулся с места, только нервно щелкнул пальцами по стволу берданки. Глубокий вздох вырвался у него из груди.

— Да-а-а, брат. Указывать на недостатки, конечно, легче, чем исправлять их.

Максим понял, что председатель обиделся, и, про себя усмехнувшись, подумал: «Вот она — твоя любовь к критике». Но сказал более мирным тоном:

— Дело в том, Амельян Денисович, что обидно мне стало за свой колхоз и за вас… Вы же старый опытный хозяин. И вдруг — на тебе! Всего второй день я дома, а только и слышу: Лазовенка да Лазовенка. А кто такой Лазовенка? Мой одногодок. Васька-молчун. Откуда же это у него опыт? А, говорят, ещё какой-нибудь год назад «Воля» была отсталым колхозом.

Шаройка повернулся к Максиму, положил ладонь ему на плечо.

— Люди говорят… Люди, брат, чужое всегда хвалят. В чужих руках… знаешь пословицу? То-то и оно… Однако я соседа хаять не буду. Прямо скажу — молодчина Василь… Хозяйственный хлопец… Упорный… Но дело, брат, не в этом. Помощь — вот главное… Ему и МТС и весь район… И он там как дома. А я? Я там пасынок. Беспартийный. Откровенно тебе скажу — давно уже прошу, чтоб заменили каким-нибудь героем из демобилизованных, вот как Василь или ты, к примеру…

— Ну-у! Я председателем быть не собираюсь.

— Конечно, с твоим образованием—да в навоз… Теперь таких, как ты, на любую должность — только подавай.

Они ещё долго говорили, но уже довольно мирно. Лишь под конец Максим опять не сдержался.

— Вот ещё за лес следовало бы кой-кому голову намылить, — сказал он.

Шаройка усмехнулся.

— Главные виновники наказаны… Немцы… Дорогу через болото настилали. А нас беда заставила. Ты ведь знаешь, освободили нас перед самой зимой… И все было сожжено. Надо было хоть какие-нибудь землянки слепить. Ну и рубили всё.

— А сейчас? Смотрите, сколько свежих пней!

— Сейчас — конечно… Но… тоже, брат, на плечах люди носят… Без дров не проживешь…

— Никаких отговорок, Амельян Денисович. Порубку надо запретить и виновных карать… Как до войны… Помните?

Лицо председателя расплылось в лукавой ухмылке.

— Что ж, тогда первого порубщика я поймал… Максим сразу изменился в лице. Кровь прилила к голове, застучала в висках.

Шаройка, должно быть, увидел, что крепко задел за живое; он быстро поднялся, протянул руку:

— Заговорились мы с тобой. Действуй, а то хлевок совсем завалится, пока ты привезешь материал для ремонта.

Да, кстати… Говоришь, не помогали… А телушка? Гляди, через месяц-другой — своя корова, свое молочко.

Максим ничего не ответил, потому что до него эти слова не дошли. Он думал о другом, о своем поступке.

— Ну бывай… Я — за болото, на озимые погляжу, — и

Шаройка быстро зашагал между деревьями, широкоплечий, косолапый, как медведь.

Максим стоял и глядел ему вслед до тех пор, пока фигура его не скрылась в низине, за молодым березняком. Тогда Максим перевел глаза на срубленное деревцо. Оно лежало тоненькое, беспомощное, вызывающее жалость. У порубщика стиснуло сердце. А тут ещё, как назло, над самой головой застрекотала сорока, словно, смеясь над его человеческими заботами и огорчениями. Это окончательно испортило ему настроение. Он схватил топор, торчавший в поваленной сосенке, и быстро зашагал к возу.

2

Домой он привез хворосту да щепы, наколотой со старых пней.

— А почему на хлев ничего нет, сынок? — спросила мать, вышедшая помочь ему разгрузить воз.

— Не мог, мама, — рука не поднялась. Там же ничего не осталось. Столько вырубили!

Она повернулась и с нежностью посмотрела на сына.

— И хорошо сделал. Я из-за этого леска так однажды поругалась с Амелькой, что он и сейчас боится встречаться со мной. Посторонние рубят, а ему и дела нет. Что ему колхозное добро? Ему только свое было бы в сохранности… Вон каким забором огородился. Собак целую свору развел…

Слова матери неожиданно успокоили Максима; исчез тот неприятный осадок, который остался на душе от поездки в лес.

Обедали на сундуке, обитом ржавым железом. Сундук этот с тем, что получше из нажитого, больше двух лет простоял в земле.

Мать застелила его чистой вышитой скатертью.

Нарезала гору хлеба. На промасленный деревянный кружок поставила сковородку с яичницей. Потом откуда-то из-под кровати вытащила большую бутыль с черничной настойкой.

— Да сколько их там у тебя? — удивился Максим. Мать довольно улыбнулась.

— Эта больше года тебя дожидалась. Летошняя ещё.

Так настоялась, что просто чистый спирт… А ведь сколько я там водки той налила…

Он выпил рюмку и с аппетитом принялся закусывать. Мать сидела напротив, подперев щеку ладонью, и не сводила с сына глаз.

— Ешь, ешь, сынок. А то худой ты какой-то. — А ты, мама?

— Да ты не смотри на меня! Где ты видел, чтобы хозяйка голодная была? Когда готовила, всего напробовалась.

После того как Максим выпил вторую рюмку и рассказал о своей встрече с председателем и о том, что в воскресенье лес на хату будет лежать перед землянкой, мать вдруг тихо сообщила:

— А я Машу сегодня видела. На улице встретила.

Она не призналась, что сама заходила к ней.

Максим насторожился: за два дня мать ни разу не упомянула о Маше, а тут так неожиданно и, как ему показалось, некстати…

— Она, бедная, даже смутилась. То, бывало, что ни день — заходит ко мне, а то и слов не нашла… Ты бы, Максимка, сходил к ним, проведал бы…

— Схожу, схожу, мама. Не все сразу. — Он хотел скорей окончить этот разговор, но мать не унималась.

— Ведь она тебя так ждала!

— Так уж и ждала? — в шутку усомнился он.

— Что ты, Максимка, бог с тобой! Может, тебе злые языки что наговорили? Не верь, никому не верь. Матери поверь. Маша не девка, а золото. Дай мне бог такую невестку. Она и так была мне что дочь родная. Да и не верю я, что есть у нас люди, которые сказали бы о ней дурное слово. Это же такая семья! Сироты, а как живут! Они ведь остались одни ещё перед войной, когда их мать умерла. Саша и Петя тогда совсем малые были. При немцах они тихо так жили, неприметно. Те и внимания не обращали, что возьмешь с сирот! Перебивались, бедные, с картошки на квас. Хлеб и тот редко видели. А как пришли наши, их — и Машу и Александру—медалями партизанскими наградили. Вся деревня дивилась. Никто и не догадывался, что они все время связными были. А теперь Алеся учится в десятом классе, а Машу и в сельсовет приглашали, и в районе хорошее место давали — она ведь восемь классов окончила, — так нет же, не пошла... В колхозе работает. Я однажды даже поссорилась с ней из-за этого. А она мне говорит: не могу я так, тетечка, — все разбегаются из колхоза, а кто ж на земле будет работать, кто хлеб будет растить? И как работала! И пахала, и косила, и плотникам помогала. И войну вела с Амелькой. Мужчины так не критиковали его, как она. Звено организовала. Весной лен сеяли, а теперь рекордный участок жита у них. «Докажу, говорит, что и мы не хуже людей». Вот она какая! А ты, Максимка, говоришь...

Максим ни одним дзижением не мешал матери, пока она говорила. С интересом слушал он её. Мать разбудила в нем добрые чувства. Взволнованно и радостно забилось сердце. Маша! В самом деле, почему он откладывает встречу?

Летом сорокового года, когда он уезжал в морской техникум, они, счастливые и немного ещё наивные, поклялись тогда, августовской ночью, что будут каждый день писать письма и ждать друг друга хоть десять лет.

И они сдержали свою клятву. Правда, после освобождения их письма стали реже, были сдержаннее, более серьезны. Может быть, потому, что и сами они повзрослели. А быть может, делало свое дело время— остывали чувства. И все-таки, едучи домой, Максим всю долгую дорогу с Дальнего Востока до Белоруссии думал о том, как встретится с Машей и, конечно, в недалеком будущем женится. А вот приехал — и почему-то его не тянет поскорее увидеться с ней.

«Хватит ещё времени. Вся жизнь впереди», — беззаботно решил он в первый вечер. Слова матери напомнили ему о его обязанности перед Машей.

«Надо сегодня вечером сходить», — решил он. Мать встала, отошла и начала возиться у печи, такой маленькой и низкой, что для того, чтобы заглянуть в нее, приходилось становиться на колени. Вытащив чугунок и ухватив его фартуком, она вернулась к столу.

— Так что, сынок, не обижай Машу. Сколько к ней женихов сваталось! И учитель, и Василь... Василь, говорят, и теперь ещё по ней сохнет. Всем отказала. Тебя одного ждала...

«Опять Василь... Всюду Василь», — с неприязнью к другу подумал Максим.

Маша писала ему об этом сватовстве. Тогда он не придал этому значения и ответил веселой безобидной шуткой. Но сейчас какое-то непонятное ревнивое чувство зашевелилось в глубине души.

После обеда, усталый, слегка охмелевший, Максим лег отдохнуть и крепко уснул. Проснулся он поздно вечером и никуда не пошел—написал несколько писем фронтовым товарищам и опять лег спать.

А. утром он почувствовал некоторую неловкость от того, что за два дня ни у кого не побывал, не повидался ни с одним другом.

«Приехал и сижу в землянке, как медведь в берлоге.

Чадо нынче всех проведать. А в первую очередь сходить в Добродеевку в сельсовет, и повидать своего старого друга Василя. Познакомиться с секретарем… Как-никак и на партийный учет пора становиться…»

Кстати, был День Конституции. Праздник. В самый раз делать визиты. Максим поставил на сундук чемодан, в крышку которого внутри было вделано зеркало, и начал бриться.

И вдруг в зеркале он увидел, что мать, которая сидела на низенькой скамейке перед печью и пекла блины, незаметно вытирает фартуком глаза. Он быстро обернулся.

— Ты плачешь, мама? О чем?

Она посмотрела на него затуманенным взглядом, попыталась улыбнуться сквозь слезы.

— Ничего, сынок, отца вспомнила. Как он любил этот день! Это у него был самый большой праздник. Ни одного, кажется, праздника он не встречал с такой радостью. Даже точно молодел. — Она с минуту помолчала, склонив голову, потом встрепенулась, выхватила из печи подгоревший блин и заговорила опять. — Он и дома последний раз в этот день был. Пришел измученный, грязный, но веселый такой. Очень жалел, что блинов нельзя было напечь. До утра просидели мы с ним в темной хате. Он мне о боях на Волге все рассказывал, тебя и Алексея вспоминали. А на прощание сказал: «Ну, с тобой, Сыля, отпраздновал, пойду теперь с хлопцами попраздную…» А неделю спустя… — Мать всхлипнула.

Максиму много раз писали о героической смерти отца, но рассказ матери как-то особенно взволновал его. Он ладонью стер со щеки мыло, подошел и нежно обнял мать:

— Не надо, мама, — и сам неприметно смахнул рукавом слезу.

...Возле лавки Максима остановили толпившиеся там мужчины, поздравили с приездом и шутливо потребовали, чтобы он поставил по сто граммов. Пришлось задержаться. Потом подошли новые люди и стали угощать уже его. Поняв, что этому в такой день не будет конца, он незаметно вышел из лавки и быстрым шагом направился в Добродеевку, боясь, что ещё кто-нибудь остановит его и, чего доброго, затащит в хату. На улице с ним здоровались взрослые и дети. Он приветливо отвечал, хотя многих из молодежи и не помнил.

Он уже был в конце улицы, как вдруг встретился с Машей.

Произошло это совершенно неожиданно для обоих. Маша вышла из переулка, который между двух новых хат вел на колхозный двор. В руках у нее были вилы. Она была одета в старый заплатанный кожушок, на ногах — валенки с бахилами, на голове — серый вязаный платок.

От неожиданности девушка даже отшатнулась. Лицо её сначала побледнело, потом залилось краской.

Максим тоже остановился, с холодноватым любопытством разглядывая её.

«Почти не изменилась, пугала только меня в письмах, что постарела...»

Первой заговорила Маша. Спросила:

— Ты-ы?.. — словно не поверила своим глазам. Максим быстро подошел, протянул руку.

— Я. Не узнаешь?

Она сначала растерянно посмотрела на свою ладонь, вытерла её о кожушок, потом счастливо засмеялась и крепко пожала его руку.

— С приездом, Максим.

— Спасибо. Но… давай же хоть поцелуемся..

— Что ты! Смотрят!

И в самом деле, оглянувшись, Максим увидел, что в окнах ближних хат к каждому стеклу прижались лица. Люди с любопытством наблюдали за их несколько необычной встречей. Это смутило их. Маша стыдливо опустила глаза. Да и Максим некоторое время не мог найти нужных слов, начать разговор.

— Ты что?.. Работала?.. Ведь сегодня праздник.

— А мы уже кончили. Мы тут одно небольшое дело сделали… Готовимся к весне.

— Сейчас — к весне?

— А как же… А ты куда? — Она светлым счастливым взглядом посмотрела ему в лицо.

— В Добродеевку иду. Договориться насчет партийного учета.

Маша опять опустила глаза, задержала вздох, вот-вот готовый вырваться из груди, с легким укором сказала:

— А когда же мы встретимся? Приехал — и глаз не кажешь.

Он крепко сжал её шершавую руку.

— Приду, Машок, приду.

— Когда?

— Сегодня обязательно.

В её глазах опять блеснула радость. — Значит, ждать?

— Жди.

— Ну хорошо. Иди. Не будем прощаться. — Она нежно, провела рукой по его груди, легонько оттолкнула. А отойдя несколько шагов, обернулась и ещё раз

напомнила — Смотри же, Максим.

3

Когда Маша вошла в дом, Алеся читала.

Она стояла коленями на лавке, склонившись над столом, и уголком косынки вытирала слезы.

— Опять? Алеся! Ну и глупо же! Разве так можно? Над каждой книжкой плакать — слез не хватит.

Девушка закрылась ладонью и, не отвечая, продолжала читать. И только через несколько минут, должно быть, окончив она наконец оторвала от книги покрасневшие от слез глаза, посмотрела на сестру и засмеялась. Смех был беззвучный, но из глаз сверкнули сквозь слезы такие искристые лучи, что Маша тоже не выдержала. Она сбросила кожушок, развязала косынку и села рядом с Алесей, обняла за плечи, все ещё вздрагивавшие, неизвестно—то ли от плача, то ли уже от смеха.

— Чудачка ты! Что это у тебя?

— «Три сестры» Чехова. Читала?

— Читала. Но, помнится, не плакала. Жалко их… Но у нас другая судьба.

— Да, какая у них была жизнь, Машенька! Страшная, Ты смотри, какая тоска в словах Ирины, когда она повторяет: «В Москву! В Москву! В Москву!» А вот эти заключительные слова Ольги. Послушай, Машенька, — и Алеся начала читать. Прочитав, она закрыла глаза, шепотом повторила последние слова и вдруг порывисто обняла Машу. — Как мне хочется с такой же силой написать о нашей жизни.

— А ты попробуй.

Алеся отрицательно покачала головой. Они посмотрели друг другу в глаза и засмеялись.

— Знаешь, кого я только что встретила? — спросила вдруг Маша.

— Максима? — радостно воскликнула Алеся.

— Максима.

— И что же?

— Сегодня к нам в гости придет.

— Ой! А у нас... Все ли у нас в порядке? — и они обе долгим взглядом обвели комнату, придирчиво всматриваясь в каждую вещь.

Хата была новая. Прошлым летом её построили на государственный счет. Тесаные желтые бревна ещё не успели потемнеть и пахли смолой. На улицу хата глядела тремя широкими окнами. Правда, внутри ещё бросались в глаза недоделки: в перегородке, отделявшей кухню, не было двери, вторую перегородку, в чистой половине, только начали—к балке на потолке и к полу были прибиты брусья. Но хату уже по-хозяйски обжили, выглядела она чисто и уютно. Во всем видны были заботливые девичьи руки. На окнах висели марлевые занавески. Стол был застлан чистенькой вышитой скатертью. Над окном — портрет Ленина в простой, но красивой рамке, искусно сделанной из молоденькой березки. Над столом в углу — полочка для книг; над ней — отрывной календарь.

Осмотрев все, Алеся спросила:

— Ну как? Не осрамимся? — Думаю, что нет.

— А теперь давай сообразим, чем будем потчевать гостя. — Потчевать?

— Да. Чему ты удивляешься?

Маша на минуту задумалась, потом смущенно сказала: — А может, не стоит, Алеся? Что он — издалека? Только разговоры пойдут...

— Вот тебе и раз! Да пусть болтают! Кому ж это не известно, что мы ждали его, как самого близкого человека? И вдруг через шесть лет он первый раз войдет к нам дорогим гостем, а мы… Нет, нет! И не говори ничего, пожалуйста. Хочешь — сама встречай. А я так не могу.

Слова её убедили Машу.

«Это и хорошо, что мы посидим все вместе, и я присмотрюсь к нему, привыкну», — подумала она.

— Ну ладно… А в самом деле, чем же угощать?..

— Не горюй, Маша! — воскликнула Алеся. — Найдем. Грибы соленые у нас — пальчики оближешь, помидоры — тоже. Огурцы есть, хлеб и картошка есть… А вот сала… Сала нет.

— Сала нет, — повторила Маша и вздохнула, — Пустяки. Займем.

— Займем! Как ты легко занимаешь.

— Машенька, милая! А чего нам стыдиться? Не пройдет и года, как мы будем самыми богатыми людьми. Вот как вырастишь по сто пудов с гектара… А ты вырастишь, — я верю в это так, как, может, не веришь ты сама. Вырастишь!

— На десяти гектарах… — Маша вздохнула.

— А ты хотела бы сразу на пятистах?

— Чтоб колхоз богатым стал… А пока колхоз не разбогатеет…

— Брось! Давай лучше подумаем, у кого занять. Хорошо бы у тетки Сыли.

Маша засмеялась.

— Это здорово! Его же салом и угощать будем. Но Алеся и не улыбнулась.

— Постой… Это я ведь только так, прикидываю… Понятно, отпадает. У Шаройки? Ну его к черту, ещё откажет, жаднюга этакий. Он ведь ключи от амбара и то с собой носит, даже женке не доверяет. У Клавди? Ладно? Значит, решили! Я пошла.

Она быстро оделась и вышла.

Маша несколько минут сидела в глубоком раздумье. Потом взяла со стола маленькое зеркальце, погляделась в него и легко коснулась пальцем едва приметных морщинок у глаз. Вздохнула.

«Двадцать пять! Шесть лет ждала! Шесть лет! А эти вот два дня были самые тяжелые. Почему он сразу не пришел?» — и снова тень задумчивости легла на её лицо. Но через секунду она встрепенулась, пошла к печке, достала теплую воду и умылась. Потом надела праздничное платье, заплела волосы в две толстые косы и села у стола. Достала из ящика его письма, нашла последнее и с пытливым вниманием стала перечитывать. Так она читала, покуда не вернулась Алеся. Маша обрадовалась и сразу же стала делиться своими мыслями:

— А знаешь, Алеся, я очень рада, что его демобилизовали. Не знаю, как он… Он, кажется, насчет этого немножко другого мнения… Но я рада… Помнишь, он писал, что если его оставят в армии, я должна быть готова уехать туда… Признаюсь, мне тогда стало страшновато. Не поехать я не могла — ты понимаешь… Поехать… А вы тут как же?

— Ну, мы как-нибудь прожили бы…

— Все-таки… Да и я!.. Что бы я там делала, на Дальнем Востоке, в военном городке? Конечно, я бы нашла работу. Но я люблю землю, мне хочется работать на земле, в своем колхозе.

Алеся вышла на кухню и, напевая, захлопотала там. Маша минутку посидела одна, задумчиво глядя в окно, потом вышла к сестре — захотелось поговорить.

— Знаешь, о чем я сейчас думала? Буду уговаривать Максима, чтобы он остался в колхозе. Может, даже председателем. Вот — Василь…

Алеся не ответила и запела:

Ле-етят у-утки,
Ле-етят у-утки
И-и два гу-уся…

4

«А она все-таки постарела, — подумал Максим, выйдя из деревни в поле, — В этом своем кожушке похожа на простую деревенскую бабу».

Но ему тут же стало стыдно своих мыслей.

«Ерунда все это. При чем тут одежда? Не в том дело! Она ведь столько перенесла. И сейчас… В праздник — и то нет отдыха… Когда ещё весна, а она уже готовится…»

Ему хотелось как-то опоэтизировать Машу, хотя, может быть, и не так, как в первый год разлуки, хотелось, чтобы вернулась та радостная взволнованность, которую он испытывал ещё в дороге, думая о ней. Куда это все исчезло? Почему, приехав домой, он вдруг остыл? Землянка придавила, что ли?

Он ухватился за эту мысль, как за спасательный круг.

«А все может быть. Какая там к черту романтика, когда вокруг такие прозаические житейские заботы! Да и не мальчик уже я. Сперва надо подумать, как из проклятой землянки поскорее выбраться, а потом уже… Да и вообще нужно устроиться, наладить жизнь… С работой и все прочее. А жениться никогда не поздно. Ждала шесть лет, подождет и ещё».

Успокоив себя этим, Максим зашагал быстрее, вдыхая студеный воздух. Погода была по-зимнему хороша: бодрящий морозец, порывистый ветер, время от

времени приносивший откуда-то издалека две-три снежинки — первые вестники и разведчики зимы. Когда снежинки эти падали на руки, на лицо, казалось: ещё минута — и разорвется туча, сыпанет белым пухом, и закружится он в дивном хороводе, покрывая землю мягким, пушистым ковром. Но ветер стихал, снежинки больше не прилетали, и на полях неподвижно лежала поздняя осень, серая, однотонная. Только с одной стороны, где-то в отдалении, зеленел клин озимого, а с другой, за речкой, темнела синяя полоса соснового леса — того самого, где Максим был вчера. Да на лугу, начинавшемся далеко от дороги, между широких и низких стогов поблескивала на изгибах молодым ледком речка.

От Лядцев до Добродеевки около четырех километров, если считать от центра до центра, от лавки до лавки, как говорят местные жители, а если от околицы, то, конечно, ближе.

Максим и не заметил, как прошел это расстояние. Размышлений хватило на всю дорогу.

Только когда он подошел к добродеевскому саду, им на миг овладело то же чувство, что вчера в лесу. Сад пострадал не меньше, чем лес. Но здесь заботливая рука человека уже умело залечивала раны, нанесенные деревьям и земле. Старые уцелевшие деревья были в полном порядке: сухие ветки обрезаны, стволы обмазаны глиной и обернуты соломой. Немало было подсажено новых. Каждое молодое деревцо огорожено, чтоб зимой не повредили зайцы.

Максим вспомнил сад своего колхоза, на который он об-патил внимание ещё в день приезда, и опять подумал с завистью: «Да… чувствуется хозяйская рука… Недаром, видно, его хвалят… Что ж, посмотрим.:.»

Здание сельсовета находилось за околицей, между старым садом и лугом. До войны в нем был ветеринарный пункт, почему оно и стояло на отлете. Во время войны из всех общественных строений одно только оно и уцелело. А потому сразу после

освобождения в нем обосновались и школа, которая работала тогда в три смены, и сельсовет, и правление колхоза. Теперь остался только сельсовет, да в пристройке — молочносдаточный пункт.

Максим не рассчитывал застать кого-нибудь в сельсовете в такой день, но все-таки решил заглянуть. Неплохо присмотреться к обстановке до того, как встретишься с местными руководителями. Глядишь, в разговоре сможешь высказать какую-нибудь свежую мысль, которая им самим, обжившимся и привыкшим к местным условиям, могла и не прийти в голову. Он любил блеснуть.

Но, приблизившись к сельсовету, Максим увидел через окно народ и услышал громкий разговор. Чувствуя, что волнуется, он нарочно быстро и шумно вошел в помещение. Открыл одну дверь, другую… И сначала увидел только человека, стоявшего лицом к двери, сбоку от стола. Человек говорил и, заметив Максима, остановился на полуслове. Взгляды их встретились. Незнакомцу было лет пятьдесят. Был он невысокий, худощавый, с густой шапкой седых волос и с очень густыми седыми бровями. Эти брови сразу бросались в глаза, они придавали верхней части лица суровое выражение. Но выражение это смягчали усы — обыкновенные, обвислые, они были не седые, как волосы и брови, а рыжие, обкуренные. И глаза у него были добрые: светлые и умные.

Максим догадался: доктор — о нем ему рассказывала мать, — и спросил по-военному коротко и громко:

— Разрешите?

— Пожалуйста.

Он переступил порог и тут же увидел знакомых. Почти все они поднялись ему навстречу:

— Лесковец!

— Максим!

— Ах, черт! Какой бравый!

— Одни усы чего стоят. Казак!

Первым его обнял своей единственной рукой Михаила Примак — тот самый, с сыном которого он встретился на плотине. Потом пожали руку председатель сельсовета Байков, databродеевский колхозник Михей Вячера, очень высокий человек с лысой головой и хитрой усмешкой в глазах, односельчанин Максима Иван Мурашка, ещё один молодой парень со знакомым лицом, имени которого Максим не мог вспомнить и подумал: «Молодежь подросла».

Последним поднялся Василь Лазовенка. Он тоже только подал руку, хотя Максим нацелился было обняться, но зато руку Василь жал крепко, долго и, глядя в глаза Максиму, радостно улыбался.

— Давно, брат, пора, давно.

Максим увидел под расстегнутой шинелью орденские колодки и сразу опытным глазом определил: «Два Красного Знамени, Отечественной войны, две Звезды и медали. Однако… Повезло…»

Василь спохватился и повернулся к человеку, все ещё стоявшему у стола.

— Знакомьтесь. Наш секретарь партийной организации Игнат Андреевич Ладынин.

Потом из-за стола поднялся человек с фигурой тяжелоатлета и шрамом на лбу. Но рука у него была, как у женщины, — маленькая и мягкая.

— Мятельский, директор школы.

Когда наконец все поздоровались и перезнакомились, Ладынин постучал карандашом по столу.

— Товарищи, обо всем прочем — потом. Продолжим наше собрание. — Он обратился к Максиму: — У нас партийное собрание. Вы член партии, товарищ

Лесковец?

Максим полез в карман за партбилетом.

— Прекрасно. Нашего полку прибыло. Так вот. Я продолжаю. Я думаю, что меня поддержат, если я скажу, что Шаройку надо безотлагательно заменить… Больше терпеть такое положение невозможно. Покуда мы не дадим в «Партизан» хорошего руководителя, организатора, энергичного, настойчивого, честного, мы колхоз не подымем, товарищи. Покуда люди не поверят в своего председателя, в перспективу развития, нам не остановить массового ухода из колхоза на побочные работы… При таком положении колхозу грозит опасность к весне остаться с одними женщинами и детьми. А почему из «Воли» колхозники не уходят? Молочные реки там не текут, трудодень ещё очень небогатый. Но люди поверили, что в будущем году они будут жить уже гораздо лучше… видят, что хозяйство их растет…, И потому у них нет желания отрываться от земли, ехать куда-то в поисках заработка. А в «Партизане» потеряли эту веру. Послушайте, Сергей Иванович, что говорят колхозники, — повернулся Ладынин к Байкову. — Пока будет Шаройка — толку не жди. А вы твердите — лучший хозяин…

У председателя сельсовета передернулась левая щека, он потаял голову и нервно потер о колени контуженную руку.

— Да разве я против того, чтобы заменить. Но кем, кем? Где они — нужные люди?

Ладынин, не обратив внимания на реплику Баикова, продолжал:

— Или говорили тут о нарушениях Устава сельхозартели. А где их больше всего? В «Партизане». И изжить их там трудно, так как главный нарушитель сам Шаройка… Не в первый раз об этом толкуем.

Максим слушал и незаметно вглядывался в лица коммунистов.

Они сидели молча, неподвижно, сосредоточенно слушая. Только Вячера, затягиваясь папиросой, помахивал рукой перед лицом, отгоняя дым.

«Восемь человек… на весь сельсовет, на три колхоза… Маловато… В дивизионе у нас больше ста было», — подумал Максим.

Ладынин начал говорить о том, какие меры должна принять партийная организация, чтобы за зиму укрепить колхозы.

— Наша задача — помочь каждому колхозу разработать перспективный план развития хозяйства, — как мы это сделали в «Воле». Люди должны знать, за что им бороться, как они будут жить через год, через два, в конце пятилетки. Составляя эти планы, надо смелей брать курс на механизацию и электрификацию. Без этого мы не сможем поднять урожайность и развить животноводство. Правильно говорит Лазовенка— машины государство даст. Поэтому совершенно невозможно понять заявление, будто нам ещё рано думать о такой роскоши, как электростанция, когда у нас сорок семейств в землянках живет… А по чьей вине, Сергей Иванович, живут они в землянках, позвольте вас спросить?

Байков вскочил, сделал шаг к двери, с размаху бросил недокуренную цигарку в угол.

Что вы все тыкаете пальцем в Байкова?! Да, я говорил и буду говорить, что смешно ставить вопрос об электростанции в колхозе, где ладного хомута ещё нет…

— На электростанцию государство дает кредит, — сказал Лазовенка.

Кредит? А чем мы потом будем расплачиваться за этот кредит? У вас голова закружилась, товарищ Лазовенка, от первых успехов. Все хотите сразу. — У председателя сельсовета стало нервно подергиваться веко. Он зачем-то открыл Дверь в соседнюю комнату, заглянул туда и

со злостью захлопнул её..

Ладынин спокойно ждал, чуть заметно улыбаясь. Примак и Лазовенка иронически переглядывались. Это не понравилось Максиму. «Что они на него навалились? Он, пожалуй, прав».

Ему жалко было Байкова. Он уже знал его тяжелую партизанскую биографию — мать рассказала. Зимой сорок второго года фашисты расстреляли его семью. В припадке отчаяния он повел отряд на одну весьма рискованную операцию, против которой подпольный райком резко возражал. Он не послушался. Отряд понес тяжелые потери. Бюро райкома вынесло Байкову выговор и сняло с поста командира. Отряд принял Антон Лесковец, отец Максима. Тогда Байков попытался залить свое горе самогонкой и получил ещё один выговор с последним предупреждением. Это отрезвило его. Позже, командуя группой подрывников, он завоевал легендарную славу, получил два ордена. Во время последней блокады лагеря он был тяжело ранен, вывезен на самолете в советский тыл и больше года пролежал в госпитале, где-то на Урале.

«Зачем же теперь обижать такого человека?» — подумал Максим и решил при случае выступить в его защиту.

— А мы сейчас разберемся, Сергей Иванович, у кого тут голова кружится, — сказал Ладынин и, перечислив ещё раз стоящие перед парторганизацией задачи, сел.

Выступали все, кроме Мурашки. Тишина, господствовавшая во время выступления Ладынина, рушилась, как лед на реке.

Говорили горячо, спорили, задавали вопросы, бросали замечания, подсказывали, о чем ещё сказать. Видимо, тема эта всех задела за живое. Особенно много говорили о положении дел в «Партизане», и все сошлись на мысли, что Шаройку надо заменить, и чем скорее, тем лучше будет для колхоза.

Резко критиковали Байкова. Он молчал, понуря голову.

— На заседаниях сельисполкома, на сессиях мы приняли немало хороших решений, а как они выполняются — это председателя сельсовета не волнует. Он очень много ходит по колхозам, даже чересчур много, а результатов от этого что-то незаметно, — говорил Вячера.

Байков нервно ерошил рукой волосы и молчал, хотя по всему было видно, что критику он воспринимает болезненно и со многим не согласен.

Максим тоже выступил. Заступился за Байкова.

— Мне, человеку новому, со стороны кажется, что у некоторых товарищей есть тенденция ошибки всей организации сваливать на одного человека.

Байков поднял голову и, окрыленный поддержкой, заговорил:

— У нас это могут.

Неправда, Сергей Иванович! — прервал его Ладынин. — Мы умеем признавать свои ошибки. Но на наших собраниях — давайте договоримся, товарищи, ещё раз — мы будем критиковать не вообще, а конкретно, называя точный адрес. От этого будет больше пользы. И давайте оставим все обиды. Мы должны относиться к критике по-большевистски.

…Затем разбирали дело Мурашки. Прошло четыре месяца, как он вернулся из армии. Но за все это время он ни разу не подумал чем-нибудь заняться, не заработал в колхозе ни одного трудодня. Ходил, гулял, «выбирал невесту». «Женюсь — тогда сразу за все отработаю», — говорил он, если кто-нибудь в разговоре с ним касался этой темы.

Ладынин докладывал об этом с возмущением. Максим заметил, что доктор сразу переменился: густые брови его сошлись в одну линию, морщины на лбу стали глубже.

— В такой ответственный момент, когда наша маленькая, но, скажу я, дружная, трудолюбивая организация напрягает все свои силы, один из членов её спокойно прохлаждается. Стыд и позор! Мы говорим об укреплении дисциплины в колхозах, а товарищ Мурашка разваливает её. Все лодыри на вас пальцами показывают. Вон, мол, коммунист и тот не очень-то набрасывается на колхозную работу, а что же нам… Ко мне женщины приходят жаловаться на вас. Не было вас, они работали, выбивались из сил, чтобы мы в армии ни в чем не нуждались, вернулись вы, и опять они вынуждены вас кормить. Стыд!

— Я чужого хлеба не ем!

— Нет, выходит, что едите…

Максим подумал: «Однако старик крут… Попадись ему в руки — в дугу согнет».

Мурашка попробовал оправдаться, начал говорить шутливо, с прибаутками:

— …Неужто за пять лет я не заслужил каких-нибудь трех месяцев отдыха?

«Неужели и я не имею права отдохнуть? — подумал Максим, оправдывая в мыслях Мурашку. — Неужели на другой же день нужно запрягаться в работу?»

На вопрос Мурашки ответил Примак.

— Отдыха! — зло выкрикнул он и поднялся, выхватив из кармана пустой рукав. — Я вот каким пришел из госпиталя и через неделю уже работал в МТС. А ты — здоровый как бык, из морды кровь вот-вот брызнет — решил полгода отдыха себе дать… Стыдился б людям в глаза глядеть! На какие средства ты пьешь? Скажи собранию! Накрал, когда был старшиной? А-а? Исключить его, чтоб не позорил святое звание…

Мурашка, который сперва говорил спокойно, с усмешкой, видимо рассчитывая, что дело ограничится товарищеской беседой, вроде тех, какие уже не раз вел

с ним Ладынин, вдруг побледнел и рванулся к Примаку.

— Ты… мне… Ты докажи свои слова… — Голос его дрожал.

Поднялся Вячера, отогнал ладонью дым от лица.

— Михаил Алексеевич немного погорячился, но я его понимаю… Я сам не мог без возмущения смотреть на такое поведение члена партии.

У Лесковца пропало желание выступить в защиту своего односельчанина. Мурашку «разносили» безжалостно: как говорится, «не оставили живого места». Особенно резко говорил Лазовенка — он не кричал, как Примак, говорил внешне спокойно и сдержанно, но краска на лице и глаза выдавали его возмущение.

Мурашка молчал, боясь взглянуть товарищам в глаза. Он то становился белее стены, то шея его багровела и на висках надувались вены.

Все выступавшие после Примака предлагали вынести ему выговор. Мурашка попросил слова.

— Товарищи, простите. Завтра же иду на работу… И буду работать так… Ну, одним словом, так, как полагается коммунисту. На любой участок поставьте — нигде не подведу.

5

Из сельсовета шли вчетвером: Максим, Ладынин, Лазовенка и Примак. Другие разошлись немного раньше, а Байков остался почитать газеты.

Теперь все разговаривали с Максимом, расспрашивали его. И это льстило его самолюбию.

— Вот так и воюем, Максим Антонович. Время горячее, интересное, работы — непочатый край, а людей мало. Каждому новому человеку рады, и потому больно, когда

в наших рядах появляются такие, как Мурашка, — говорил Ладынин.

Они миновали сад, вышли на дорогу.

Доктор предложил:

— Зайдем ко мне, посидим, побеседуем.

Лазовенка пытался было отказаться, но Примак сразу согласился.

Дом врачебного участка стоял на краю деревни, возле сада. Здесь по обе стороны дороги, обсаженной старыми тополями и липами, до войны размещались все общественные постройки: сельсовет, больница, школа, клуб, сельмаг. Теперь же пока было восстановлено только два здания: школы и врачебного участка. Оба эти здания были кирпичные, и поэтому пожар не уничтожил их целиком. Дальше начиналась деревня. Прямая улица сбегала с пригорка, на самом верху которого стояла школа, к реке, подковой изгибавшейся Максим критическим взглядом окинул хаты. Быть может, вовсе и не желая этого, он начал придирчиво относиться ко всему что было связано с именем Василя.

«Что ж, хаты как хаты», хотя и сам чувствовал, что кривит душой. Хаты были новые, добротные, многие в три окна на улицу.

На квартире у доктора их встретила жена Ладынина — Ирина Аркадьевна, полная приветливая женщина. В свои пятьдесят лет она не утратила привлекательной миловидности: её белое лицо озарялось теплым светом добрых голубых глаз. Несмотря на полноту, двигалась она быстро и как-то мягко, бесшумно.

Доктор занимал две небольшие комнаты. В первой стояли стол, шкаф, диван и во всю стену, от пола до потолка, полки с книгами. Максима удивило такое количество книг, он знал, что после оккупации книги были редкостью и трудно было собрать даже небольшую библиотеку.

Максима попросили рассказать о Маньчжурии и Корее, в освобождении которых ему посчастливилось принять участие.

Он рассказывал долго и подробно о природе тех краев, обычаях, об ужасающей нищете ограбленного японскими захватчиками населения. Рассказ явно захватил слушателей, а их внимание и интерес, в свою очередь, вдохновляли Максима. Он даже начал уже слегка любоваться собой. Примак, который и сам немало повидал за войну, похвалил:

— Ты, брат, рассказываешь, как настоящий писатель…

И верно, долго бы ещё рассказывал Максим…

Но вдруг в коридоре послышался стук — кто-то быстро шел, громко стуча каблуками. И вот, двери настежь — и в комнату влетела девушка.

Максим застыл от удивления: так его поразила её красота.

Она была в белой пуховой шапочке и в синем лыжном костюме, по грудь мокром и обледенелом. В руках её блестели коньки.

Ирина Аркадьевна всплеснула руками:

— Батюшки! Провалилась!

Девушка звонко засмеялась, подарила гостей ясным приветливым взглядом и, кинув коньки за печку, исчезла в соседней комнате.

У Максима дрогнуло сердце. Он даже глубоко вздохнул, словно перед этим долго задерживал дыхание.

Ладынин взглянул на него, коротко пояснил:

— Дочка, — и начал в свою очередь что-то рассказывать о Маньчжурии, о которой он много читал.

Но Максим не слушал его. Он слушал другое —

приглушенный веселый смех и шепот за дверьми. Ни разу ещё женская красота не поражала его так сильно с первого взгляда. С нетерпением ждал он, когда девушка выйдет.

Из-за дверей послышался голос Ирины Аркадьевны:

— Игнат, принеси, пожалуйста, спирт.

— Папа! Не надо! Пустяки! Я даже не промокла.

Но Ладынин быстро встал и пошел в амбулаторию, помещавшуюся через коридор. Примак подмигнул Максиму и Василю.

— Что — остолбенели, холостежь? Мне бы ваши годы! Лазовенка иронически улыбнулся:

— Слышали мы о тебе в наши годы.

— Ну, опять, видать, брехни наслушался…

— Да нет! Говорят, что не ты сватал, а тебя высватали… Примак захохотал:

— Это тесть, холера на него, такую брехню распускает. Старый черт!

Максим и эту шутливую перепалку пропустил мимо ушей.

Наконец она вышла, и он опять застыл, восхищенный. Его заворожили её глаза — большие, ласковые, точно затянутые голубой дымкой, и губы, красные и словно припухшие. Красивы были и её чуть рыжеватые волосы. А вишневого цвета шелковое платье, плотно облегавшее гибкий стан, делало её ещё более очаровательной. Максиму она почему-то напомнила рябину, когда-то стоявшую перед окном отцовской хаты, — высокую, стройную, увешанную крупными гроздьями красных ягод.

Девушка сначала сказала: «Здравствуйте», — потом начала просто, по-товарищески, пожимать руки.

Первому — Василю. Максим отметил это и подумал: «Вот почему ты просиживаешь здесь целыми днями…»

Ему она сказала:

— Лида.

Он назвал себя. Она повела бровями:

— Вот вы какой!

Он удивился: откуда она его знает? Но не нашелся что ответить, да и не успел, — Василь спросил её:

— Где это вы, Лида, выкупались?

— Да на этом вашем Гнилом болоте. — А вы даже туда забрались?

— А где же ещё покататься! Там простор. А признаться, я здорово-таки испугалась. Хорошо ещё, что мелко, ребята быстро вытащили.

И она стала рассказывать, как она провалилась, как школьники вытаскивали её и как она потом бежала два километра, «так бежала, что и мальчики все отстали».

Максим не сводил с девушки глаз. И голос у нее был какой-то особенный, мелодичный.

За обедом Максиму повезло — ему удалось сесть за стол рядом с Лидой. Выбрав удобную минуту, Максим спросил у нее:

— Вы сказали: «Вот вы какой!» Разрешите узнать — какой?

Она посмотрела на него, подумала и ответила без улыбки:

— Красивый.

Время пролетело незаметно. Давно уже стемнело. Когда они вышли, чернота осенней ночи после ярко освещенной комнаты ослепила их. Даже больно стало

глазам. Сплошная тьма, словно в глубокой яме. Они молча постояли на крыльце, чтобы привыкнуть к темноте.

В вышине над головой монотонно, грустно шумели старые голые липы и тополи, до которых в ту страшную осень не дошел пожар.

Тополи эти (Максим приметил ещё днем) были уже все суховерхие. И вот там, в мертвых вершинах, ветер не шумел, а тонко и жалобно посвистывал. А в другом конце деревни настойчиво и раздраженно кричала чем-то обиженная овца.

Первым сошел с крыльца Максим, но сразу же налетел на груду кирпича, чуть не упал, сильно ушиб колено. Брань сама сорвалась с языка.

— Давай руку, а то тут без привычки ноги поломать можно.

Василь нашел в темноте руку Максима и быстро пошел рядом с ним по узкой дорожке, которая вела от крыльца к большаку.

— М-да... Стежки-дорожки в дом этот тебе знакомы, — иронически заметил Максим.

Василь понял, что он имеет в виду, но сделал вид, что не догадывается, и наивно спросил:

— А почему бы им быть незнакомыми? — И, минуту помолчав, прибавил: — Я их сам протоптал, когда дом восстанавливали. Я, брат, много тут стежек протоптал. За войну все было позарастали.

С минуту они шли молча, локоть к локтю. Овца наконец умолкла, липы остались позади, было тихо. Максим вдруг попросил:

— Если не секрет, расскажи о своих планах на будущее, Личных.

Василь ответил не сразу.

— Готовлюсь быть председателем колхоза.

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю. Хорошим председателем хорошего колхоза. Думаю, что недалеко то время, когда колхозы наши полностью электрифицируются, механизируются, станут крупными фабриками хлеба, молока, мяса. Руководить таким колхозом не всякий сможет. Для этого нужно подготовиться как следует. Вон директор небольшого районного кирпичного заводика — техник, льнозавода — инженер. Их учили, готовили. Так не пора ли нам и председателей готовить? Вот я и готовлюсь... Буду заочно учиться.

— Да-а, — задумчиво произнес Максим. — А тебя вдруг возьмут и не выберут?

— Значит, был плохим председателем. Но это рассуждение слабых. Все равно как если бы, например, студент подумал: «А вдруг для меня не хватит места?» — и, испугавшись этой мысли, бросил учиться.

— Однако ты самоуверен.

Василь ничего не ответил, помолчал минуту, потом спросил;

— Ну, а ты с чего решил начать?

— Я? С женитьбы.

— Умно, — засмеялся Василь.

Шли по улице. Из хат сквозь окна струился свет, и потому здесь было не так темно. Длинные полосы с контурами рам наискось пересекали улицу, перекрещивались. Одни из них были ярче, другие — темней; кое-где горели даже не лампы, а ночники, сделанные из гильз мелкокалиберных снарядов. В одной из хат такая коптилка стояла почему-то на окне и хорошо видна была с улицы.

Василь на мгновение остановился против нее, потом

повернулся к товарищу:

— Скоро «мигалки» эти электричеством заменим... Максим свистнул:

— Фантазия Ладынина. Тебе не кажется, что он слишком много говорит? Я люблю людей, которые меньше разгон варивают, а больше делают...

— Ладынин как раз из их числа. У тебя плохая привычка судить о людях с первого взгляда.

В голосе Василя послышалась обида за своего партийного руководителя.

— Ладынин двадцать лет в партии. Дай бог нам с тобой прожить такую жизнь...

— Я сказал тебе, как другу, о своем первом впечатлении. Поживем — увидим...

— А я уже вижу... Мне куда легче стало работать с тех пор, как он приехал. А прошло всего каких-нибудь три месяца. Ты говоришь — много разговаривает. Хорошо разговаривает, умно. С любым человеком умеет поговорить. А это, брат, сила. Я, например, чувствую, что у меня это, может, самое слабое место. Подчас так хочется от души поговорить с людьми, а начнешь и скомкаешь, не умеешь выразить того, что чувствуешь и думаешь. А ты говоришь...

— Я молчу и слушаю, — шутливо ответил Максим. Остановились перед большой хатой, глядевшей на улицу тремя окнами; два из них были ярко освещены, а в третье свет доходил откуда-то сбоку.

— А вот и мой дом. Ты бы сам не нашел, правда? Максим вышел из полосы света, поднял голову, начал осмотр почему-то сверху. Белел совсем новенький фронтон; тесовая крыша была чуть темнее, но тоже ещё достаточно ясно вырисовывалась на фоне черного неба. Хата была срублена из толстых, чисто обтесанных бревен. У Максима опять в глубине души шевельнулась зависть. Злясь на себя за это, он сказал:

— М-да, и ночью видно, что дом председателя колхоза. Василь не выдержал.

— У нас полдеревни таких домов, — в сердцах сказал он.

— Так уж и полдеревни!

— А почему ты все берешь под сомнение? Такой скептицизм, знаешь ли, не к лицу…

— Ну, ну, начал уже… И пошутить нельзя.

В большой комнате, куда они вошли, стояли два новых стола, покрытые красной материей, и вместительный шкаф. На ещё не оштукатуренных стенах были аккуратно наклеены плакаты, диаграммы, таблицы. В новых рамках висели портреты. На одном из столов, в углу, стоял радиоприемник.

— Вот здесь пока что и наша колхозная канцелярия и наш клуб. Зайди в любой день — тут по вечерам всегда полно народу. — Василь включил приемник, через минуту комнату заполнила далекая музыка. — А вон в той комнате живет председатель, — он отворил дверь в боковушку. — Тут и мой кабинет. Старики — через коридор, на другой половине.

6

С пятого по седьмой класс Василь и Максим учились вместе, из года в год сидели на одной парте, дружили. Иногда, правда, и ссорились, а случалось, и вовсе носы друг другу разбивали, но детская дружба их от этого только становилась крепче. На выпускном вечере они тайком, спрятавшись в саду, выпили четвертушку водки, опьянели и поклялись, что будут друзьями до смерти. В этот же вечер, возвращаясь из школы, Максим силком вытащил Машу из стайки девчат, задержал, пока все отошли, и, заикаясь от волнения и робости, сказал, что любит её одну, на всю жизнь, и попытался поцеловать. Она испугалась, оттолкнула его, вырвалась и, догнав девчат, громко крикнула:

— Девочки! Максим пьяный!

Он услышал это и от страшной обиды, огорчения и стыда отстал от компании, лег на вспаханное поле и пролежал до утра. А потом почти год не мог смотреть Маше в глаза — стыдно было.

После семилетки Василь уехал в сельскохозяйственный техникум — куда-то за Жлобин, Максим начал ходить в восьмой класс. И очень скоро они забыли о своей клятве в школьном саду — интересы их и жизненные дороги разошлись. Письма по два написали они друг другу — и все; даже на каникулах встречались редко и случайно.

Но в то лето, когда Максим окончил девять классов и подал заявление в военно-морское училище, где учился его старший брат Алексей, они снова подружились, и подружились при странных обстоятельствах. Как-то после одной вечеринки, на которой Максим не присутствовал, хлопцы передали ему, что студентик этот… Вася Лазовенка, весь вечер увивался вокруг Маши и так был красноречив, что все просто диву дались. У Максима вспыхнуло новое, незнакомое ему ранее чувство. Через несколько дней он встретил Василя и прямо сказал ему:

— Ты вот что… не очень-то вертись вокруг наших девчат, а то я могу показать, где раки зимуют. Подумаешь, студент! Видали мы таких студентов.

Василь удивился и начал доказывать, что это глупо, что такие взгляды не к лицу комсомольцу. Максим грубо прервал его: Ты мне философию не разводи. Я знаю её, не хуже тебя.

Тогда Василь удивленно посмотрел на него и серьезно спросил:

— Подожди, да ты что, любишь Машу?

— А тебе какое дело?

— Вот чудак! Так бы сразу и сказал. А то ругаться

начал. Я, брат, никогда не позволю себе отбивать девушку у товарища.

С этого началась их вторая, юношеская дружба. И переписывались они теперь аккуратно.

Василь прямо из техникума (он кончил в тот год третий курс) пошел в истребительный батальон. Защищал Жлобин, Гомель, отступал с Красной Армией, стал бойцом-пехотинцем. Он прошел через всю войну. Вырос от рядового до капитана, командира роты. Трижды был ранен, заслужил десять наград.

Максима в военно-морское училище не приняли, и он из упрямства пошел в речной техникум. Из техникума, с первого курса, он попал в противотанковую артиллерию.

После первого же боя, в котором батарея понесла большие потери, командир назначил его старшиной, и он целых два года должен был заниматься хозяйственными делами. Старшина он был расторопный: все умел раздобыть, все получить и доставить раньше всех, обвести вокруг пальца любого интенданта. Ему нравилось, что к нему на переднем крае, в батарее и даже в дивизионе с уважением относились не только солдаты, но и офицеры. Со многими из них, выше себя по званию, он был запанибрата: доставал им лучшие папиросы, предназначавшиеся для самого высокого армейского начальства, хорошее белье. Если у него иной раз спрашивали, откуда у него, молодого парня, эта хозяйственная жилка, он с гордостью отвечал: «От отца, видно, передалась ой отец был лучшим председателем колхоза».

Но, несмотря на все это, он, как и многие армейские старшины, проклинал свое положение и рвался в бой, под огонь, к орудиям.

Он завидовал, когда его товарищи, сержанты, младшие лейтенанты становились героями, получали награды. Его же за все это время наградили только двумя

медалями.

На третьем году войны Лесковца послали в военное училище. Курсантом он был не очень дисциплинированным — имел несколько взысканий. Но командир взвода из него вышел смелый. За первый же бой в Пруссии он был награжден орденом Отечественной войны. Вскоре ему присвоили звание старшего лейтенанта. Во время войны с Японией он уже командовал батареей и получил ещё один орден. Ему везло: пуля его обходила, за всю войну только однажды его легко контузило.

— В сорочке ты родился, Лесковец, — шутили фронтовые товарищи.

Он собирался совсем остаться в армии, и поэтому неожиданный приказ об отчислении в запас поразил и обидел его: неужто командование считает его слабым офицером?

Василь демобилизовался летом сорок пятого года, после госпиталя. В то время ещё почти половина Добродеевки жила в землянках, хотя многие уже поставили срубы. Урожаи на колхозных полях были плохие. Не хватало даже на засыпку семенных фондов. Руководила колхозом добросовестная, но болезненная женщина — Наталья Седая; во время блокады партизанского отряда у нее погибли муж и двое детей. В райкоме, куда через несколько дней после приезда Василь пришел, чтобы стать на партийный учет, ему сказали:

— А мы тебе уже и работу приготовили, как только узнали, что ты приехал.

Сказал это веселый толстый человек, сидевший в кабинете секретаря райкома. Василю уже было известно, что это председатель райисполкома Николай Леонович Белов.

— Выбирай: либо моим заместителем, либо начальником земельного отдела. Одно из двух, —

решительно предложил Белов.

Василь растерялся от неожиданности. — Почему сразу так высоко?

— Кадры, братец ты мой, кадры! — кричал Белов. — А ведь ты почти агроном, офицер, герой… Вытянешь, не бойся. Поможем.

— Дай человеку подумать, — остановил председателя секретарь райкома Прокоп Прокопович Макушенка и обратился к Василю: — Подумай серьезно об этом предложении.

Дома Василь рассказал обо всем отцу. Шестидесятилетний Мина Лазовенка задумчиво почесал затылок и сказал:

— А зачем тебе, сынок, лезть туда? Ты бы вот лучше взялся за свой колхоз да колхоз поднял бы, на ноги поставил. А туда всегда успеешь.

Слова отца удивили и обрадовали его. Удивили потому, что он не ожидал этого от отца: старик гордился тем, что сын — офицер, герой и, казалось Василю, должен был ещё больше возгордиться, что ему сразу предлагают такие высокие посты. А вышло наоборот.

Решение Василя пойти в председатели такого отсталого колхоза понравилось в райкоме. Его сразу поддержали.

Трудно было решить новому председателю, с чего начать. Задач было много, все они были тесно связаны друг с другом, и решать их нужно было все безотлагательно и умело, чтобы добиться, подъема колхозного хозяйства, обеспечить богатый трудодень. Василь вспомнил ленинское учение о цепи и главном звене. Но основная трудность в том и заключается: найти его, это звено, за которое следует ухватиться, чтоб вытащить всю цепь.

Дело было осенью, и он решил в первую очередь отстроить деревню, чтобы к весне вывести колхозников из землянок в светлые и просторные хаты. И очень

может быть, что именно это обеспечило ему дальнейшие успехи.

Он никогда не решал внутриколхозные вопросы единолично — всегда созывал правление, общее собрание. Это как-то сразу активизировало людей, объединило их, заинтересовало делами колхоза. Колхозники, как и до войны, начали радоваться каждому успеху и болезненно переживать каждую неудачу. Упорство председателя, его спокойная настойчивость, его беспощадность к нерадивым воодушевляли их. Он добивался исключения лодырей из колхоза и в то же время возвращал в колхоз тех работников, которые ушли на сторону без разрешения общего собрания.

Потом он ополчился против управляющего банком, который заставлял людей, желающих получить государственный редит на постройку дома, приходить к нему по пять — десять раз. Делалось это для того, чтобы получить взятку. Белов, не разобравшись по существу, взял управляющего под свою защиту. Дело дошло до обкома. Управляющего сняли-с работы и исключили из партии, а Белову записали выговор.

Василь объявил в колхозе ударный месячник, мобилизовал людей и за это время заготовил нужное для строительства количество лесоматериала. Но как его перевезти за двадцать с лишним километров? Колхозные лошади были заняты на сельскохозяйственных работах. Главным образом на заготовке удобрений. Сорвать это дело было нельзя — от него зависел будущий урожай. Да и лошадей надо было щадить — не перегружать до сева.

Василь отправился в областной центр и два дня ходил по учреждениям — пытался купить машину. Безрезультатно. В то время это нелегко было сделать. На третий день он пошел к секретарю обкома и без обиняков попросил:

— Помогите.

Секретарь оценил настойчивость молодого руководителя. Помог. Вызвал директора лесопильного завода, который как раз оказался в обкоме, и предложил ему взять шефство над колхозом.

Директор согласился, казалось, с энтузиазмом.

— Все будет сделано, Павел Степанович. А по дороге на завод недовольно ворчал:

— Богадельня у меня, что ли? Свой завод ещё в развалинах. Кто тащит, на того и наваливают.

Лазовенка искоса посмотрел на него, улыбнулся.

— Что для вас значит, Лаврен Корнеевич, две машины, когда их у вас двенадцать?

— Две? — директор даже подскочил. — И не думайте и не надейтесь. Одну.

— Пятьдесят семейств в земле, Лаврен Корнеевич. Послушайте только, как люди живут…

— Сам знаю! — отрезал тот, однако машины дал.

Василь так организовал работу, что за полмесяца вывезли лес на все пятьдесят домов. И ещё для общественных построек навозили. В районе удивленно покачивали головами. Директор завода не поверил и сам приехал с парторгом посмотреть. Василь использовал этот приезд. Быстро собрал колхозников. Они сердечно поблагодарили гостей за машины и предложили и дальше крепить дружбу. А конкретной просьбой было—помочь им напилить досок. На прощанье директор с ласковым укором сказал:

— Ну и хитрый ты человек, Василь Минович.

Через месяц с помощью шефов Василь приобрел для колхоза трехтонку. В то время это было великим богатством.

Одновременно шла подготовка к севу. Всю зиму Василь

перечитывал учебники, освежая свои знания по агротехнике. Не выпускал из колхоза участкового агронома.

Государство предоставило семенную ссуду.

За трактор пришлось побороться. Директор МТС Крылович встал на дыбы:

— У тебя лучшие в районе лошади, волы.

Василь добился своего — заключил с МТС договор. Директору сказал:

— Не хочешь, чтоб неприятности были, обеспечь меня всем необходимым. Не забудь о предплужниках, лущильнике, культиваторе.

— Не забуду. Но посмотрим, как ты будешь со мной рассчитываться.

— А я и не собираюсь рассчитываться с тобой. Будем рассчитываться с государством.

Его заслушали на бюро райкома и поставили колхоз в пример другим.

Весной он предложил колхозникам мероприятия, которые должны были резко поднять экономику колхоза: засеять под огород вдвое больше, чем засевалось до войны, отвоевать у болота пятьдесят гектаров осушенных, но за время войны снова заболоченных торфяников. Собрание проходило бурно.

Выступали против главным образом лентяи, которые знали, что и огород, и в особенности весенняя осушка потребуют чрезвычайно напряженной работы. В этом они были правы. Работать пришлось так, как, может быть, многие не работали за всю свою жизнь.

Но труд их не пропал даром: огород и хорошо ухоженный сад дали богатый урожай. Все лето возили огурцы, помидоры, капусту на колхозный рынок.

— Живем ещё не богато, как видишь, — говорил Василь Максиму, когда они через часок шли в школу, где должен был состояться вечер, посвященный Дню Конституции. — Но главное — люди верят, что скоро будем жить как следует… А это великая сила — такая вера. Люди у нас замечательные. С такими людьми можно горы перевернуть. Одним словом, поживешь — увидишь…

7

— А все-таки это свинство! — Алеся со злостью швырнула учебник тригонометрии. — Не перевариваю эту противную тригонометрию. Косинус, синус, тангенс, котангенс… Слишком он воображает…

Маша, сидевшая по другую сторону столика, тоже за книгой, подняла голову, и невеселая усмешка на миг осветила её лицо.

— Кто? Тангенс?

Алеся сначала не поняла, потом, поняв, возмутилась:

— Не прикидывайся, пожалуйста. Я же вижу. Ты битый час читаешь одну страницу.

Маша взглянула на книгу и покраснела, убедившись, что это действительно так.

— Максим твой, вот кто! Потерял он, видно, там, на сопках Маньчжурии, совесть.

— Алеся!

— Что — Алеся? Мне больно это, оскорбительно, наконец! Так готовились, так ждали.

Маша сдержала вздох, прикусила губу и покачала головой;

— Ты слишком сурово осуждаешь его. Ведь надо понять. Там столько друзей, родичей, он с ними не виделся шесть лет. Один позовет, другой… И попробуй потом от

них вырваться. Особенно когда выпьют… Надо же понимать…

— Не утешай ты себя, пожалуйста… Не люблю я этого твоего смирения. Кому нужно твое наигранное спокойствие? Я ведь прекрасно знаю, что у тебя на душе. Человек должен уметь не только сдерживать свои чувства. Он должен уметь и возмущаться, протестовать, ругаться, когда это нужно. Я вот не могу молчать! Я с ним ещё поговорю!

— Ну, ну! Начала… Позволь уж мне самой с ним договориться.

— Увидишь — и опять раскиснешь, — Вот ты какого мнения обо мне.

— О тебе-то я хорошего, а вот о нем…

— Брось, Алеся, — недовольно поморщилась Маша.

— Бросила.

Алеся опять раскрыла учебник, быстро перелистала несколько страниц, потом минут на пять углубилась в одну из них и вдруг тихо запела:

Косинус — синус — синус…

И котангенс — тангенс — тангенс…

Маша попросила:

— Перестань. Что за глупая привычка распевать все, что попадает на язык.

— Я люблю переливы звуков. Ты послушай, какая здесь аллитерация. Кос-с-синус-с-синус… Точно сыплется. И вдруг ко-тан-генс, — она по-детски радостно засмеялась. — А ты брось свои агрономические книги — это не для сегодняшнего вечера. Давай лучше стихи читать, — и тут же вздохнула. — Я тебе завидую, что ты с таким интересом можешь читать «Жизнь растений», Маша. А Для меня прямо пытка химию или эту вот

тригонометрию учить.

Алеся вытащила откуда-то из-под стола томик любимого поэта, раскрыла наугад, прочитала: Хочу я грозовою тучей лететь В одежде сверкающих молний…

Задумчиво повторила, подняв глаза, наслаждаясь каждым звуком.

— Какая у человека власть над словом: так просто, обыкновенно, и слова обыкновенные. Почему я не могу так написать? Я ведь чувствую это умом, сердцем.

Алеся прочитала ещё: Не встречалися с тобою мы ни разу за войну, Но мои с твоими письма помнят встречу не одну.

Маша поднялась.

— Я выйду. Голова болит.

Сестра проводила её опечаленным взглядом и, когда она вышла, тяжело вздохнула.

На дворе темно и тихо. Только ветер доносит шум хвои недалекого леса. Ветер морозный, колючий.

Голова и в самом деле болела. Прямо горела вся. Это оттого, что она так долго и напряженно думала. Ей хотелось найти оправдание поведению Максима, чтоб успокоить и себя. Но оправданий, кроме того, которое она высказала сестре, не находилось.

«Три дня уже дома и не удосужился зайти. Почему? Чем объяснить? А писал так… Казалось, обо всем уже договоритись. Ничего между нами не оставалось неясного. Шесть лет ждала, шесть лет жила одной надеждой, верила, любила всем сердцем… Состарилась, — она горько улыбнулась. — А теперь что ж, Максим Антонович, может, сначала начинать надо?»

Маша ужаснулась этой мысли и сурово упрекнула себя: «Глупости! Всякая чушь в голову лезет. Придет, никуда не денется… Загулял хлопец. Пускай погуляет, пока

холостой», — и ей стало веселей от этой шутки.

Она прошла на огород. Глаза освоились с темнотой и различали яблони в конце сада — только несколько и уцелело от пожара. Она подошла к одной, ласково погладила холодную шершавую кору и двинулась дальше. Опять ею завладели тревожные мысли: «А может, ему кто наговорил на меня? Есть же злые языки...»

Незаметно она вышла на луг. Под ногами зазвенел тонкий ледок.

Маша спохватилась, испуганно огляделась по сторонам и заспешила обратно.

Возле дома она встретила брата. Он возвращался из Добродеевки, с вечера. Петру шел пятнадцатый год, но он был рослый и сильный. Война помешала парню учиться. После освобождения, считая себя переростком, он отказался пойти в пятый класс. Теперь учится в вечерней школе и работает в колхозе, зарабатывая за год даже больше трудодней, чем Маша. Старшую сестру он уважал и любил. Она с малых лет была ему матерью. Они Еместе вошли в хату.

Алеся лежала в постели и читала, пристроив лампу над головой. Увидев брата, она лукаво прищурилась:

— Ничего себе молодой человек. Час ночи. Видно, Галочка задержала? Маленькая, а такая воструха, пышечка эта...

Петя покраснел.

— Опять начинаешь. Я на вечере был, с ребятами. А какой был вечер! Почему вы не пришли? Доктор интересный доклад сделал. Вот говорит так говорит! Постановка была.

Лида докторова песни пела. А потом танцы. Костя Бульбешка на новом баяне играл. Эх и баян! Ну, брат ты мой, и танцы были! — Петя увлекся и по-детски стал рассказывать во всех подробностях: — До седьмого поту

танцевали. Даже старая Горбылиха в пляс пустилась. Но лучше всех танцевали наш Максим и Лида докторова. Они весь вечер вместе танцевали… Им даже хлопали…

Сердитый окрик Алеси прервал его рассказ:

— Ну и дурак же ты! — и в рассказчика полетела подушка. Удивленный Петя поймал подушку на лету и так и застыл с ней в руках, не понимая, чем рассердил сестру. Растерянно повернулся к Маше. Она стояла молча, прижавшись спиной к печке. Лицо её было бледно, пальцы рук нервно теребили бахрому платка. Но Петя ничего этого не заметил и с укором сказал ей:

— Вот — полюбуйся. Я говорил тебе, что у нее скоро ум за разум зайдет. Пусть больше книг читает!

Маша ласково, по-матерински, улыбнулась:

— Не обращай на нее внимания. Садись ужинать. Она задачи не решила.

8

Встреча с Лидой сразу окрылила Максима. По дороге домой и в первые дни дома его не покидали какая-то тревога, невеселые раздумья: а как начнется моя новая, штатская жизнь? В армии, особенно после войны, он жил приятно, обеспеченно и весело. А тут вдруг — землянка и такие скучные будничные заботы.

Но в тот вечер от тревоги этой ничего не осталось. Он считал, что довольно успешно начал новую жизнь и что она тоже будет приятной и веселой. Во всяком случае, на душе у него стало легко и светло. Он даже мысленно погрозил Василю: «Ничего, брат, как-нибудь и мы не отстанем. Тоже не лыком шиты. И здесь кое-что есть», — он постучал пальцем по лбу.

В ту ночь он долго не мог уснуть. Перед глазами стояли лица новых знакомых, с которыми он встретился за день, вспоминались разговоры.

Но чаще всего возникали перед ним два образа — две девушки.

Одна — в старом кожушке, с вилами, с измазанными руками; незаметно вытирает руку о кожух и смущенно улыбается: «Смотри же, Максим...»

Другая — румяная, в синем лыжном костюме; её звонкий, жизнерадостный смех наполняет комнату, и все вокруг звенит от этого смеха. В глазах прыгают задорные искорки.

«Вот вы какой!»

«Какой?»

«Красивый!»

Он подумал вдруг о том, что обещал Маше зайти, а потом совсем забыл. Но это его мало, тронуло.

«А почему я непременно должен пойти к ней домой? Еще люди подумают, что свататься собрался. Встретимся в клубе или на улице, побеседуем, договоримся... Жениться я пока не собираюсь, и неизвестно ещё, как оно повернется. Чего в жизни, не бывает!» И снова перед его глазами встала Лида. Он улыбнулся и с мыслью о ней уснул. И во сне он видел Лиду.

Назавтра он отправился в гости к замужней сестре, в соседнюю украинскую деревню.

А спустя несколько дней, утром, по дороге в районный центр, он повстречался с Алесей. Девушка с потертым клеенчатым портфелем, набитым книгами, бежала в школу и в поле нагнала его.

— Неужто Саша? — удивился он. — Она или не она?

Алеся даже не улыбнулась в ответ, сдержанно поздоровалась:

— Здравствуйте, Максим Антонович.

— Значит, она. Однако какой ты стала красавицей! Ай-яй-яй! Ну и хороша! Знаешь, в тебя и влюбиться не грех. Ей-богу. Должно быть, все твои одноклассники по тебе сохнут. Есть хорошие хлопцы? — Он подмигнул ей. Она отвела свой взгляд. — Ну, ну, не красней. Я в твои годы так же краснел… Но вот тебе наглядный пример диалектики… Изучаешь диалектику? Количество, годы, перешло в качество — красоту. Ты ведь была такая рыжая, курносая, — он пальцем задрал свой нос и состроил гримасу. — Я помню, как ты огороды топтала… Однако… что ты такая серьезная? Важная, как академик… О чем задумалась?

— Я о чем? Тоже о диалектике. Оказывается, не все течет и изменяется. Вот ты, например, как был столб бесчувственный, так и остался…

Максим на миг и в самом деле остолбенел.

— Что-о?

— То самое… Вон полетело! — Она засмеялась и быстро пошла вперед.

— Это тебя в десятилетке так научили? Да? Она обернулась, громко ответила:

— Представь, что да!

— Я вот зайду в школу, расскажу, как ты со старшими… Черт возьми!.. Комсомолка!

— Зайди, зайди, буду очень рада.

Когда она отошла уже на порядочное расстояние, он вдруг почувствовал, что у него вспотел лоб, хотя прямо в лицо дул холодный, колючий ветер.

«Какой был… Ах, чертовка!.. Столб… Погоди же. Однако что это означает? Маша как встретила, какими глазами глядела. «Смотри, Максим…» А эта! Погоди же». Он грозился, но встретиться с ней ещё раз у него не было никакой охоты.

В райкоме его попросили зайти к первому секретарю. Максим немного знал этого человека. До войны Макушенка был директором семилетки в соседнем селе и иногда заглядывал в добродеевскую школу на «день директора» или в качестве представителя на экзаменах. В войну Прокоп Проко-пович партизанил, сначала был командиром отряда, организованного им в первые же дни оккупации, потом комиссаром бригады.

В кабинете у секретаря Максим застал Василя. Тот сидел в глубине комнаты у окна и встретил его улыбкой; видно было, что он чувствует здесь себя как дома.

Макушенка поднялся из-за стола, прихрамывая сделал несколько шагов навстречу Максиму, крепко пожал руку и, не выпуская её, спросил:

— Значит, сын Антона Захаровича? Сын моего доброго товарища… Та-ак…

Минуту они разглядывали друг друга. У секретаря было сухое, чисто выбритое лицо со шрамом на правой щеке; близорукий взгляд голубых глаз. Одет он был в тщательно отглаженный черный костюм, такой же черный галстук завязан был умело и красиво.

Он пригласил Максима, сесть и сел сам напротив, за столом.

— Значит, возвращаемся к мирному труду? Хорошо-о!.. Сегодня третий офицер становится на учет. В этом, скажу я вам, есть глубокий политический смысл. Уверенность наша, сила… И наше миролюбие. — Макушенка опустил ладонь на газеты, аккуратно сложенные на краю стола. — Я вот только что читал… Не нравится им предложение о всеобщем сокращении вооружений.

Секретарь поднял глаза, усмехнулся. Максим подумал, что Макушенку, верно, очень любили дети: школьники любят педагогов, у которых так приветливо и весело смеются глаза.

Максиму тоже захотелось сказать что-нибудь по поводу политических событий, но он уже три дня не читал газет и поэтому боялся, что ляпнет невпопад.

Вскоре Макушенка как-то совсем незаметно перевел разговор на другое — начал расспрашивать, где он служил, воевал. Здесь Максим чувствовал себя уверенно: о том, что видел и пережил, он умел рассказать.

— Люблю послушать и почитать о далеких краях. Географ, — улыбнулся Макушенка.

Максим отметил в нем ещё одну хорошую черту — умение слушать.

— Ну, а дома как встретили? — спросил секретарь, когда Лесковец кончил. — Сруб начали ставить?

— Сруб? — Максим удивился. — Материал ещё в лесу, товарищ секретарь.

Макушенка сразу переменился в лице: он покраснел от гнева, глаза потемнели. Сцепив пальцы, он нервно потер ладони и сердито посмотрел на Лазовенку.

— Та-ак… А на бюро Шаройка доложил, что весь лес перевезен и класть начали… Шагу не ступит, чтоб не соврать. Ну и человек! А ты, Василь Минович, что смотрел? Член райкома!

Василь встал.

— Я предлагал Шаройке машину, на сельсовете говорил…

— Мало говорить, особенно с Шаройкой. Надо требовать, проверять.

Поднявшись, Макушенка обошел вокруг длинного стола, приставленного под прямым углом к письменному, и остановился перед Максимом.

— Ну хорошо, приехал… На учет возьмем. Дом

построить поможем… Ну, а дальше что? Думал?

— Нет, ещё не думал, — признался Максим.

— Следовало бы уже подумать.

Секретарь обошел стол с другой стороны, вернулся на своо место и начал рыться в ящике.

Василь отошел и сел в углу на диване. Оттуда опять улыбнулся Максиму. Макушенка поднял голову.

— Давно член партии? Год? Так, молодежь… Но хорошая молодежь, закаленная.

Он нашел какую-то бумажку, внимательно прочитал и вдруг опять поднял на Максима глаза, полные живого интереса.

— Значит, не думал ещё о работе? Так… А как считаешь, председателем колхоза справился бы?

— Я? — удивленно спросил Максим.

— Ты. Отец твой шесть лет был председателем. Вот и продолжил бы начатое им…

— Не готовил себя для этой деятельности.

— А ты на друга своего взгляни, вот он перед тобой. Тоже как будто не готовился…

Максим усмехнулся.

— Это он вам сказал, что не готовился? А я слышал от него другое.

— Готовлюсь сейчас, Прокоп Прокопович, — весело отозвался Василь.

— Правильно… На практической работе… Самая лучшая школа, — заметил секретарь.

— Подготовленному легко готовиться, — не соглашался Максим.

— Ты о техникуме? За войну, брат, все забыл. Но учусь, вспоминаю. Одним словом, давай, Максим… вместе будем работать, помогать друг другу.

— Меня колхозники не выберут, хозяйничать не умею.

— Ничего. Научишься.

— Серьезно подумай, Антонович. Посмотри, взвесь, — дружески, просто посоветовал секретарь. — Конечно, работа не легкая, но почетная. Приобретешь опыт, потом на учебу пошлем. Подучишься.

Выйдя от секретаря, они завернули в чайную.

В большой передней комнате было тесно и накурено, все столики были заняты. Василь провел Максима в боковую комнатку. Там стояло только два стола, застланные чистыми салфетками, и не было ни души.

— Это что? Зал для начальства? — спросил Максим насмешливо-угрюмо. Вообще он был молчалив, задумчив. Василь, напротив, был радостно возбужден и не переставал уговаривать друга:

— Слушай, соглашайся. Только в свой колхоз, вместо Шаройки. Тебя там выберут под аплодисменты. И мы с тобой тогда могли бы развернуться… Знал бы ты, какие у нас планы! Мы с Прокопом Прокоповичем сегодня по телефону с Минском разговаривали… Насчет электростанции, чтоб кредит дали… Да и вообще, я тебе скажу, у нас есть где размахнуться по-настоящему… И огороды, и сады, и животноводство. Одних лугов сколько… Словом, я тебе советую…

— Что ж, посмотрю, — с равнодушным видом отвечал Максим, а сам подумал: «Но не рассчитывай, что я к тебе на поклон буду потом ходить… «Мы с тобой»… Мы и без тебя чего-нибудь да стоим».

9

Когда-то, до коллективизации, Шаройка каждый год

получал премии за лучшего в районе коня, за лучшую свиноматку, за самый высокий урожай картофеля. Хозяйство у него было небольшое — середняцкое, но образцовое. Одна лошадь, но такая, что слава о ней шла далеко. Две «голландки» вызывали зависть у всех хозяек в округе. И хата одна из лучших: под железной крышей, три комнаты, с хорошими хозяйственными постройками. Но только односельчане знали, чего все это стоило и самому Амельяну и жене его Ганне… День и ночь спины не разгибали. В жниво на полосе ночевали, в обмолот на гумне обедали. Был даже случай, что Ганна родила в поле.

Тяжело было Амельяну Денисовичу расставаться с таким хозяйством. Даже почернел весь, когда шла коллективизация… И все откладывал и оттягивал. Все прислушивался и приглядывался. До тех пор тянул и слушал, пока не дождался, что Антон Лесковец назвал его на колхозном собрании подкулачником.

А уже годика через два-три на каждой свадьбе, на крестинах, за каждой выпивкой можно было услышать от Шаройки:

— Не ошибается тот, кто не живет. Говорят, кто ничего не делает… Не-ет… Кто не живет. Живой человек всегда может ошибиться. Вот возьмем меня… Не хотел в колхоз идти, боялся… Не дурак ли был? Подумайте только… Говорите, тогда многие не понимали? Оно так, известно… Однако ж были люди, что понимали и вперед все видели… Видели, что без колхоза нам не прожить. Бедовали бы каждый на своей полоске да кулаков растили бы…

Нетерпеливый, горячий Антон Лесковец часто не выдерживал и говорил ему прямо в глаза:

— А из тебя из первого кулак вырос бы…

Шаройка боялся вступать с ним в спор, не выдавал своей обиды и всегда соглашался.

— А что ты думаешь, Антон Захарович, все могло быть.

Он, колхоз, и характер человеческий ломает, психологию, как говорят ученые, переделывает. И я вот чувствую, что совсем другим человеком стал. Совсем, брат, переменился.

А потом постепенно и Лесковец забыл о его «затяжном» вступлении в колхоз и перестал попрекать. И снова Шаройка стал пользоваться славой лучшего хозяина, теперь колхозного. В течение четырех лет до войны он был бригадиром, и бригада его всегда была первой. Этого не мог не ценить председатель колхоза Антон Лесковец. Правда, и в собственном доме у Амельяна Денисовича хозяйство шло отлично. Но кто теперь мог попрекнуть его этим? В богатом колхозе и колхозники зажиточные. Не один он такой в деревне! И о семье его никто дурного слова не мог сказать. Работящая и усердная была семья. Все дети успешно кончили школу и один за другим, все четверо, уезжали на учебу в город. А от этого ещё больше возрастал авторитет отца.

…Приказ об эвакуации скота Антон Лесковец привез ночью. По дороге из районного центра домой председатель обдумывал план эвакуации. Наметил погонщиков. Кандидатуру ответственного за все колхозное стадо согласовал ещё в райкоме. Поэтому, даже не заезжая домой, он направился к Шаройке.

Амельян Денисович спал на чердаке, на сене, одетый и с берданкой, как и многие другие колхозники в те дни, когда в окрестностях уже ловили вражеских парашютистов. Дочь позвала его. Он спустился, как всегда, не торопясь, при свете месяца обобрал с суконной поддевки приставшее сено, сонно поздоровался, предложил закурить. Лесковец отказался — некогда было — и сразу же, даже не присев, заговорил о деле.

— Тебя назначаем ответственным. Человек ты умный, хозяйственный. И райком поддерживает…

Шаройка ответил не как обычно — подумав, взвесив, а сразу, даже не дав Лесковцу кончить:

— Нет, благодарю, товарищ председатель. У меня свое хозяйство, дети. Да и человек я, — он подыскивал оправдания, — старый, слабый...

Антон Лесковец чуть не задохнулся от прилива злобы и от обиды за свою ошибку. Он медленно наклонился к Шаройке, долго молчал, потом протяжно выдохнул ему в лицо:

— Су-укин сын! — и, не сказав больше ни слова, повернулся и быстро пошел с просторного, обнесенного высоким забором двора Шаройки.

Ответственной за стадо он послал свою старшую дочку Катерину.

Шаройка остался в деревне.

Осень и зиму прожил он без особых треволнений, сравнительно спокойно, если вообще можно говорить о каком бы то ни было покое в то страшное время. Хозяйничал на своем наделе, помогал женщинам, и они рады были, что в деревне остался хоть один настоящий хозяин — мужчина, отзывчивый и добрый человек. Но неожиданно, когда он уже совсем успокоился и начал забывать о своей активной деятельности в колхозе, гитлеровцы предложили ему стать старостой. Он отказался. Его арестовали, угостили шомполами, недели три продержали в подвале. Он перепугался и дал согласие на все, что от него требовали. Измученный, исхудалый, избитый вернулся он в деревню, но пробыл старостой всего одну неделю, пока немножко оправился. А потом исчез — ушел в лес, отправив дочерей в дальнюю деревню, к родственникам, и оставив дома одну старую Ганну. Партизан он нашел недели через, две и очень удивился и даже немного испугался, обнаружив, что командир отряда — Антон Лесковец. (В деревне все говорили, что он эвакуировался вместе с райкомовскими работниками.)

Шаройка откровенно рассказал обо всем, припомнил и стадо, признал свою вину и покаялся. Лесковец

выслушал и сказал, как говорил всю жизнь, открыто, прямо в глаза:

— Темный ты человек, Шаройка. Не верю я тебе теперь.

Но в отряде оставил. При хозяйственном взводе. Только поставил строгое условие: отлучится куда-нибудь хоть на час самовольно — будет считаться изменником. Шаройке пришлись по душе его обязанности — тихо, безопасно и никогда не сидишь голодным, не то что в боевых взводах, и он выполнял их весьма добросовестно, так добросовестно, что у осторожного Лесковца подозрения не ослабели, а росли. Но вскоре Антон Лесковец героически погиб, а Шаройке удалось, после одного тяжелого боя, когда бригада понесла большие потери, остаться при штабе бригады заместителем начальника по снабжению.

Бесспорно, что после освобождения, когда в деревне не было почти ни одного взрослого мужчины, более подходящей кандидатуры, чем Шаройка, было не найти; женщины и выбрали его председателем колхоза. Трудные это были годы. Во всей деревне каким-то чудом уцелело только тринадцать хат, и по какому-то странному совпадению возрожденный колхоз собрал тринадцать искалеченных лошадей. «Чертова дюжина», — говорили суеверные.

Шаройка усердно взялся за работу. Лучшего хозяина и не надо! Колхоз с помощью государства становился на ноги. Иногда по отдельным кампаниям выходил на первое место в районе и никогда не был на последнем, занимая по большей части «золотую серединку», как любил шутить Шаройка. Но быстрее, чем колхозное, росло собственное хозяйств председателя. Ему посчастливилось: в его семье никто не был убит или искалечен. Два сына его служили в армии и дослужились — один до майора, другой, младший, до лейтенанта, оба имели награды. Дочери сразу же после освобождения поехали в город кончать учебу. Надо же было создать им условия! И «добрый хозяин» не дремал. Хату себе отстроил почитай что первым в деревне, лучше той, которая сгорела. Взял телушку из

того поредевшего стада, которое Катерина Лесковец пригнала обратно с востока. Что ж, народ сначала не обижался, не попрекал: сам партизан, сыны герои. Но вскоре Шаройка купил вторую корову и засеял ещё один приусадебный участок на жену сына, которая приехала откуда-то с Урала и никакого отношения к колхозу не имела. И чем дальше, тем больше люди узнавали в нем того Шаройку, которого они помнили до коллективизации, лет семнадцать назад. В человеке воскресало старое, казалось, давно уже канувшее в вечность.

Максим не вернулся из районного центра вместе с Лазовенкой. Там, в чайной, встретили они старого друга, который работал директором школы в отдаленном сельсовете. Максим поехал к нему и загулял.

В воскресенье на рассвете Шаройка забежал к Сынклете Лукиничне.

— Что? Максима Антоновича ещё нет? Ай-яй-яй! Вот загулял парень! Ну, пускай погуляет. Заслужил. А мы сегодня воскресник организовали: лес вам вывезем. Мобилизовали все тягло, машину в «Воле» заняли.

Сынклета Лукинична так удивилась, что даже не поблагодарила, сказала только:

— Говорят люди, раскрали его там, лес наш.

— Э-э, лесу мы найдем, дорогая Сынклета Лукинична, найдем... найдем!

Сам обошел намеченных людей, ласково уговаривая принять участие в воскреснике. Охотников ехать набралось больше, чем нужно. Но Шаройка не миновал и хату Кацубов. Вошёл он с несвойственной ему живостью, весело потирая руки. — Приморaживает, а снежка не видать. Доброго вам утра в хату. Александра Павловна все читает, все читает.

Алеся подозрительно насторожилась, впервые услышав

такое почтительное обращение. Шаройка сел у стола, оглядел хату, покачал колченогий столик.

— Что это ты, Маша, хорошего стола не закажешь? В такой хате и такой стол. Пора обживаться, пора, пора… А то на таком столе и писать неудобно.

Алеся удивилась ещё больше.

Маша, возившаяся у печки, скрыла улыбку. Она поняла, почему председатель стал таким добрым и ласковым.

Он только присел на край скамейки и сразу же поднялся.

— Я к вам на минуточку. Не хочешь ли, Маша, за лесом для Антонихи съездить? — он нарочно не называл имя Максима.

— Петька поедет, — ответила Алеся.

— А-а!

— Он уже давно отправился.

— А я что-то не приметил его на дворе. И думаю: дай зайду. А то Маша ещё обидится, — он хитро прищурился. — Ну ладно, я пошел. Позавтракаю и тоже в лес.

Когда он вышел, Маша рассмеялась.

— Ты чего? — спросила удивленная Алеся, оторвавшись от книги.

— Весёлая у нас жизнь началась.

Она и сама хорошенько не знала, что вызвало этот смех. Просто на душе вдруг стало почему-то легко и захотелось смеяться. Бывает иногда такое!

— Не понимаю, — пожала плечами Алеся. — Лично меня он возмущает. Я еле удержалась, чтоб не ляпнуть ему: не суй носа не в свое просо.

— Хватит того, что ты Максиму ляпнула. Умница! Простить тебе этого не могу. Как я теперь с ним встречусь?

— Пускай будет человеком, а не… — Ну… смотри мне!.. Ученица!

10

Еще издалека, с конца улицы, Максим заметил возле своей землянки подводы и людей..

«Что такое?» — удивился и даже встревожился он. Но, подойдя ближе, увидел, что люди укладывают в штабель бревна, и все понял. Шаройка выполнил свое обещание.

«Вот это по-моему: сказано — сделано. Как же это я забыл?» Ему стало неловко, что, покуда он гулял, люди на него работали.

По обе стороны землянки лежали два штабеля сухого соснового леса. К одному из них ещё подъезжали подводы; суетились люди.

Максима встретили шумно, весело.

— Здорово, Максим Антонович. Принимай работу!

— Гляди, сколько наворотили, пока ты гулял!

— Ну, Максим, с тебя, брат, магарыч!

— Ему, должно быть, и не снилось, что его хата сегодня дома будет.

— Тут не хата, а добрых две со всеми службами.

— Колхоз!

— Одному на полгода хватило бы возить.

— Амельян Денисович постарался! Он, когда захочет, из-под земли…

— Вот именно, когда захочет, — тихо отозвался кто-то за спиной Максима.

— Ну, хлопцы, берем последние!

Максим скинул шинель, взял самый большой дубовый кол, подхватил им комель толстого бревна.

— А ну нажми, хлопцы! Так-так! Взяли! Взяли! — громко командовал Иван Мурашка, и Максим подивился, откуда столько прыти у этого парня.

— Ещё раз! — гремел бас Андрея Грибача.

— Да раз-зок! — подпевал тоненький мальчишеский голос.

— Топ!

— Пошла!

— Лежи, милка, покуда плотник не потревожит.

Бревна были сухие, звонкие. Ударишь — весь штабель гудит, как приглушенный колокол. Пахли они смолой, лесной прелью, хвоей, примерзшей к угловатым комлям с белыми елочками подсечки.

Максим опьянел от работы. Он кричал вместе со всеми, командовал по-хозяйски, громко и решительно, перебегал с места на место. Под руку попался ствол молодой сосенки, только что срубленной в лесу. Кора на нем облупилась, и Максим запачкал руки и гимнастерку липкой смолой. Но зато как пахла она — эта свежая смола! Живым лесом! И в самом деле можно опьянеть, как пьянеешь весной в молодом сосняке, когда он весь осыпан желто-красным цветом.

Быстро рос второй штабель. Разгружали последние подводы.

Сынклета Лукинична топталась вокруг, с тихой материнской радостью и гордостью смотрела, как ловко работает её сын, и в то же время боялась, как бы он не

надорвался. Ишь как хватает! Один поднимает колоду. Надо сказать, чтобы так не надсаживался. Потом она вспомнила о другом, испуганно всплеснула руками.

«Боженька мой! Людей же угостить надо. А я и не подумала. Век прожила, а ума не нажила. Угостить — это не задача. Слава богу, есть чем. А вот где?»

Увидев, что Максим на минуту оторвался от работы, чтоб вытереть пот, она подбежала к нему, отвела в сторонку.

— Максимка, людей-то угостить надо. Целехонький день на морозе...

— Само собой, мама.

— А где же, сынок? В землянке много ли поместишь? У кого, посоветуй. Может, у Маши? Хата у них теперь что твой клуб...

Максим сдвинул на лоб шапку, прикрыв козырьком глаза, и задумчиво поскреб затылок.

— Ну, что это тебе на ум пришло? У Маши! Черт знает что подумают!

И тут, как из-под земли, вырос перед ним Шаройка, вынырнул откуда-то из-за землянки, с огородов.

— А-а, и сам хозяин дома! Здорово, Максим Антонович. Что задумался?

Максим крепко пожал руку председателю.

— Добрый день, Амельян Денисович. От всего солдатского сердца благодарю.

— Ну, что ты! Долг, брат. Я свое слово крепко держу.

— А вот мать задуматься заставила. Где людей угостить?

— И-и-и... Это уже зря! Какое может быть угощение! Это у вас от Антона Захаровича. Отец был хлебосол на

весь район. А тебе советую всех нас угостить на новоселье и на свадьбе. Там это будет кстати.

Максим взглянул на мать. Она вздохнула.

— Да ведь так принято… Таков уж обычай…

— Еще что скажете, Сынклета Лукинична! Сколько этих домов мы поперевозили — каждый день пьяные были бы… Другое дело, что вот приезд Максима не отпраздновали. Это так. А за то, что он три дня неведомо где гулял, накладываем на него взыскание. Сегодня празднуем у меня. Нет, нет, нет! И слушать не хочу. Ты что — вместо благодарности обидеть меня хочешь? Смотри, брат…

11

Дом Шаройки был построен по присланному в колхоз типовому проекту. Но внутри Шаройка распланировал все по-своему.

В одной половине, отделенной коридором, — просторная светлая кухня. Другая разделена на комнаты: продолговатую залу в три окна и две маленькие боковушки — спальни. В зале все сверкало чистотой. Недавно побеленные стены, старательно вымытый желтый пол, новая мебель, несколько неуклюжая, тяжеловесная, но сделанная на века — вся дубовая. На стенах портреты и без толку наклеенные плакаты: «Восстановим родную деревню» и «Все, как один, подпишемся на заем». На столе, застланном скатертью с замысловатыми узорами, ровными стопками лежали книги, ученические тетради, стоял открытый патефон: от блестящей головки его на черную крышку ложился зайчик. Все это Максим охватил одним взглядом с порога.

Он пришел один. Мать сперва вообще отказывалась идти, а потом пообещала прийти позже.

Амельян Денисович встретил его во дворе, цыкнул на двух больших лохматых псов, неистово рвавшихся с

цепи, и сразу же повел в дом. Войдя в комнаты, Максим повторил ту же шутку, которая обидела Василя Лазовенку.

— Да, сразу видно, что хата председателя. Хозяин и гости засмеялись.

— Амельян Денисович — человек хозяйственный, — сказала кума Шаройки Марья Ахремчик.

— У тебя, Максим Антонович, будет не хуже. — Шаройка сел рядом, разгладил усы. — Теперь куреней не строят. Теперь народ вперед глядит, хочет, чтоб хата была как хата. Чтоб через какую-нибудь пятилетку-другую и электричество не стыдно было провести.

— Ого, кум, махнул! — воскликнул бригадир Лукаш Бирила. — Добродеевцы вон через год мечтают…

— Мечтать можно! Лукаш не отступал:

— А что ты думаешь? Год не год, а годика через два, глядишь, и пустят. Размах у них — ого-го. Да и темпы теперь не те. Помнишь, как у нас в двадцать втором пожар тридцать хат слизнул, целую сторону? Сколько строились? Три года. Потому что каждый сам со своей канителился. А теперь, считай, добродеевцы всю деревню за один год наново построили. А хаты какие! Хоромы! Сила, брат… колхоз!

— Да, сила большая, — многозначительно протянул Максим и покосился на Шаройку. Неудобно было прийти в гости и критиковать хозяина, хотя так и подмывало сказать и о тех двенадцати семьях, которые всё ещё жили в землянках, и о конях, и о хомутах, да и сад не обойти молчанием, — сравнить с садом в «Воле». Но именно потому, что все напрашивалось на сравнение с «Волей», он промолчал.

О чем ни заходил разговор, все, так или иначе, было связано с колхозными делами. Максим заметил, что Лукаш Бирила все время старается в замаскированной форме, намеком, шуткой, уколоть хозяина.

— Вы тут латефончик, патефончик... Что-нибудь веселенькое, — суетился Шаройка. — А я на кухню — баб подгоню.

— Гляди, как бы тебя самого бабы не погнали, — сразу же откликнулся Лукаш и хитро подмигнул Максиму.

Лесковец подошел к столу, начал заводить патефон и вдруг остановился. Отворилась дверь одной из спален, и оттуда вышла девушка. Модная, высокая прическа, заколотая блестящими шпильками, добела напудренное лицо, ярко-вишневые губы и дорогое бархатное платье — все это, казалось, так и кричало: «Вот и я! Смотрите, я какая!»

Максим не сразу узнал старшую дочь Шаройки, свою ровесницу, с которой тоже когда-то вместе учился. А узнав, он чуть не расхохотался.

«Ну и чучело! Только в коноплю воробьев пугать».

Она окинула комнату быстрым взглядом и, точно никого больше не видя, подошла к нему, величественно протянула руку.

— С приездом, Максим Антонович.

Он осторожно пожал её мягкую руку.

— Спасибо, Полина Амельяновна. А я вас едва узнал. Быть вам богатой.

— А разве сейчас я бедная? Да и вообще я считаю, что нам пора и слово это вычеркнуть из нашего лексикона. — Бе-е-е-едность! — презрительно протянула она. — Архаизм!

— О, безусловно! — напыщенно воскликнул Максим, а сам подумал: «Ну, кажись, доучилась до ручки».

Тут из кухни понесли угощение. Вкусно запахло жареным. Над горами мяса в глиняных мисках поднимались клубы пара. Отдельно, на тяжелом противне, был подан целый поросенок, блестящий от

жира, с желтой, потрескавшейся на спине шкуркой, даже с хвостиком хрена в оскаленных зубах.

— Ого! — восторженно и удивленно воскликнул Бирила и старательно вытер ладонью усы.

Шаройка сам бегал на кухню, приносил вилки, ножи, хлеб, переставлял с места на место тарелки с закуской на столе и время от времени поглядывал на ходики, как бы поджидая ещё кого-то. Максим так и подумал, что ждут главного, самого важного гостя, для которого все и готовилось. Это его немного задело — ведь Шаройка говорил, что будут праздновать именно его приезд, значит, он главный гость. Но вдруг хозяин остановился между столом и дверью, развел руками, склонил голову и пригласил:

— Прошу к столу, дорогие гости. Начнем. Больше ждать никого не будем.

Тогда Максим с удовлетворением, оглядел присутствующих. Гостей было немного — человек десять. И всех их он ещё шесть лет назад называл дядями и тетями. Крайней от двери на низенькой скамеечке сидела Сынклета Лукинична. Она была в шелковой шали, которую он привез ей в подарок из Маньчжурии; розовая тень от платка ложилась на лицо, и оно казалось помолодевшим.

Максим поднялся и подошел к матери, чтобы за стол сесть рядом с нею, но Шаройка остановил его:

— Нет, нет, нет!.. Виновнику — почетное место. Вот сюда, — он показал на верхний конец стола.

Максим улыбнулся и позвал мать.

— А то, как в песне, все по паре, все по паре…

— А ваша где пара? — громко и, как показалось ему, с некоторым ехидством спросила Полина. — Где Маша? Мы вас ждали с Машей.

— Да-а, Маши нет? — Шаройка растерянно оглянулся,

как будто Маша была и вдруг неожиданно провалилась сквозь землю. — Э-э, Максим Антонович, что же это вы!

— А я думала, что у вас уже все оформлено. Об этом же все село знает, что ты Машу туда забирать хотел… Да вот, слава богу, сам приехал, — пропела своим густым басом Бирилиха.

— Маша — девушка хоть куда. Первая работница в колхозе, — задумчиво и серьезно сказал Бирила.

Максим стоял, растерянно глядя на гостей.

Он видел, что все удивлены отсутствием Маши и совершенно всерьез требуют, чтоб он её пригласил. Но как это сделать, если он ни разу ещё не был у нее, хотя уже вторую неделю дома? И к тому же ещё эта чертовка Алеся, с кото рой у него не было никакого желания встретиться.

Он чувствовал, как ему становится жарко, а в душе растет злость против этой расфуфыренной обезьяны Полины. Но вдруг он встретил взгляд матери и подумал: «Она с ней в дружбе, за дочку считает… Вот пускай и разобьет этот лед…»

— Мама, сходи, пригласи её. От моего имени. Ну и, само собой разумеется, от имени хозяев.

Сынклета Лукинична намеревалась было что-то сказать, но смутилась и молча направилась к двери, сразу как-то сгорбившись, постарев. Но никто этого не заметил.

12

Сынклета Лукинична вышла из хаты в густую тень улицы и, оглянувшись, словно опасаясь, что кто-нибудь подслушает её, тяжело вздохнула. Упругий морозный воздух ударил в лицо. И, может быть, от него, от ветра, выступили слезы на глазах, на миг захватило дыхание. Она постояла немного, смахнула слезу и медленно пошла на огонек в хате Кацубов. Впервые шла она туда

с такой неохотой, с такой тяжестью на душе.

Сынклета Лукинична знала, что Маша откажется от приглашения и, больше того, непременно обидится, оскорбится и, может быть, даже на нее: как она, старая дура, согласилась прийти с таким приглашением? Но и не выполнить поручения сына сразу же после его возвращения мать тоже не могла. Что тогда подумает о ней Максим?

Сынклета Лукинична ещё раз вздохнула.

«Сынок, сынок! Разве ты не понимаешь, что так делать нельзя? Обижаешь ты девушку».

Она подошла к хате и заглянула в окно — дома ли Маша? Хоть бы не было её дома — было бы легче, не пришлось бы ни говорить с ней, ни врать сыну. А разве она могла ему соврать?

Но Маша была дома. Она ходила по комнате, кутаясь в теплый платок, и говорила о чем-то горячо, громко, так что и сквозь двойные рамы голос её долетал на улицу. За столом сидела Алеся.

Сынклета Лукинична отошла, чтобы, сохрани боже, не услышать, о чем они говорят. Никогда в жизни она не подслушивала чужих разговоров.

Она взошла на крыльцо с резными столбиками и с лавочками по бокам. Присела и долго сидела. Если б она знала, что в это время в хате говорили о её сыне, она, верно, так и не отважилась бы зайти.

А в хате и в самом деле говорили о Максиме. Днем к Маше прибежала работница фермы, комсомолка Гаша Лесковец, двоюродная сестра Максима, с жалобой. Утром Шаройка пришел на ферму и забрал четырех гусей и лучшего поросенка. Сказал, что все это — для чествования героя.

Низенькая толстая Гаша каталась по комнате, как футбольный мяч, и взволнованно строчила, как из пулемета:

— Что ж это такое получается? Без году неделя, как вы шло постановление, сколько говорили о нем, сколько говорили и всё забыли уже, всё по-старому. Опять Шаройка растаскивает колхозное добро. Мне не жалко гусей. Гусей много, их все равно планируем продавать. Вот пускай и заплатит по рыночной цене, а поросенок? Только завели свиноферму, первый приплод... Мы этих поросят на руках носили, как детей. И вдруг — на тебе! И самого лучшего! Самого красивого! «Героя чествовать»! — передразнила она Шаройку. — Скажи на милость, какой герой! Две медали нацепил — и герой! Да лопнет он, хотя бы и герой, если столько съест! — Гаша вдруг сообразила, что наговорила лишнего, вспомнила, кто такой для Маши Максим, и кинулась к ней, порывисто обняла — Ты меня прости, Машенька, я, дурная, наговорила чего и не надо! Но ведь нельзя же так! Скажи ты им, Максиму скажи. Разве ему это нужно! Разве он такой человек? Да и тетка Сыля против этого будет. Скажи, чтоб он откач зался от такого угощения, пусть Шаройке будет стыдно.

Тяжело было у Маши на душе все эти последние дни, после приезда Максима. Неловко она чувствовала себя перед, людьми. Положение у нее было ложное, оскорбительное. Вся деревня говорит о свадьбе, а на самом деле какое-то странное недоразумение. И вдруг, точно в насмешку, — чтоб она сказала Максиму! Маша, спокойная, рассудительная Маша, не сдержалась. Она резко отстранила подругу и отрубила:

— Ты ему двоюродная сестра, ты и скажи!

Гаша была девушка несдержанная, шумная. И спуска никому не давала.

— Ага, вот как! — со злостью и словно обрадовавшись, крикнула она. — Говорить о нарушениях устава ты умеешь а как до дела, так в кусты. А-а? Жениха боишься задеть? Хорошей хочешь быть? Ладно же, я поговорю где надо. Я к доктору схожу! — крикнула она и, громко хлопнув дверью, выскочила из хаты.

...Алеся аппетитно хлебала суп и исподлобья наблюдала

за сестрой, рассказывавшей ей все это. Время от времени Алеся улыбалась, но как-то странно — одними губами, глаза же её были серьезны, задумчивы. Маша заметила её улыбку и остановилась пораженная:

— Ты смеешься?

— Очень уж по-медвежьи на этот раз залез Шаройка в колхозный карман. Грубая работа. Раньше он это делал чище.

— А теперь ему ни к чему хитрить. Он знает, что председателем ему осталось быть недолго, и, видимо, пронюхал, что Максим думает работать если не в колхозе, то в районе. Вот и подлизывается. И дом — в один день, и встреча как настоящему герою. Оправдаться ему легко будет. У кого хватит духу сказать что-нибудь против сына Антона Лесковца? Я уж представляю, как Шаройка будет выступать перед собранием. — Маша стала напротив Алеси, разгладила воображаемые усы, оперлась кулаками о стол, надула щеки. — Кто такой Максим Лесковец? Сын Антона Захаровича Лесковца, который шесть лет был председателем нашего колхоза, который… И пошло, и пошло…

Они обе засмеялись.

Маша отошла, прислонилась спиной к горячей печке.

— Но обиднее всего, что Максим пошел на эту удочку… Обидно и тяжело…

Алеся наклонила миску и вылила остатки супа в ложку, как это делают дети, когда еда им по вкусу.

— Эх, вкусный суп… Много он воображает о себе, твой Максим.

— Мой?!

— А чей же?! И ты должна, не откладывая, встретиться с ним и вправить ему мозги. Что это за такие деликатности? Две недели живут на одной улице и не

могут встретиться. Да я бы с ним уже семь раз повидалась и поговорила.

Маша задумалась. И в самом деле, почему бы ей самой не повидаться с ним и не поговорить? Разве после семилетней дружбы, после тех писем, которые они писали друг другу, она не имеет на это права?

В дверь постучали. Сестры переглянулись, и Алеся быстро побежала открывать.

Вошла Сынклета Лукинична. Маша смутилась и, поздоровавшись, долго молчала, не зная, с чего начать разговор, о чем спросить, как держать себя. До этого они встречались так просто и сердечно, по нескольку раз на день ходили друг к другу. А теперь… Было заметно, что и Сынклета Лукинична чувствует себя неловко, волнуется и тоже не знает, как начать разговор. Она присела к столу, взяла в руки книгу, заглянула в другую, раскрытую, заметила:

— Сразу видно, кому что… У Маши — «Агрономия», у Алеси — стихи… — и опять умолкла.

Разговор начала Алеся, и начала, как говорится, с лобовой атаки.

— А мы думали — Максим, — как будто совсем безразлично, перелистывая книгу, сказала она.

— А мне вы уже и не рады? — попыталась пошутить Сынклета Лукинична, почувствовав себя легче оттого, что разговор начался в нужном ей направлении.

— Что вы, тетя Сыля! — воскликнула Маша, недовольно взглянув на сестру.

— А я по поручению сына.

— Раззе он уже дома? — лукаво спросила Алеся, хотя отлично знала, что он уже вернулся.

— У Шаройки. Вечер там. Чествуют его. И вот он послал меня, чтоб я, Машенька, тебя пригласила… Там все

тре…

— Что-о? — Маша не дала ей окончить.

Она произнесла это тихо, удивленно, и Сынклета Лукинична испуганно умолкла.

Маша сделала шаг от печки вместе с этим протяжным «что-о», секунду постояла неподвижно и вдруг, почувствовав какую-то странную слабость, села на кровать. В первый момент на сердце у нее стало холодно, а потом все внутри залила жаркая боль. Кровь застучала в висках. Она сцепила пальцы и крепко прижала ладони к груди. И, может быть, поэтому стало трудно дышать.

В одно мгновение она вспомнила, как несколько дней тому назад она представляла себе его приезд, свою первую встречу с ним.

«Максим приехал!» — принесет в хату радостную весть какая-нибудь бойкая любопытная соседка или не менее любопытная девчонка. (Так оно потом и случилось.) Понятно, он сначала зайдет к матери. Но через полчаса, ну, пускай через час, он непременно придет к ней, сюда, в эту новую светлую хату, построенную для них государством… Она будет одна, празднично одетая для встречи. (Она так хотела, чтобы в этот момент не было никого дома: ни Петра, ни Алеси.) Она нарочно станет спиной к двери, будет смотреть в окно Или в книгу, будто она ничего не знает, никого не ждет и не видит его. Он тихо окликнет: «Маша!» Она обернется: «Максим!»

Они пойдут друг другу навстречу, медленно, но она не утерпит, она бросится и порывисто обнимет его. Потом она будет глядеть ему в глаза — каким он стал? — гладить его щеки, шутя дергать за усы. «Максим!»

Может случиться, что она заплачет. Разве стыдно в такую минуту заплакать? Ведь она шесть лет ждала его.

Ждала…

Маша вздрогнула и представила себе другое: как она, одетая по-праздничному, ожидала его в день приезда и как они с Алесей готовились к его приходу. Стыд, горечь и обида обожгли ей сердце.

И вот наконец он вспомнил о ней. Нет, ему напомнили… И он… прислал мать позвать её… Куда? На вечер… К Шаройке… Маша подняла голову, встретила нетерпеливые взгляды Сынклеты Лукиничны и Алеси и поняла, что она слишком долго молчит, что от нее ждут ответа. Она поднялась, подошла к столу и, сдерживая волнение, тихо, но отчетливо произнесла:

— Скажите вашему сыну, что он… — она поискала нужное слово, не нашла и, махнув рукой, отвернулась к окну.

Сынклета Лукинична опустила голову и долго молча перебирала складки платья. Потом виновато сказала:

— Машенька, родная. Разве ж я… — и тоже не окончила — прослезилась.

Маша опомнилась и быстро повернулась к старухе.

— Не надо, тетя Сыля… Простите меня, — и у самой на ресницах заблестели слезы.

13

Вместо снега, которого ждали с особой крестьянской тоской, западный ветер пригнал дождь. Он пошел неожиданно, под утро, когда ещё не отпустил мороз. Все — земля, деревья, крыши — покрылось звонкой ледяной коркой.

Маша забеспокоилась: наледь может погубить посевы озимых. Она перелистала книжки своей небольшой сельскохозяйственной библиотеки, но ничего о том, как бороться с этой бедой, не нашла. Надо расспросить у стариков. Правда, с тех пор как она стала серьезно интересоваться агрономией, она убедилась, что часто практические наставления старых мудрецов, вроде

Шаройки, расходятся с наукой. Однако Маша не пренебрегала и советами практиков.

Но сегодня ей не хотелось идти в канцелярию, где обычно в непогоду собирались колхозники. Она боялась встретиться с Максимом. Как несколько дней назад она жаждала этой встречи, так теперь избегала. Ей стыдно было признаться себе, что она боится. Нет, нет, она не боялась. Это было какое-то другое чувство, более сложное и, может быть, потому более мучительное. Нельзя сказать, чтобы ей было очень больно. Скорей — стыдно было перед людьми. Что теперь будут говорить об их отношениях? Кого будут винить — его или её?

Однако тревога за посевы взяла верх. Такой уж у нее был характер. Всегда душа болела за колхозное добро, любой ущерб, нанесенный колхозному хозяйству, переживала она как свою личную потерю. И потому так часто и непримиримо ссорилась и ругалась с Шаройкой. Она знала, что за это Амелька ненавидит её, хотя внешне ненависть его ни в чем не проявляется: всегда вежлив, спокоен, слушает внимательно, часто соглашается, даже советуется. Маша никогда не испытывала к нему злого чувства. Наоборот, даже питала к нему некоторое своеобразное уважение и часто защищала от незаслуженных обвинений.

В канцелярии и впрямь было многолюдно. Мужчины, должно быть, рассказывали анекдоты, не предназначавшиеся для женских ушей, так как сразу замолчали. Её уважали. Не каждый мужчина столько делает, сколько она, и не каждый прожил такую трудную жизнь. Но к её беспокойству за посевы отнеслись с безобидной крестьянской иронией. Шаройка учел настроение большинства и тоже насмешливо ухмыльнулся, оскалив крупные белые зубы.

— Я, Павловна, гляжу на тебя и все удивляюсь. В кого это ты пошла? Отец твой и мать были такие спокойные люди. Никогда, бывало, воды не замутят. Вон Антон Лесковец, так тот и спал, а людям покоя не давал. И если Максим в отца, так оно понятно…

Маша, не желая, чтоб начали говорить о Максиме, прервала председателя:

— Вы, Амельян Денисович, всегда отвечаете не на то, о чем у вас спрашивают.

— А-а, ты об озимых? Ничего с ними не станется. Первый раз, что ли? И при дедах наших и при отцах…

— Вот и плохо, что мы по дедовским законам живем. Деды снимали по двадцать пудов с десятины — и рады были. А теперь вон наши соседи по сто берут.

Шаройка понял, каких соседей она имеет в виду, и, недовольно передернув усами, возразил:

— По сто не по сто, только ещё думают. А если у нас по двадцать, так ведь какой год был? Чего ты хотела в такой год?

— Засуха, — вздохнул кто-то из колхозников.

— Засуха — это ещё ничего, а вот война что наделала. Словом, не в один день Москва построена.

— Павловна, ты лучше нас на свадьбу пригласи, а то потом в спешке забудешь.

Маша вспыхнула и сразу, оставив Шаройку, повернулась к колхозникам.

— Позову всех, никого не забуду.

— А покраснела девка, — заметил Лукаш Бирила. Она почувствовала, что щеки запылали ещё ярче. — Маша, не вздумай только из своей хаты в землянку идти, мы для тебя её строили.

— Ты его в примаки возьми.

— Ого! Пойдет он! Этот черт в батьку. Гордый.

Люди говорили серьезно, без лишних шуток, и Маше удалось скрыть свое смущение. Но разговор опять больно кольнул по сердцу, и оно сжалось, заныло. Из

канцелярии она пошла через огороды в поле — не могла удержаться, чтоб не поглядеть на озимые.

Сразу за огородом — молодой сосняк.

Хрустела под ногами ледяная корка. Сосны понуро опустили до самой земли обледенелые ветки. Дул легкий ветерок — и весь лес жалобно звенел, роняя радужные сосульки. Они разбивались, земля под соснами была покрыта мелкими осколками льда, но не прозрачного уже, а белого.

За сосняком — один из озимых клиньев колхоза. В конце его, на границе с полями «Воли», — семенной участок, на котором Маша с группой комсомольцев взялись вырастить стопудовый урожай.

Сколько сил она отдала этому участку! Шаройка поддерживал только на словах, красиво расписывая её замысел на собраниях да на совещаниях в районе. А когда дошло до дела, так он все никак не мог перебросить с другого клина трактор, дать рядовую сеялку. Чуть ли не последним засеяло звено свой участок. И все-таки, несмотря на это, всходы пошли дружные, веселые, перегнали все соседние, где рожь была посеяна по старинке, без минеральных удобрений, без добавочной обработки.

Маша вышла из лесу.

Всходы полегли, приникли к земле, примерзли. Куда девалась густая, ласкающая глаз поросль, пушистым зеленым ковром устилавшая землю всю осень!

У Маши даже похолодело сердце. Она наклонилась, растопила ладонью ледяную корку, расправила пальцами несколько слабых побегов.

Её заставил вздрогнуть треск в сосняке. Через минуту оттуда, нагнувшись, выбрался Василь Лазовенка. Он приветствовал её доброй дружеской улыбкой.

— Беспокоишься, хозяйка? Поздновато. Теперь уже ясно, что за день растает. Видишь, ветер повернул. А я

на рассвете вскочил и людей послал разбивать корку. Хлопцы мои уже и приспособление изобрели, чтобы выполнить эту работу конной тягой.

Маша пошла ему навстречу, первая подала руку.

— Что ж это ты на занятия не являешься? Два раза уже пропустила…

— Все некогда было…

— А-а, понимаю, — сказал он.

Они, не замечая этого, тихо шли через лесок по направлению к лугу.

— Когда свадьба?

Машу резануло это как ножом: «Опять свадьба». Она украдкой взглянула на него: серьезно спрашивает или в шутку? Василь: задумчиво смотрел куда-то вдаль, покусывая губу. «Нет, не шутит». И она коротко ответила:

— Скоро.

— Люблю свадьбы. Только чтобы свадьба была по всем правилам. Не терплю, когда это делается кое-как… Такой торжественный случай бывает раз в жизни, и запомниться он должен на всю жизнь. Моя мать и сейчас начнет рассказывать о своей свадьбе — заслушаешься, — он взглянул на девушку и усмехнулся.

Маша смотрела на него с удивлением. Никогда раньше она не слышала от него таких слов и считала человеком суховатым, не по годам серьезным, даже хмурым.

— Особенно приятно — на тройке, с бубенцами, с гармоникой, с песнями… Сзади снег вихрится… Дух захватывает. Словно летишь ты наперегонки с собственным счастьем. В народе свадьба спокон веку была большим праздником… Пригласите — лучшую тройку пригоню.

— Признаюсь, не знала, что ты такой… поэт, — усмехнулась Маша. — Как моя Алеся!

Василь смутился и, должно быть, чтоб скрыть это, начал закуривать.

Прикурил, осторожно перевернул спичку и, послюнив пальцы левой руки, взял за обугленную головку. Спичка догорела и наклонилась в Машину сторону. Маша улыбнулась. Он, видимо, заметил её улыбку, так как быстра смял сгоревшую спичку, вытер пальцы о ватник и продолжал свою мысль:

— Свадьба и ещё родины… Меня, например, всегда обижает, когда рождение нового человека проходит незаметно. Ведь это событие!

Маша удивлялась все больше и больше…

«Сколько лет приятели, а я и не знала, что он такой… чудной…»

— Когда у меня родится первый ребенок, я такой пир закачу…

Он с улыбкой посмотрел на свою спутницу, видимо ожидая, что она ответит на это шуткой. Но Маша даже не улыбнулась, и это снова смутило его.

Минуту тянулось неловкое молчание. Он объяснил его по-своему.

— Ты прости за то нелепое сватовство… Поверь, я тут ни при чем. Это выдумала мать… Глупо, правда? Конечно, глу по… Да и с нашей стороны тоже дико… Неужели мы, взрослые люди, друзья, не могли сами договориться?

Он вдруг остановился, повернулся к Маше и тихо произнес:

— Хотя, собственно говоря, к чему бы это привело? — и двинулся дальше; на ходу отломил сухую сосновую ветку, начал мять и теребить её пальцами. — Но

знаешь, мне все-таки давно хотелось поговорить с тобой вот так… по-дружески… Понимаешь… Как бы это сказать тебе попроще? Ну-у, — он на миг смутился, бросил веточку вперед и вместе со взмахом руки сказал — Все-таки я тебя любил…

— Любил?!.

— Да… И чувство это старое. Оно возникло, пожалуй, ещё до войны. Помнишь, я приехал на каникулы: мы вместе с тобой шли со станции? Мне кажется, что уже тогда… Но осознал я это только на фронте. Знаешь, когда лежишь в землянке или в окопе… Мокро порой, холодно, время тянется медленно… И начинаешь вспоминать самое хорошее, такое, знаешь, светлое, из мирной жизни… И мне чаще всего вспоминалась ты. Или в госпитале… Это страшно — лежать прикованным к постели. Черт знает какие мысли лезут в голову! Но я вспоминал тебя, и становилось легче. Я думал о тебе часами и забывал обо всем. Я потому и письмо тебе написал в тот же день, как только прочитал, что наши деревни освобождены. Спасибо, что отвечала… Получу их, твои письма, и теплей делается на душе.

— А Настя? — с лукавым девичьим любопытством спросила Маша. — Она тебе чаще писала.

Василь вздохнул.

— Не могу обманывать ни себя, ни тем более её. Не лежит душа. Жалко мне её. Она человек горячий, правда, слишком уж упряма и настойчива. Да это, может, и хорошо. Я ей откровенно сказал. Обиделась. Полгода не разговаривает…

Они приближались к концу сосняка. Дальше в болотной низине рос ольшаник. За ним начинался луг, блестела извилистая лента реки.

Заговорились мы с тобой, Маша. Прощай, я к стогам.

Говорят, к ним ваши коровы наведываются. В пятницу занятия. Придешь?

— Обязательно.

Он быстро двинулся через ольшаник, а она стояла и долго смотрела ему вслед. Правда, думала она не о нем. Она опять вернулась к мыслям о своих отношениях с Максимом, и на этот раз они почему-то показались ей совсем не такими уж сложными.

14

Это было обычным явлением: позовут к одному больному, а лечить приходится нескольких. А иногда и больных нет, но все равно не вырвешься из деревни дотемна. Потому что он приходил в хату не только как врач. Поговорить с людьми, рассказать о том, о другом, услышать об их жизни, мыслях и настроениях — все это было неотъемлемой частью его врачебной деятельности. Он знал, что иногда человеку помогает не только лекарство, но и доброе, теплое слово и даже справедливый упрек.

Ладынин только что кончил выслушивать больную девочку, когда на пороге появилась женщина.

— Я до вас, товарищ доктор. Старухе моей что-то неможется, на спину жалуется… Не зашли бы вы посмотреть? Будьте добреньки.

«Ну, начинается… Опять на весь день», — а на душе светло и радостно от сознания приносимой пользы и предчувствия встреч с новыми людьми.

У старухи — ничего серьезного, просто немного простудилась.

Но Ладынин не спешил уходить. Он сидел у окна, выписывал рецепт, тайком разглядывая хозяйку и хату. Хозяйка — молодая, крепкая женщина. А в хате не прибрано: пол грязный, вещи разбросаны. Доктор всю жизнь воевал за чистоту в крестьянских хатах, во дворах и на улицах.

— А у вас семья большая?

— Дочка. В третий класс ходит.

— Большая девочка. Пионерка? Так-так...

— А что, доктор?

— Да вот, смотрю, грязновато у вас.

Густая краска залила лицо женщины. Но ответила она дерзко и зло:

— А кому она нужна, эта чистота? Был муж, так светилось все вокруг, а теперь... — в глазах вдовы заблестели слезы. — Только в работе и находишь утешение, а работа моя — от темна до темна, на ферме...

Ладынин сразу смягчился; была у доктора одна слабость—хорошему работнику он многое мог простить. Голос у него стал отечески ласковый, спокойный.

— Да... вас как зовут? Давайте знакомиться, коли так...

— Клавдя Хацкевич.

— А по отчеству?

— Кузьмовна.

— Так вот, Клавдия Кузьминична, в отчаяние впадают только слабые. А вы, я думаю, не из числа слабых. Разве можно забывать главное — у вас дочка! Её нужно растить, учить, вывести в люди, сделать настоящим человеком. А вы грязь оправдываете, когда у вас в доме школьница... Да навести порядок в хате — это ведь прямая обязанность такой девочки. Я сегодня же зайду в школу и перед всем классом пристыжу вашу дочку.

— Ой, что вы, доктор! — Мать непритворно испугалась и начала просить — Не делайте этого. Ей-богу, больше не повторится, хоть нарочно зайдите.

— И зайду, я человек беспокойный.

Через минуту Ладынин перевел разговор на другую

тему.

— Ну, а на ферме как дела?

Клавдя махнула полотенцем; она, не прекращая разговора, быстро прибирала в хате; постлала скатерть на стол, подмела щепки у печки, привела в порядок подушки на кровати.

— А, какая там ферма! Горе, да и только! Стыдно говорить. Одни бычки да телята, а коровы какие есть, так и те голодные. Хозяева все на войну кивают, все на войну. До каких же пор можно кивать? Вон соседи наши, украинский колхоз, они не кивают, там любо поглядеть… Побывала я у них — душа радуется. Семьдесят коров одна в одну, по две тысячи литров надоили. Да и Лазовенка вон налаживает уже хозяйство.

— А у вас совсем плохо?

— А вы зашли б да поглядели!

— Так от кого же это зависит? От вас же самих.

— От работников? Пожалуй, и от нас. Но я так думаю, что больше от начальников.

— От каких начальников?

— От разных. В том числе и от вас. Клавдя в свою очередь хитро прищурилась.

Такой неожиданный ответ удивил Ладынина, хотя он уже догадывался, куда она гнет. Прикинулся слегка обиженным, непонимающим.

— Непорядки на вашей ферме зависят от меня? Любопытно.

— Не только на ферме, во всем колхозе. Вы внашем сель совете парторг, так? А сколько раз вы были у нас на собраниях колхозников? А на ферму и вообще ни разу не заглянули.

— Я коров не лечу, — Ладынин подливал масла в огонь, ему нравилась эта решительная и смелая женщина.

— Вы людей лечите. Так уж лечите от всех болезней. И всех одинаково. А то у вас как получается: где густо, где пусто! Если «Воля» в передовиках — так им все, а мы от-стающие, так нам — дулю под нос. Там и сельсовет, там и школа, туда и помощь, туда и кино, а у нас что? А потом сравнивают, критикуют…

Ладынин согнал с лица улыбку. Такие рассуждения он слышал не раз, и чаще всего от Шаройки, и хотя признавал, что доля правды в этом есть, однако относился к этой теории «сынков» и «пасынков» настороженно, зная, что часто такой теорией прикрывают собственную бездеятельность.

А она, раскрасневшаяся, с засученными рукавами, оглядывала хату — где ещё что надо прибрать — и продолжала:

— У людей агитаторы работают, особенно теперь, перед выборами. А здесь толкового слова не услышишь. Назначили к нам агитатором Дяткова. Вы же сами и назначили… А что он делает — поинтересовались? Он и носа ни разу не показал.

— Нужен он тебе, этот агитатор! Ты сама хорошая агитаторша, — впервые в течение всего разговора отозвалась с печи старуха. — Человеку, может, некогда, а ты завела волынку…

— Не ваше дело, мама! Молчите, — решительно приказала Клавдя.

Ладынин недовольно подумал: «Однако суровая женщина».

Но распрощался он с добрым чувством. Клавдя заинтересовала его. Такие люди всегда запоминаются надолго… Ладынин отметил то главное, что понравилось ему в этой женщине: горячее её желание, чтоб их колхоз был не хуже других, чтоб они достигли

того же, что соседи, а то и перегнали их. Она верила, что добиться этого можно.

«Надо только подхватить, разжечь, верно направить это желание. Следует почаще наведываться к ним».

Он шел по деревенской улице, а перед ним, каким-то чудом обогнав его, из хаты в хату летела весть, что доктор производит подворный обход, проверяет чистоту. Женщины торопливо прибирали в хатах, в сенях, на дворе.

Эта суета не укрылась от глаз Игната Андреевича, так как не впервые ему было это видеть. Он не собирался делать обход, но теперь нельзя было не зайти в полдесятка хат. Люди встречали его сердечно, приветливо. Дед Явмен Кацуба остановил на улице, сам пригласил к себе:

— Что ж это ты, товарищ секретарь, второй раз минуешь мою хату. Зайди, пожалуйста.

— Нездоровится кому-нибудь, дед?

— Да нет, в семье, слава богу, все здоровы. Просто так… Хочется мне с добрым человеком чарку выпить.

Сказал просто, от души. Ладынин усмехнулся: — Не премину. Только после работы. У меня порядок такой: кончил дело — гуляй смело.

— Мой порядок! — одобрил дед.

Ладынин избегал подобных угощений. Конечно, по большей части приглашают от чистого сердца. Однако находятся и такие (особенно здесь, в Лядцах), что делают это с задней мыслью — выманить справку, за которой можно было бы спрятаться от колхозной работы или получить скидку по налогам. Бывали уже такие случаи в его недолгой послевоенной практике. А потому Ладынин чрезвычайно осторожно принимал приглашения. Очень уж неудобно, обидно, оскорбительно становится, когда начинаешь понимать, что человек зазвал тебя с корыстной целью. Доктор

даже от приглашений Ша-ройки отказывался. Хитрый мужик! Такому положи палец в рот — вмиг откусит. Вот и сейчас он неожиданно, медленной хозяйской походкой вышел из переулка. Увидел — и не пошел навстречу, а подождал, пока подойдет Ладынин. Поздоровался с небрежностью занятого человека. Но у Ладынина возникло подозрение, что Шаройка встретил его не совсем случайно.

— Лечите? — спросил он, чтоб с чего-нибудь начать раз говор. В руках у него — уже кисет с самосадом, и он, не ожидая ответа, сразу же предлагает: — Закуривайте.

Ладынин оторвал порядочный клочок газеты и, сворачивая цигарку, ответил:

— Лечу, — и, вспомнив слоза Клавди, добавил — Сразу от всех болезней.

— Гм-гм... интересно. И давно у нас?

— Часов с одиннадцати.

Шаройка отогнул полу ватника, вытащил старинные карманные часы-луковицу, щелкнул крышкой.

— Что ж, пора обедать. Может, зайдем ко мне?.

— Нет, спасибо. Я хотел заглянуть на вашу ферму, полюбопытствовать, как вы решение сельсовета выполнили.

— А-а, — многозначительно протянул Шаройка. — Пожалуйста. Кстати, мы стоим возле хаты заведующего фермой. Минуточку, я позову...

Он зашел во двор, хотя можно было позвать с улицы.

Ладынин усмехнулся:

«Детская хитрость... Договорятся врать в одно слово».

Они не спешили выходить. Ладынину стало как-то неловко стоять на улице и ждать, и он, сдерживая

нарастающее раздражение, пошел по направлению к ферме.

«Надо этого уважаемого хозяина пригласить на открытое собрание и так продраить с песочком, чтобы он понял, что такое настоящая критика». Ладынин знал, что Шаройка всегда соглашается с любой критикой, но потом все равно делает по-своему.

Его догнал заведующий фермой Корней Лесковец (в Ляд-цах почти половина деревни — Лесковцы). Плечистый, хоро-шо сложенный мужчина, с крупными, правильными, даже красивыми, но какими-то неподвижными чертами лица, с курчавыми волосами, выбивавшимися из-под шапки и закрывавшими широкий лоб. Одет он был по-летнему: картуз, легкий, узковатый в плечах плащ-дождевик нараспашку, под ним — неподпоясанная гимнастерка.

— А где председатель? — спросил Ладынин.

— Там, — ответил Корней, неопределенно махнув рукой назад.

— Где там? Сюда прийти он собирался?

— Не знаю.

Это как будто простодушное «не знаю» взорвало Ладынина. Он редко выходил из себя, но тут не выдержал. Так посмотрел и так понизил голос почти до шепота, что заведующего фермой сразу точно подменили: застывшие черты лица мгновенно обрели живую подвижность.

— Идите и скажите, что я не намерен играть в кошки-мышки… А вам в другой раз советую не врать… Черт знает что такое!

Они догнали его очень скоро. Шаройка даже раскраснелся и запыхался. Теперь из-под прокуренных усов расплывалась, собирала вокруг глаз мелкие морщинки льстивая улыбка.

— Простите, товарищ Ладынин, бабы задержали. Одной — то, другой — другое. Минуты покоя нет. От темна до темна как белка в колесе вертишься…

Ладынин в ответ спросил:

— Вы в машинах разбираетесь, Шаройка?

— В машинах? — удивился тот и насторожился. — На заводе не работал, но в своих машинах — в молотилке, в сеялке, да и в комбайне малость, даже и в тракторе… Без этого теперь нельзя…

— Так вот, есть такой термин «холостой ход».

— А-а, — поняв, протянул Шаройка. — Есть, есть такой ход и у людей. Есть… Что ж, старость… Я давно уже говорю: отстал, состарился, жизнь обгоняет. Новые люди выросли.

Они в это время проходили мимо землянок. Будто нарочно, чтоб больше бросалось в глаза, половина оставшихся в деревне землянок находилась в одном месте: четыре рядышком по одну сторону улицы, а пятая — напротив, по другую; она жалостно смотрела на товарок своим единственным глазом — оконцем, чуть-чуть возвышавшимся над землей. А рядом стояли хорошие новые хаты — казалось, светлее становилось от желтых смолистых бревен, от широких окон.

У Ладынина каждый раз сжималось сердце, когда он проходил мимо этих землянок.

Не часто доводилось ему бывать в Лядцах за три месяца работы (хватало дел по оборудованию врачебного пункта, по налаживанию амбулатории и прочего), но и за этот короткий срок он уже не однажды наведался в каждую из двенадцати землянок, хорошо знал людей, которые в них жили. И теперь, проходя мимо, не сдержался:

— Скажите, Шаройка, у вас спокойно на сердце, когда вы здесь проходите?

— За многое ещё делается больно, товарищ Ладынин. Но всего сразу…

— В первую очередь должно быть больно за людей, — сердито перебил Ладынин. — А у вас этого не видно. Где бревна, которые вы обещали на сельсовете?

— Дорога...

— Что дорога?

— Ждем санной дороги…

— А если её не будет ещё месяц-два?..

— Ну, что вы!.. Вот-вот установится…

— Дорога, дорога… Смогли же вы за один день перевезти лес, для Лесковца… Почему же это нельзя сделать для других?

— Сделаем.

— А вы знаете, как у нас называют людей, которые не выполняют своих обещаний?

— Слышал.

В хлевах на ферме они застали все те же неполадки, о которых шла речь ещё десять дней назад на заседании сельсовета. Не, была отремонтирована даже крыша в телятнике, не заменены гнилые стропила, которые под тяжестью снега могли обвалиться. Ладынин помнил, что именно об этой крыше с возмущением говорил председатель сельсовета. Теперь, увидев её, Ладынин возмутился и сам:

— А это что, тоже дорога помешала?

— Эта крыша ещё десять лет простоит и черт её не возьмет! — Шаройка в первый раз ответил со злостью.

Ладынин удивленно взглянул на него. Но его предупредила Клавдя. Она, как из-под земли, неожиданно выросла перед ними.

— Я сегодня обвалю её, чтоб глаза не мозолила. В телятник страшно войти. Того и гляди придавит. Дохозяйнича-лись. — Она с такой необыкновенной иронией пропела последнее слово, что Шаройка даже побледнел.

Ладынин улыбнулся: «Молодчина! Вот она какая!» И, вспомнив её упрек, сказал Шаройке:

— Послушайте, товарищ Шаройка, давайте созовем сегодня общее собрание. Поговорим с людьми о выборах, да и о хозяйственных делах словечком перекинемся.

Председатель колхоза согласился с молчаливым, но явным неудовольствием.

15

Собрание закончилось далеко за полночь.

Но, несмотря на поздний час, колхозники не спешили расходиться; окружили стол и долго беседовали, засыпали Ладынина вопросами. Чувствовался жадный интерес ко всему: к международной политике, к выборам, к постановлению о ликвидации нарушений устава, к перспективному плану колхоза «Воля», о котором рассказывал Ладынин.

Игнат Андреевич, довольный, отвечал сразу всем. Он тоже не спешил уходить, хотя болела голова, гудела от усталости, от табачного дыма.

В стороне стоял Шаройка. Обжигая губы и пальцы об окурок, нервно и жадно затягивался. На висках, на шее синими шнурами вздувались вены. Встопорщились седые космы волос. Бригадир Бирила о чем-то спрашивал его, — он почти не слышал и не понимал.

В первый раз ему так досталось. Не представлял он, что его могут так разнести. Он знал, что о нем говорят за глаза, но чтоб осмелились все это высказать ему прямо в лицо… И кто? Все молчальники заговорили, те, кто

никогда раньше и рта не раскрывали. «Сила», — с завистью думал он, глядя на Ладынина.

Сначала все шло как полагается. На сход собирались добрых три часа; назначили на семь, а начали в половине одиннадцатого.

Шаройка сидел рядом с Ладыниным и, вновь обретя свою независимость, степенность, без конца, хотя и сдержанно, говорил, умело выставляя свой хозяйственный опыт. Жаловался на людей:

— Вот, пожалуйста, товарищ Ладынин. И так каждый раз. Сколько крови испортишь, покуда сход соберешь. Пассивность, — и в душе, радовался, заметив, что Ладынин нерв ничает, злится.

И началось собрание, как всегда. Долго и туманно говорил о рабочей дисциплине сам Шаройка. Затем выступали штатные ораторы: бригадир, счетовод, заведующий фермой. К ним присоединился ещё один оратор — Максим Лесковец, который говорил добрых двадцать минут, а конкретного ничего не сказал. А больше, как ни предлагал председатель собрания, никто ни слова. Тогда, как-то совсем незаметно, руководить собранием стал сам Ладынин.

— Что ж, товарищи, так никому и нечего больше сказать? А вот интересно, товарищ Шаройка, зоотехник вернул вам корову?

Люди зашевелились, шум в задних рядах стих.

— Хоть это и не имеет отношения к дисциплине, но я скажу, — поднялся Шаройка.

Ладынин прервал его:

— Нет, это имеет непосредственное отношение! Шаройка сказал, что зоотехник согласился заплатить за корову деньгами.

— Знаем мы это «заплатить»! Пускай вернет корову! Нам ферма нужна! — откликнулись сразу несколько

женщин. И под шумок, из задних рядов:

— А председатель колхозную корову думает вернуть? Шаройка не услышал этого — начал толковать о чем-то совсем другом. Ладынин снова прервал его и повторил вопрос:

— Народ спрашивает, товарищ Шаройка, — а когда вы вернете корову колхозу?

Шаройка уставился на него тяжелым взглядом.

— Народ?

— Да, народ.

— Какую корову?

— Это вам лучше знать!

— Я не брал никакой коровы.

— А Лысая? — опять крикнули откуда-то из-за печки.

— Мне её дали.

— Кто?

— Райзо.

— Из колхозного стада, которое мы пригнали с востока? У меня и сейчас ещё ноги не зажили, — со злостью сказала Клавдя Хацкевич, сидевшая в первом ряду.

Ладынин с одобрением кивнул ей головой.

С Клавди и началось. Она выступила первая, резала правду-матку так, что колхозники не раз прерывали её аплодисментами и криками.

Все припомнили, все взвесили и подсчитали. Не забыли и последнего случая — поросенка и гусей, которых Шаройка взял для угощения Лесковца. Максим сгорал от стыда. Попробовал выступить — встретили смехом.

— Гусь!

Он разозлился, хотел было перекричать шум и смех. Но Ладынин сурово блеснул из-под косматых бровей глазами: — Садись и молчи!

Кое-кто из тех, у кого были свои счеты с Шаройкой, наговорил лишнего, неосновательного. В этих случаях Шаройка краснел так, что казалось, из его плотных щек вот-вот брызнет кровь, и как-то протяжно-равнодушно поддакивал:

— Та-ак, та-ак...

Выступила Маша. Она привела множество новых фактов нарушения устава и делала это спокойно, трезво, убедительно. Потребовала, чтобы ещё раз были проверены размеры приусадебных участков. Её слушали без единого выкрика, без смеха, без вопросов с мест. Она успокоила людей и даже отвела от Шаройки кое-какие несправедливые обвинения.

Ладынин высоко оценил её умение говорить так просто и доходчиво (не все этим владеют), ему очень понравилось и внимание, с каким бородачи слушали её, девушку.

Сам он говорил мало, но зато предложил весьма подробное постановление, которое написал, слушая выступающих. Не по нутру было это конкретное постановление Шаройке: крепко било оно по его собственному хозяйству; жестокий счет предъявляло ему собрание.

Он не оправдывался. Только попросил, чтоб его освободили от обязанностей председателя.

— Не оправдал... отстаю... постарел... Что ж, — растерянно разводил он руками.

Ладынин побаивался, что собрание тут же удовлетворит его просьбу. Он знал о разговоре Макушенки с Лесковцом, но о согласии Максима ему ничего не было известно, так как сам он с ним поговорить не успел.

Выборы могли пройти ста хийно. В таких случаях нередко бывают ошибки. Но ему не пришлось сдерживать собрание.

— Не торопись! — сказал Шаройке старик откуда-то из середины комнаты. — Скоро будут перевыборы... Тогда и поговорим об этом... А сегодня поздно. Пора спать...

— А пока верни в колхоз все, что в постановлении записано, — весело выкрикнула Клавдя.

— Вы ночевать будете или коня запрячь? — предупредительно спросил Шаройка у Ладынина, когда люди наконец начали расходиться и в комнате осталось только несколько человек.

— Спасибо. Я пешком пойду.

— Поздновато. Темно.

— Вы переночевали б, Игнат Андреевич, — пригласила Маша.

— Нет, нет... Голова разболелась, прямо трещит, — он сжал пальцами виски, поморщился. — Не пройдусь — не усну.

— Мы проводим вас до сосняка, — предложил Максим. — Пойдешь, Маша?

«Остаться с ним один на один? И так неожиданно, не собравшись с мыслями. Но что подумает Игнат Андреевич, если я откажусь?»

По деревне шли молча.

Студеный северный ветер больно бил в лицо редкими дробинками града. Ноги скользили на нем, как на рассыпанном зерне, и трещал он под сапогами тоже, как зерно. Один за другим гасли в окнах огоньки: люди спешили лечь, недолго оставалось до рассвета. В одном из окон уже весело плясали, расписывая стекла пунцовыми узорами, языки пламени — топилась печь.

— Ранняя хозяйка, — заметил Максим и снова предложил, хотя они были уже в конце деревни — Переночевали бы…

Ладынин с шумом вдохнул воздух.

— Хорошо. Сразу проветрило, — и тут же, как только миновали последнюю хату, спросил — Максим Антонович, ты хоть ошибки-то свои понимаешь?

— Ошибки? — Максим удивился, что неприятное это слово Ладынин поставил во множественном числе. — Нет, не понимаю я своей ошибки, — он подчеркнул единственное число. — Вообще это какая-то ерунда. Откуда я мог знать, чей это поросенок, или гуси, или ещё, там черт знает что… Меня пригласили, как обычно приглашают… Сосед, близкий человек, председатель колхоза… Существуют же нормы приличия, товарищ Ладынин… Не мог же я прийти и спросить: откуда у вас этот поросенок, не с колхозной ли фермы? Дико, — он засмеялся искусственным, принужденным смехом.

— Да я у тебя не об этом спрашиваю. Я о сегодняшних твоих ошибках…

— А что сегодня?

— Ты не знаешь?.. Вот это и хуже всего. А то сегодня, что ты отнесся к людям без должного уважения. Если бы ты уважал народ, то не мог бы ты выступить с такой речью. Согласись — абсолютная пустота. Двадцать минут — и ни одной дельной мысли, ни одного живого слова. Такая абстрактная, беспредметная агитация нам не нужна… Пользы от неё не будет.

— Ну, знаете… — с ноткой обиды в голосе попробовал запротестовать Максим.

Но Ладынин не дал ему договорить.

— А твой окрик? Это уж совсем… Цыкать на собрание?.. Ну, знаешь… За такие дела бить надо…

— Что ж, привлекайте к партийной ответственности. — Максим чувствовал, как в нем закипает злость, и старался совладать с нею.

— Не горячись, — спокойно сказал Ладынин. — Я просто на правах старшего предупреждаю тебя. И если ты понимаешь это иначе — совершаешь ещё одну ошибку. — И сразу же, не дав Максиму ответить что-нибудь, обратился к Маше и не то в шутку, не то серьезно спросил — А ты, Марья Павловна, с чего это вздумала брать Шаройку под свою защиту?

Маша обрадовалась этому упреку: пока Ладынин отчитывал Максима, она чувствовала себя очень неловко. Прикрыв шерстяной перчаткой улыбку, хотя в темноте её и так никто бы не заметил, ответила:

— Да ведь перегнули… Я не люблю, когда начинают говорить неправду…

— А мне думается, что мы ещё мало его критиковали…
— Ничего себе мало, — засмеялась Маша.

Максим шел молча.

Миновали лес. Взошли на пригорок, с которого днем как на ладони видна вся Добродеевка. Теперь же оттуда, из ночной темноты, грустно мигал одинокий огонек.

— Должно быть, для меня зажгли маяк. Ждут… Ну, будьте здоровы… Спасибо, товарищи, — сердечно попрощался Ладынин, крепко пожав им руки.

На обратном пути долго молчали. Максим сопел, как будто тащил тяжесть. У него, по-видимому, был насморк. Это смешило Машу.

Не таясь, она сбоку вглядывалась в его лицо, хотя в темноте ничего нельзя было увидеть. С сердца свалился камень, который давил её со дня его приезда. Не было и смущения (а она боялась, что оно появится при встрече). Все вдруг стало на свое место, и ей захотелось рассмеяться громко, на все ночное поле. Но она

сдержала себя и тоном близкого человека пошутила:

— Что ты сопишь, как кузнечный мех? Он ответил не сразу.

— Засопишь, — и после долгой паузы — от такой встречи…

— От какой?

— От такой… Рвался, на крыльях летел, а тут… вместо пышек — шишки.

— А ты пышек сразу захотел? Их надо заслужить.

— А я что, не заслужил? — крикнул он и ударил, ладонью по груди, по шинели, под которой звякнули ордена. — Я кровью своей…

— За это тебе почет и любовь.

— От кого? — От народа.

— От народа!.. Это я и без тебя знаю… И ты мне морали не читай… На себя сначала погляди. Я тобой шесть лет жил… А ты? Как ты меня встретила?.. За две недели на глаза не показалась. А с другим по сосняку шатаешься…

Маша остолбенела — остановилась посреди дороги. Он сделал ещё два шага, пока заметил, что она отстала, и тоже остановился, повернулся к ней.

Крик обиды, боли, отчаяния, готовый, казалось, уже вырваться, горячим соленым комком застрял в горле. Маша задохнулась. Она шагнула к нему, почти шатаясь, протянула руку и схватилась за пуговицу шинели:

— Ты-ы…

Хотелось крикнуть в ответ что-нибудь такое же оскорбительное, жестокое, но комок в горле рос, становился все больше.

— Ты-ы…

Максим понял, что со злости наговорил лишнего.

— Подожди, Маша...

И вдруг холодной волной все отхлынуло назад, и она совсем спокойно сказала:

— А я когда ждала тебя, думала — ты такой... необыкновенный... Как бы это сказать?.. Ну, умный... А ты... Эх, ты! — И, отступая, нечаянно дернула за пуговицу; она легко оторвалась, звякнула о ледок дороги.

Маша быстро пошла вперед.

— Маша!..

Она пошла ещё быстрее.

— Маша! Будешь каяться! Она побежала.

Остановилась только у себя на крыльце. Прижалась лбом к двери; захолодевший на морозе острый пробой врезался в висок. Она не почувствовала этого. Впервые за много лет выплакала все, что накипело на сердце.

16

Тем временем Игнат Андреевич пришел домой. Огонек и в самом деле горел в его комнате. Он тихонько поскреб пальцами по стеклу; подождал — молчат. Постучал погромче в одно окно, потом в другое и понял, что Ирины Аркадьевны нет дома. Она обычно в любой час ночи открывала ещё до того, как он постучит, — слышала и узнавала шаги. Пришлось порядком побарабанить, пока разбудил Лиду.

— Ну и завидую я твоему сну, Лидуша, — ласково сказал Игнат Андреевич, войдя в комнату.

Дочка засмеялась, кутаясь в халат и по-детски, кулачком, протирая заспанные глаза.

— А где мама?

— А ты её не видел? В Лядцах.

— Давно?

— В первом часу уехала… Она обещала разыскать тебя и как следует пробрать… Это же просто невозможно, папа! С утра и до утра! В твои годы, с твоим здоровьем.

— В мои годы, с моим здоровьем можно все, Лидуша. Старики — народ крепкий, — он сжал между ладонями её всклокоченную головку, поцеловал в лоб. — Иди спать, пока сон не прошел. Я сам найду что перекусить.

Было пять часов.

А в семь его разбудил настойчивый, тревожный стук в окно. По привычке Игнат Андреевич даже не спросил, кто там. И, только впустив человека в комнату, стал зажигать лампу. Высокий молодой мужчина с энергичным лицом и светлыми глазами смущенно комкал в руках шапку, ожидая, пока доктор обратится к нему первый. Ладынин вспомнил, что днем встречал его в Лядцах, однако спросил:

— Издалека?

Человек деликатно улыбнулся, явно подумав: «Понимаю, доктор, беспокойная у вас жизнь, но… что поделаешь…»

— От Ирины Аркадьевны. Просит вас приехать.

— Что там у вас? Мужчина пожал плечами.

— Не могу сказать… Просила захватить все необходимое. Искал вас в Лядцах, думал — вы заночевали…

— А что необходимое? Что необходимое? Не могла написать. — Доктор, как и каждый человек, которого только что подняли с теплой постели, был не слишком хорошо настроен и потому ворчал.

Взяв лампу, он направился в амбулаторию.

— Видите ли, дело в том, я думаю, что жена моя перенесла ленинградскую блокаду, — сказал человек, идя за ним по темному коридору. — Сердце.

— А-а! — у Игната Андреевича как рукой сняло сонливость, дурное настроение, головную боль. — С этого бы вы, друг мой, и начинали. На лошади?

— Да! Как же иначе!

Он собрался буквально за три минуты и, по-молодому вскочив на повозку, сказал незнакомцу:

— Гоните!

У того испуганно екнуло сердце, и он, проезжая мимо школы, разбудил беззаботно спавшего Мятельского громовым «Но-о-о!..»

Роды были тяжелые. За всю свою двадцатилетнюю акушерскую практику Ирина Аркадьевна не помнила такого случая и ни разу ещё так не волновалась. Прежде всего её поразило то, что роженица не кричала. До крови искусала губы, пальцы рук, но не проронила ни слова. Ирина Аркадьевна испуганно просила:

— Кричите, родная моя, кричите. Нельзя молчать.

Раиса смотрела на нее невидящим взглядом и отрицательно качала головой. У нее слабое сердце, ко сильная воля. Она дважды была ранена во время блокады и ни разу не охнула под ножом хирурга, и закричать теперь считала позором. Был такой критический момент, когда у нее посинели ногти и пульс совсем упал.

Ирина Аркадьевна не на шутку перепугалась. А тут ещё непривычная жуткая тишина. Ни разу ещё при родах не бывало такой тишины. Мать роженицы без единого слова, без единого вздоха быстро исполняла все, что ей говорили. В кухне не переставая монотонно скрипела одна и та же половица — ходил муж. Слышно было, как где-то на печи мурлыкал кот. А в окно стучала веточка

березы, словно просилась в комнату.

Кричать роженицу заставил Игнат Андреевич; он верил старому акушерскому правилу: больше крика — сильнее потуги. Вообще его приезд оживил дом, наполнил суетой, шумом, живым ожиданием радости.

Когда все кончилось и на свет появилась хорошая девочка, вызвавшая слезы умиления у бабушки и отца, Ладынин пошутил:

— Везет тебе, бабка Ирина, четвертые роды ты тут принимаешь и четвертая девочка.

— Слава богу, — откликнулась мать Раисы. — Люди говорят, что добрая примета…

Моя руки, Игнат Андреевич опять почувствовал страшную усталость. Снова разболелась голова. Ему казалось, что он сейчас уснет тут же, за столом. По существу, он спал с открытыми глазами, так как не слышал, что рассказывал Соковитов. Голос долетал откуда-то издалека, журчал, звенел ручейком, нагоняя сон.

Но вдруг Ладынин встрепенулся, поднял голову и внимательно посмотрел на Соковитова.

— Погодите, как вы сказали?

Тот удивился и не мог понять, что именно из того, что он говорил, вдруг так заинтересовало врача. Кажется, он ничего такого не сказал.

— Вы кто по профессии?

Соковитов удивился ещё больше: добрых десять минут говорил он о своей профессии.

— Инженер-гидротехник, — снова начал объяснять он, — по гидросооружениям… Понятно, плотины Днепрогэса я не строил. Но перед войной работал, недолго правда, на Ниведва. Знаете? В Кандалакше. Во время войны, конечно, пришлось больше разрушать,

чем строить. Но после победы наша саперная часть построила в Германии несколько неплохих плотин. Немцам помогали…

— Слушайте, вы давно у нас? — Ладынин даже наклонился к нему, как будто собирался сказать что-то весьма секретное.

— Неделю.

— И за это время нигде не показались? Не зашли ко мне? Послушайте… простите, как ваше имя… Сергей Павлович? Дорогой Сергей Павлович, загляните как-нибудь на часок, не откладывая. Очень нужны ваш совет и помощь…

17

В ветреный морозный день Соковитов, Ладынин и Лазовенка шли по берегу замерзшей Грязливки.

Соковитов был в длинном кожаном пальто, в охотничьих сапогах, с палкой в руках. Высокий, ловкий, он смело перепрыгивал через ржавые луговые канавки, лед на которых трещал и ломался. Василь в легком ватнике, с ружьем, не отставал ни на шаг. Ладынин с трудом поспевал за ними.

— Они долго стояли на плотине у моста, потом прошли вниз от Добродеевки, вернулись назад. Снова остановились на плотине, закурили.

— Построить, конечно, можно и здесь, — Соковитов кивком показал вниз. — Близко, удобно и красиво: за садом — электростанция, озеро. Но это, как говорится, влетит в копеечку. Земляных работ тут — астрономическое количество кубометров. Да вдобавок ещё весь этот ваш лужок окажется под водой, десятки гектаров хорошего сенокоса.

Лазовенка нахмурился.

— А все-таки, сколько здесь надо вложить труда?

Можно подсчитать, скажем, в человеко-днях?

— Попробуем. Но кажется мне—одному колхозу это будет не под силу.

— Вы нашей силы не знаете.

— Представляю.

— Ну, а двум-трем колхозам? — спросил Ладынин.

— Двум-трем? Тогда нет необходимости строить здесь. Есть на реке место, где сама природа как будто специально создала все условия для строительства электростанции.

Ладынин и Лазовенка одновременно вопросительно взглянули на Соковитова.

— Возле Лядцев. Особенно удобное место — против колхозного двора. Там постройка обойдется в три раза дешевле.

— Идея! А, Василь? — крикнул Ладынин.

Но Лазовенка не разделял его восторга.

— Значит, наша станция будет в «Партизане», за четыре километра?

— Почему «ваша»? — удивился Ладынин. — Общая, межколхозная... «Воли», «Партизана», «Звезды». Можем даже украинцам предложить...

— Ну, это, Игнат Андреевич, красивая политика... А как осуществить... с такими соседями? Не верю я... Ведь говорили мы уже. Байков и тот против.

Ладынин удивленно оглядел его с головы до ног, будто впервые увидел.

— Не узнаю тебя... Откуда они у тебя, эти «местнические» нотки? Не ты ли мечтал о механизированном крупном колхозе?

Соковитов стоял, смотрел на них и молча улыбался.

— Учтите, что мощность такой станции сразу покроет произведенные затраты.

Василь прикурил от своего окурка, глубоко затянулся.

— Не ожидал, не ожидал от тебя, — недовольно продолжал Ладынин. — Сам ты говорил о помощи соседям, об общем росте. И вдруг… Какой в тебе ещё индивидуалист сидит!

Василь вдруг улыбнулся, широко, открыто.

— Никакого индивидуалиста нет, Игнат Андреевич. Пойдем посмотрим. Но знайте, в «Партизане» будут против — я уверен.

— Ничто не делается само собой, уважаемый Василь Минович. Все должно быть подготовлено.

Они направились к Лядцам и проходили там целый день. Поднялись километров на десять вверх по реке, на украинскую территорию, осмотрели берега, заливы, пойму, пробили в нескольких местах лед — измеряли глубину.

Ладынин удивлялся неутомимости Соковитова. Тот, чем дальше, становился все более живым и веселым: легко прорубал лунки, насвистывал веселые песенки, прыгал по мерзлым кочкам, рассказывал анекдоты. Ладынин, улучив момент, когда они немного отстали, показал Василю на инженера.

— Вот бы кого нам приворожить. Этот живо построил бы все, что нужно.

— Мне кажется, что он усложняет вопрос, — возразил Василь. — Я себе представлял, что все это значительно проще.

Доктор так утомился за этот день, что еле добрел до дому, хотя он был не из числа слабых и непривычных к ходьбе. Он не верил Соковитову, что тот не устал. Но

инженер доказал это: вечером пришел из Лядцев в Добродеевку к Ладыниным — поиграть в шахматы.

Есть семьи, владеющие завидной способностью притягивать к себе людей. Из года в год собираются у них соседи, друзья; долгими зимними вечерами идут нескончаемые беседы на всевозможные житейские темы.

Квартира Ладынина всегда была таким своеобразным клубом, двери её были открыты для всех. Но естественно, что собиралась главным образом сельская интеллигенция.

Вечера начинались почти всегда одинаково, кончались по-разному.

Сначала Игнат Андреевич и Мятельский садились играть в шахматы. Директор школы, спокойный человек с фигурой богатыря и лицом девушки, нежным, краснощеким, играл молча. Ладынин, обдумывая ход, насвистывал мелодию какой-нибудь народной песни. В это время остальные слегка скучали. Василь обычно читал. Байков и Ирина Аркадьевна расскааывали друг другу о разных странных, удивительных людях, с которыми им в жизни приходилось встречаться.

Лида и жена Мятельского — Нина Алексеевна, маленькая, тихая женщина, запирались в спальне и под аккомпанемент гитары разучивали новые песни. Обычно от Нины Алексеевны слова не услышишь, все чувства она весьма красноречиво выражала своими удивительными улыбками. Но пела она чудесно. В последнее время к ним присоединился Максим Лесковец, который частенько стал наведываться сюда. Ладынины обычно приглашали гостей к чаю. И тогда начиналась самая веселая часть вечера: споры, забавные рассказы, шутки, иногда пели хором.

Соковитов в первый же вечер завоевал всеобщее внимание. В шахматы он обыграл обоих добродеевских «чемпионов»— Ладынина и Мятельского. Затем превосходно читал Маяковского.

Лида, зная, что от Василя и от отца нелегко будет что-либо выведать, начала расспрашивать его об электростанции. Сергей Павлович охотно рассказал, где лучше строить, какие потребуются силы, как будет планироваться и использоваться энергия каждым колхозом.

— Появится электричество — и вы не узнаете своих колхозов. Вы недостаточно представляете себе силу электричества. В городе вся работа, которую оно выполняет, за исключением освещения и трамвая, скрыта от взоров. Здесь же все будет на ваших глазах.

И вдруг его прервал вздох, и грустный возглас:

— Мечты, мечты, где ваша сладость!

Байков сидел возле печки, прислонившись к ней спиной, долго слушал и, наконец, не выдержал.

— Голос великого скептика Байкова! — без улыбки пошутил Ладынин.

— Не скептика, а реалиста. — Председатель сельсовета потер контуженную руку. — Вы, Игнат Андреевич, не знаете хозяйственного положения колхозов. Вы меряете по «Воле»… Так пускай «Воля» и строит… Сначала надо поставить колхозы на ноги.

Против него восстали Лида и Мятельский.

— А по-вашему, электростанция свалит их с ног?

— Электростанции не падают с неба. Её нужно построить, а для этого необходимы средства…

— Под вашим руководством её не построят никогда.

— Вам легко смотреть со стороны да рассуждать, — Байков оставил свое место у печки и нервно заходил по комнате, размахивая здоровой рукой.

Соковитов спокойно заметил:

— Если жить, глядя назад, вы, возможно, и правы, но если смотреть вперед… то не лучше ли ставить колхозы на ноги таким способом?

— Вы забыли, Сергей Иванович, что говорил Ленин. Вспомните, — посоветовал Мятельский.

Они долго спорили, горячо, но дружелюбно; один Лазовенка не участвовал в этом споре — он весь вечер был молчалив, задумчив, и это дало повод Нине Алексеевне, которая и сама-то не больно много говорила, спросить у него:

— Скажите, Лазовенка, почему это вы все молчите? Василь чуть насмешливо посмотрел на нее и серьезно ответил:

— Влюбился.

— А-а!.. В неё? — маленькая женщина взглядом показала на Лиду.

— Нет.

— Не-ет?.. Напрасно! Она — песня. В неё даже я влюблена.

Вопрос об электростанции обсудили на открытом партийном собрании. Байков и здесь высказался против. Его поддержал Шаройка. Председатель «Звезды» Пилил Радник грустно вздыхал:

— Не вытянем. Ох не вытянем.

Поспорили, но не отступили. Приняли решение: всем коммунистам, всему активу вести агитацию за её постройку. Надо было, чтобы идея электрификации завладела колхозниками всех колхозов сельсовета.

После партсобрания провели совещание агитаторов. Соковитов сделал доклад: просто и интересно рассказал о выгодах электрификации.

— Ну, а теперь надо бороться за практическое

осуществление, — сказал Ладынин после совещания.

Он, Лазовенка и Соковитов сидели в сельсовете, курили.

— Да, да, не откладывая, — поддержал инженер. Ладынин и Лазовенка переглянулись с видом заговорщиков.

— Сергей Павлович, возьмитесь довести дело до конца, — неожиданно предложил Василь.

— Я? — Соковитов удивился, потом рассмеялся. — Значит, кось-кось, а потом за гриву. Хитрецы вы! — И серьезно — Нет, дорогие товарищи. Меня ждет родной город — Ленинград. Мне там уже и место приготовлено. Интересная работа.

— Хорошо, Сергей Павлович, — согласился Ладынин. — До конца — это Василь перехватил. Помогите поставить дело на ноги, как говорит Байков. Вы — специалист, авторитет…

Соковитов задумался.

Ладынин и Лазовенка не спускали с него глаз. Молчание тянулось долго. Наконец инженер встал.

— Что с вами поделаешь? В Минск я съезжу, помогу оформить проект и все прочее…

Василь тоже поднялся и пожал ему руку.

— Когда можете поехать? — А хоть завтра,

18

Под вечер, после работы, возвращаясь домой, мужчины собирались в лавке. Небольшое строеньице, сооруженное на месте сгоревшего сельмага, стояло посредине села; здесь, под прямым углом, сходились обе деревенские улицы. Но не одно это делало лавку своего рода центром, а, может быть, ещё в большей степени соседство школы, сельсовета и больницы.

Лавка расположилась на самом пригорке. Отсюда хорошо были видны крыши Лядцев, синяя полоса леса, а всего отчетливей — извилистая лента реки, луг, заречные болота, небольшой березовый лесок, сиротливые кусты ольшаника, шоссе с телефонными столбами и дальше, за болотом, на песчаных холмах — сосны. Все, что находилось у реки и за нею, было как на ладони.

Заходили с топорами, с вилами — кто чем работал в этот день, с тем и шел. Иные являлись прямо из дому, поговорить с людьми, послушать и шутку и серьезную беседу. Рассаживались на бочках, на ящиках, на пустых мешках, а те, что посмелее, — на прилавках; там было небезопасно: за соленую шутку можно было получить линейкой по спине. Что тянуло сюда людей — объясняли по-разному. Жены, например, видели только одну причину: продавщицей работала молодая вдова, красавица Соня Гальчук, краснощекая, стойкими бровями и черными, как у цыганки, глазами, боевая и веселая. Все женщины были в сговоре против нее, но каждая в отдельности, приходя в лавку, заискивала перед ней. Считали, что она может приворожить любого мужчину.

Бригадир Михей Вячера, славившийся своей начитанностью и в особенности географическими познаниями, объяснял Ладынину причину этих сборищ так: — Традиция это, Игнат Андреевич. Перед войной мы каждый день в эту пору сходились в сельмаге. Потому что каждый день привозили что-нибудь новое. И каждый день добрая половина колхозников что-нибудь покупала. Скучают люди по товарам, товарищ Ладынин. Идешь и думаешь: а вдруг Гольдин что-нибудь привез? Как же тут обойти?

Ладынину понравилось такое объяснение. Он и сам стал сюда заглядывать, особенно когда народу собиралось побольше (ему это было видно из окна). Он брал свежие газеты и неприметно переводил разговор на более серьезные темы. Без него тут обычно рассказывали о всяких необыкновенных случаях и происшествиях,

которые все уже прекрасно знали, однако слушали с интересом, перебрасывались шутками с Соней, безобидно подтрунивали друг над другом, а главным образом над деревенской молодежью.

— Дядька Михей, расскажи, как полицай Луиейка без штанов удирал.

И сразу смех:

— Хо-хо-хо-о-о-о...

— Ну, чего тут рассказывать? Все знают.

— Да расскажи.

Михей Адамович не спеша закуривал, хитро улыбался и начинал:

— Рассказ короткий... Доложили нам хлопцы, что у немцев на нашем маслозаводе до черта масла и яиц собралось. Пришел я к Макушенке. «Дозволь, говорю, Прокоп Проко-пович». — «Действуй, говорит, только осторожно, и хорошо бы, если получится, захватить яиц и масла». Запрягли мы две пары лучших коней в повозки, переоделись полицаями да без помехи часа за два и приехали из лесу в Добродеев-ку. Ну, известно, сразу в школу, где полицаи. Двоих на месте захватили... А этот собачий сын Лупейка, видать, по нужде за сараем сидел. Услышал выстрелы — и давай бог ноги, по огородам на выгон. Добежал до речки, а тут с перепугу ему и втемяшилось, что, не скинув штанов, речку перейти нельзя...

— Хо-хо-о-о... Ха-ха-а-а, — раскатисто гремел смех.

— Скинул он штаны... А в это время хлопцы мои вдогонку очередь из пулемета. Бросил он штаны на одном берегу, а сам — на тот... Эх, и пошел он, братцы мои, ну, точно волк затравленный. На лучшем рысаке не догнать. Так на полном ходу и вкатил без штанов в Каменку... Там гарнизон немецкий стоял... А день праздничный, теплый. Дело в августе было. На улице женщины, девчата. Вы спросите у бабки Грачихи из

Каменки, как она испугалась, завидев его. Креститься начала: свят, свят…

Брат продавщицы, Гришка Лазовенка, от хохота скатился за прилавок. Соня угостила его линейкой, подав новый повод для смеха.

— Гришкина команда потом брала эти штаны в плен, — засмеялась Соня.

Семнадцатилетний Гришка, который считал себя уже совсем взрослым человеком, чуть не бросился на сестру с кулаками.

— Подожди, Михей. Конец этой операции расскажет дядька Семен. Семен Леонович, давай, выходи.

Семен — хромой, глуховатый человек лет шестидесяти. В молодости он пас стадо, а в колхозе был бессменным конюхом. Человек молчаливый, сдержанный, с лошадьми разговаривает больше, чем с людьми. Услышав, что от него требуют, он смущенно отступил к двери.

— Ну, что-о это вы, хлопцы? — растягивая каждое слово, пропел он. — Нашли чему смеяться.

— Давай, давай, Семен…

Он махнул рукой и вышел из лавки. Тогда рассказывать стала Соня, еле сдерживая смех: — Семена полицаи силком заставили работать на маслобойке. Дров заготовить, напилить, наколоть. Или там отвезти что-нибудь. Ну, партизаны и застали его на заводе. Понадобилась им для чего-то веревка, один из них и приказал: «Дед, давай веревку! Да поживей, симулянт культгавый. Ишь разъелся на народном масле»… Хлопец был чужой, не знал, что к чему… Семен наш и заковылял. Домой ему идти далеко, а на улице полно баб. Он — к ним… — «Бабочки, дайте веревку скорее», а у самого губы трясутся и лицо как полотно. «На что тебе?» — спрашиваем мы, я тоже стояла там. «Вешать будут меня…» Тут его Акулина как услышала, да в

голос. А за нею и все мы… «За что, дядя Семен? Что ты сделал? Мы все пойдем за тебя Михея просить». А он как матюкнется, ввек от него такого не слышали, как закричит: «Цыц, чертовы бабы! За то, что я, сукин сын, на фашистов работал… Вот за что!»

— И принес, братцы, он мне веревку, — добавил Михей. — Мы уже уезжали, возле сада догнал. «На, говорит, вешай, Михей». — «Что?» — спрашиваю. «Меня», — говорит. Разозлился я. Что он, думаю, за бандитов нас считает или рехнулся старик?.. «Пошел, — кричу, — к черту, а то как повешу тебя по спине кнутом, не погляжу и на старость». Но потом как ни принуждали его опять идти на маслобойку, — ни за что!.. И били полицаи и в комендатуру таскали — не пошел. Даже на ремонт дороги ни разу за всю оккупацию не вышел, хоть и доставалось ему за это. Чаще всего в качестве рассказчика выступал сам заведующий сельпо Гольдин. Этот маленький, шустрый, веселый человечек каким-то чудом успевал побывать всюду.

Колхозники любили его, но торговая деятельность Гольдина служила предметом постоянных насмешек.

— Гольдин, ты у Семена самосад закупи. На год торговать хватит. Сразу план выполнишь…

— Ты бы хоть этот страховидный хомут заменил другим… А то он уже всем глаза намозолил…

— Атрох из Выселков, выпивши брался нашу лавку в пруд затащить…

— А он может…

— Смотри, Гольдин…

— Смейтесь, смейтесь… Через месяц такой сруб привезу, что мое почтение.

— Долго ты его рубишь…

Один только человек никогда не принимал участия в этих сборищах, избегал даже заходить в эти часы в

лавку — это Василь Лазовенка. Он не раз с возмущением говорил Ладынину и Гольдину:

— Что за дурная привычка собираться в лавке и трепать языком. Лучше чем-нибудь по хозяйству занялись бы…

Ладынин улыбался в усы и молчал. Гольдин, как всегда соглашался:

— Моя мысль, Василь Минович, Василь сердился.

— Ну и двоедушный ты человек, Гольдин. Ты ж там первый заводила… Вот заберу колхозное помещение, торгуй тогда где хочешь…

— Не позволят, — мягко замечал Гольдин, смиренно склоняя голову.

— Кто?

— Колхозники.

Василь вошел в лавку в разгар живой, интересной беседы. Бригадир тракторной бригады Михаила Примак вспоми-нал о разных любопытных случаях из времен коллективизации.

Василь купил коробок спичек, закурил, присел на весы и стал слушать, скупо улыбаясь. Но Ладынин заметил странную перемену в настроении слушателей: они вдруг утратили интерес к рассказу, заговорили о другом, стали спрашивать разную мелочь у Сони и незаметно по одному покидать лавку. И когда почти никого не осталось, простодушный и откровенный Примак засмеялся.

— Силё-он!.. Ни слова не сказал и всех разогнал. У тебя, Вася, как у строгого свекра…

Ладынин нахмурился.

Из лавки вышли вместе. Пошли по большаку вниз, мимо школы и больницы — к речке.

В последнее время они часто прогуливались здесь вдвоем — очень подходящее место для разговоров по душам. На этот же раз долго шли молча.

Снова в воздухе кружились редкие сухие снежинки, пушистыми теплыми звездочками садились на руки и мгног венно таяли. Небо укутала плотная неподвижная туча. Казалось, что у ветра не хватало сил сдвинуть её.

— Ты что это людей разогнал? — спросил наконец Ладынин.

— Я? Я слова не вымолвил.

— А люди разошлись.

— Значит, пора было расходиться.

— Да нет. Из-за тебя.

— Что ж, испугались меня, что ли? Собираются ж у меня дома каждый вечер и, кажется, никто не боится.

— Тут они знали, что ты против этих сборищ.

— И правильно.

— Во-первых, я не считаю это правильным. Кому какое дело, где люди собираются поговорить, перекинуться шуткой? Но самое главное, что меня волнует: почему разошлись? Прихожу я, старый человек, врач — и ничего. А с тобой ведь все колхозники на «ты». И вдруг твое молчаливое присутствие заставляет их, как школьников, разбежаться. Что это: величайшее уважение или что-то совсем другое?

Василь улыбнулся.

Ладынин помолчал. Они обогнули лужицу, покрытую белым потрескавшимся льдом, и, не сговариваясь, свернули с большака на узкую дорожку, ведущую мимо сада в поле.

— Ты не смейся. Это серьезно. Я в последнее время

наблюдал за тобой, и мне почему-то вспоминались те хорошие руководители, которые, опьянев от успехов, от всеобщего уважения, внезапно начинают отрываться от народа, становиться над ним и руководить откуда-то сверху.

— Не бойтесь, Игнат Андреевич, я таким не буду.

— Приятная уверенность. Но, знаешь, нельзя быть таким… Ты хороший хозяин, организатор, тебя уважают, Но наш народ не любит людей сухих, «начальников». Не-ет! Ты, конечно, замечал, что в армии даже толкового командира, но формалиста, сухаря солдаты не любят. Разве не правда? Так там армейская дисциплина. Любишь не любишь — приказ выполняй. А колхоз — учреждение самое демократическое. Так к чему же этот твой официальный тон? Так можно и не заметить, как появится стена между тобой и народом. Ты должен быть душой коллектива, первым не только в работе, но и в шутке, в гулянье, в споре. И ты можешь быть таким — я же знаю. И никому не нужна эта твоя суровость. Авторитета у тебя хватит и без неё. Наконец, если говорить о нашей агитации… Знаешь, вот здесь, в лавке, в непосредственной беседе, она будет куда более действенной, чем когда мы собираем людей официально и начинаем читать скучный доклад… А люди сидят и зевают.

Василь слушал молча и с тревогой думал: «Надо последить за собой… Может, я и в самом деле отрываюсь от людей. Старик никогда не говорит зря…»

19

Василь знал: не много пользы будет колхозу, если агрономию изучать будет он один. Чтобы поднять хозяйство, повысить урожайность, надо вооружить знаниями для начала хотя бы своих ближайших помощников — бригадиров, звеньевых, заведующего фермой, членов правления. Поэтому, как только закончились полевые работы, он взялся за организацию

этой учебы. Сначала он руководил кружком сам.

Потом на помощь ему пришел Ладынин. Игнат Андреевич посоветовал расширить программу и сам стал читать слушателям лекции об Уставе сельскохозяйственной артели, о международной политике и об опыте передовиков сельского хозяйства.

Скромный кружок превратился в настоящую агрономическую школу. О нем пошла слава по району.

Председатель колхоза «Победа» из соседнего сельсовета Дергай часто сам приезжал на занятия и решением правления обязал двух своих бригадиров регулярно посещать их. Из «Звезды» приходили две сестры Дудко, Лиза и Вера, хотя их председатель, Пилип Радник, относился к учебе скептически. Из «Партизана» занятия посещали четыре девушки во главе с Машей Кацуба. Людей набралось больше, чем Василь поначалу рассчитывал.

И постепенно большинство членов кружка из пассивных слушателей превратились в энтузиастов агрономической учебы. Их не удовлетворяло уже обсуждение общих вопросов агрономии, они читали дома серьезную литературу и все чаще задавали такие вопросы, на которые Василь и ответить сразу не мог. Возникла необходимость в более квалифицированном руководителе. Но участковый агроном жил в районном центре, при МТС, и в зимнее время очень редко показывался в колхозах.

Лазовенка потребовал, чтобы агроном переехал жить в колхоз. Директор МТС Крылович возражал:

— Ты бы хотел, чтобы вся МТС к тебе переехала. У агронома — четырнадцать колхозов, не может он сидеть в одной твоей «Воле».

Да и сам агроном, старый болезненный человек, имевший в райцентре свой домик, категорически отказался куда бы то ни было переезжать.

Василь поговорил на эту тему в райкоме. На его счастье, в МТС приехал новый молодой агроном, который охотно согласился поселиться в колхозе, поближе к производству. Павел Павлович Шишков — почти ровесник Лазовенки.

На войну он попал со второго курса сельскохозяйственного института. Потеряв левую руку, он вернулся в институт и окончил его.

Они понравились друг другу с первой встречи, и Василь не стал искать ему квартиру, а поместил у себя в той же боковушке, где стояла и его кровать.

Слушателей собралось много. Больше, чем на любое из предыдущих занятий. Пришли даже те, которые раньше никогда не бывали здесь. Особенно много было девчат. Василь понимал: многих привело сюда просто девичье любопытство — рассмотреть вблизи и послушать молодого агронома. «Одни хлопцы у них на уме», — подумал Василь, но в душе был рад такой многолюдной аудитории.

Удивила его в тот вечер неожиданная дружба Маши и Насти: они сидели рядом и мирно беседовали. Да и не одного его это удивило. Он видел, как шепчутся девчата, бросая на Настю насмешливые взгляды.

Он догадывался, чем вызвана перемена в отношениях Насти и Маши, и сердился.

«Неужели опять надеется? Черт знает, что за девушка!»…Странные были у них отношения. Настя Рагина слыла первой красавицей на весь сельсовет. Гибкая, чернобровая, с тонкими нежными чертами белого лица, с русой длинной косой, она вскружила голову не одному парню. Когда ей было всего шестнадцать лет и она только что окончила семилетку, ей сделал предложение учитель. После освобождения в Добродеевке долго стоял на отдыхе артиллерийский полк, — так почти все молодые офицеры были в нее влюблены. А один майор сватался по всем правилам, к родителям приходил. Настя смеялась, шутила, не

одному пообещала ждать. Но когда полк ушел и её стали засыпать письмами, она не ответила никому, и вдруг первая начала писать Василю Лазовенке, который в то время лежал в госпитале. Она была года на четыре моложе его, и до войны они, должно быть, ни разу даже не поговорили всерьез. Разве только случайно он перекидывался словечком с веселой девчонкой. Поэтому так и удивила её подруг эта переписка. Правда, пожилые женщины хвалили её:

— Настю не проведешь. Кавалеры эти что? Были — и сплыли. А Василь свой человек.

Два года она бомбардировала удивленного Василя противоречивыми письмами: то шутливыми, то нежными, то укоризненными — «со слезой». Он отвечал сдержанно. А приехав и увидев, что все считают его Настиным женихом, прямо сказал ей:

— Не могу кривить душой, Настя. Не нашлось у меня в сердце места для тебя, и я не верю, что ты это всерьез… У тебя это просто игра, а не любовь.

Как она оскорбилась!

После этого Настя избегала с ним встреч один на один. А столкнувшись как-то с Машей, процедила сквозь зубы:

— Ненавижу тебя. Встала ты у меня на дороге.

Её отношение к Маше изменилось с приездом Максима.

…Агроном говорил о кормовых культурах. Эту тему не раз затрагивал и Василь. Но лекции их существенно отличались одна от другой. Павел Павлович начал, правда, несколько издалека, но подвел к главному ловко, умело. Говорил он просто, занимательно, с многочисленными примерами и даже шутками, И вся его фигура и манера держаться обнаруживали в нем опытного докладчика и педагога. Он спокойно ходил мимо стола, то приближаясь к передним рядам слушателей, то отходя к стене, на которой висел

схематический план земель колхоза. В руке — измазанная чернилами линейка. Он изредка взмахивал ею, легко постукивал по голенищу сапога, то вдруг, повернувшись, проводил линейкой по плану. Потом, не окончив фразы, обращался к слушателям с молчаливым вопросом: а как, мол, по-вашему? Так постепенно он превращал лекцию в живую беседу, втягивал в нее почти всех слушателей. И сам увлекся: его бледное лицо покрылось румянцем, глаза загорелись.

Василь и завидовал Шишкову за его умение так просто и доходчиво говорить, и мысленно укорял за то, что тот немного рисуется.

...Шишков заговорил о работе полевой бригады. И вдруг Настя прервала его. Она спросила грубовато, с явным вызовом:

— Что это у вас бригада да бригада? А звено где?

Шишков растерялся от неожиданного вопроса и от насмешливо-проницательного взгляда её красивых глаз.

— Звено? Какое звено?

— Какое! — Она засмеялась, победоносно оглядывая подруг. — Наше звено.

— Ах, ва-ше! — шутливо протянул он. — Что же вы предлагаете? Закрепить за вашим звеном поля в севообороте?

— Я у вас спрашиваю, а не предлагаю, — улыбка исчезла с её лица, она нахмурилась. — Вы агроном.

— Так вот, как агроном, скажу вам прямо: кустарные методы, которыми работают сейчас звенья, не только не будут способствовать, но помешают нам вести хозяйство на научной основе.

— Вот как!

Настя поднялась, на щеках у нее выступили пунцовые пятна.

— Значит, вы против звеньев?

Шишков тоже почувствовал, что краснеет. Он знал, что после ранения у него не всегда хватает силы зажать в кулак свои нервы, и насторожился, прислушиваясь к толчкам пульса на шее.

— Я знаю, куда вы гнете. Я уже раньше слышала ваши разговоры. Только не выйдет у вас ничего! Звена своего я вам тронуть не дам. А таких учителей мне не надо!

Она сорвала с плеч большой шерстяной платок, накинула на голову, взмахнув им так, что замигала лампа, и демонстративно вышла.

— Не девка — огонь! — заметил кто-то из стариков.

— Она? — спросил Шишков, когда во время перерыва они с Василем зашли в его боковушку.

— Она самая. Агроном засмеялся.

— Удивляюсь, как ты выдержал натиск такой девушки… Одни глаза знаешь чего стоят! Глянула — как автоматной очередью прошила.

За перегородкой смеялась, шумела молодежь, работал приемник, заглушая разговоры громкой музыкой.

— Попомнишь эти глаза! Она теперь такой тарарам поднимет!

— А ты испугался?

— Я не из пугливых. У меня хватит сил сломать все, что мешает работе.

20

Однажды во время занятий разгулялась метель. Ветер завыл в трубе, застучал ставнями, по стеклам зашуршал сухой снег.

Занятия кончили пораньше, чтобы дать возможность

слушателям из других деревень добраться до дому, пока не замело дороги. Комната быстро опустела. Только Маша не спеша, задумчиво закутывалась в платок, разглядывая на стене новый агрономический плакат, В этот вечер никого больше из их деревни не было.

Василь подошел к ней и спросил:

— Ты одна?

— Как видишь. Алена заболела, у Гаши иа ферме корова должна телиться. К Дуне жених приехал.

Василю не понравилось, что приезд жениха Маша считает уважительной причиной, чтоб не прийти на занятия, но он вежливо промолчал. Оглянувшись на Шишкова, он тихо предложил:

— Погоди, Я провожу.

Грустная улыбка, тронувшая Василя за самое сердце, пробежала по её губам. Но ответила она тихо, мягко ласково:

— Не надо, Вася, Я сама, — и коснулась его руки.

— Нет, нет! Что ты!

На улице возле палисадников уже высились горбатые сугробы. Идти было трудно, и они, пока пробирались по улице, молчали, Но в поле дорога не была заметена, снег несло вдоль нее непрерывным сыпучим потоком, и неизвестно было, где он остановится. Не шумели, а, казалось, тревожно и жалобно гудели от бесчисленных ударов ветра стоявшие вдоль дороги старые суховерхие березы.

Они пошли рядом, не касаясь друг друга, Василь, чтоб с чего-нибудь начать, спросил:

— Как тебе понравился агроном?

— Ничего. Только немножко задается…

— Ну, что ты! Рисуется, это есть. Просто по молодости, А так хлопец толковый.

— А чего он на звенья нападает?

— Не нравится ему организация работы наших звеньев. Говорит, при таком кустарничании полевые работы механизировать как следует нельзя.

— А ты как думаешь?

— Знаешь, пожалуй, он прав. Практика показывает, что не живое это дело.

Маша помолчала, После долгой паузы Василь вдруг неожиданно спросил:

— Послушай, Маша, что у вас там за недоразумение с Максимом?

Маша даже вздрогнула. Давно хотелось ей рассказать о своих душевных терзаниях человеку серьезному, умному, который понял бы все с полуслова и не посочувствовал бы — нет! — больше всего она боялась слезливого сочувствия, — а сказал бы что-нибудь простое и ободряющее, может быть, дал бы хороший, толковый совет. До сих пор она говорила обо всем только с Алесей… Но младшая сестра относилась к её переживаниям юношески легкомысленно: то возмущалась и осыпала Максима проклятиями (а Маше было обидно и больно слушать, как его ругают), то вдруг говорила:

— Плюнь ты на него. Разве мало стоящих людей? Неужто на нем свет клином сошелся?

Плюнь!..

Легко это советовать другому! А если она даже и после того, как он её оскорбил, не может вырвать его из сердца?

Поэтому, как только Василь спросил, она сразу решила: «Вот кому… он поймет», — и тут же легко и просто

начала рассказывать.

Василь слушал, не проронив ни слова. Только, когда она дошла до того, как Максим грубо обидел её, он тихо выругался:

— Дур-рак.

Когда он волновался, то начинал заметно картавить.

— Ты понимаешь, как это тяжело—потерять веру в человека. Для меня он всегда был самым добрым, умным, чутким. Знала, что он горяч, несдержан. Но, может, за это и полюбила его. А теперь… Я не знаю, что мне о нем и думать теперь. — Она помолчала, потом откровенно призналась — Вообще, тяжело, Вася. Прямо сердце горит. Шесть лет… Шесть лет я жила мечтами о простом человеческом счастье — о семье. Еще совсем недавно представляла себя женой, матерью… — Должно быть, на какое-то мгновение забывшись, она счастливо засмеялась. — Видишь, какие крамольные мысли волновали секретаря комсомольской организации.

Она смутилась: как это ни с того ни с сего выложила перед ним то, что скрывала даже от Алеси?

Василь долго молчал, и Маша с непонятным страхом ждала, что он скажет.

— Знаешь что?.. Я с ним поговорю.

— Ты? — Она помолчала. — Не надо, Вася. Что он подумает?

— Ну, если он окончательно совесть потерял и стал дураком, тогда, конечно…

…Назад идти было трудно.

Снег слепил глаза. Дорога, которая за пять минут до того казалась гладкой и твердой, хоть катись по ней, теперь вся была в косых наметах. Ноги скользили по сухомуспрессованному снегу.

Василь надвинул ушанку на глаза и шел, глядя под ноги. Он думал о Маше и чувствовал, как в душе у него растет злоба на Максима. Сам того не замечая, он довольно громко ругался, подкрепляя слова энергичными жестами.

«Петух надутый! Отрастил усы, как павлин хвост (ему ещё при первой встрече не понравились усы Максима), а в голове пусто. Зачем обижаешь девушку, осел безмозглый? Ты её подошвы не стоишь. Думаешь, все такие, как ты. Погоди, я поговорю с тобой… Я до тебя доберусь… И во имя нашей дружбы… я тебе вправлю мозги так…»

Вдруг ему показалось, что он сбился с дороги. Он быстро поднял голову и от неожиданности даже отшатнулся: перед ним стоял человек. Василь ещё больше удивился, когда узнал в нем Максима. Тот наклонился к нему, заглянул в лицо и засмеялся язвительным смехом.

— А-а, счастливый влюбленный! Проводил! Что ж ночевать не остался?

Василю показалось, будто его схватили за горло. Он втянул в себя воздух с такой силой, что кровь застучала в висках.

Голос Максима из насмешливого стал злым:

— Свинья ты, а не друг!

От этих слов у Василя как-то сразу отлегло от сердца.

— А ты — балда…

— Умники, черт бы вас побрал… Пророки доморощенные! — И, ругаясь, он обошел Василя и торопливо зашагал дальше.

Напрасно Василь пытался его остановить.

— Максим! Подожди ты! Давай поговорим серьезно. Через минуту тьма и метель поглотили его фигуру…

«Как неудачно это вышло. У него и в самом деле есть основание думать черт знает что. Главное — о Маше. Надо завтра же встретиться и все объяснить. Но какой петух, однако!»

А «обиженный», «оскорбленный» Максим в это время шел, весело насвистывая. Весь его крик, все возмущение было не чем иным, как короткой вспышкой и даже отчасти позой. Правда, шевелилась в душе и ленивая ревность, задетое самолюбие, но все это заслонялось приятными воспоминаниями о вечере, проведенном у доктора.

21

В горячие летние дни, когда порой трудно выкроить часок прочитать газету, Лазовенка часто думал: зимой возьмет на месяц отпуск, передаст руководство заместителю, запрется и будет всерьез заниматься учебой, будет читать день и ночь, чтоб за месяц прочитать столько, сколько успевал обычно прочитать за год.

Учебой он действительно занялся серьезно. А над намерением взять отпуск сам посмеялся: работы и зимой было не меньше, чем летом.

Шло строительство. Строили одновременно несколько хат, колхозный амбар и клуб. Еще на небе там-сям можно было увидеть звездочку, над хатами только начинали подниматься в морозную синь столбы дыма, а во всех концах Добродеевки уже стучали, словно дятлы, топоры, звенели пилы. На утоптанный снег летели желтые щепки. Хозяйки собирали их на растопку.

Василь обходил постройки. Под ногами скрипел снег. Разносились звонкие голоса школьников. Дети никогда не упускали случая пройти мимо большого неоконченного сруба, напоминавшего букву Г, В четырех его частях, разгороженных капитальными стенами, очень удобно было играть в прятки.

Василь смотрел и улыбался.

«Для них клуб уже существует».

Он и сам чаще, чем на другие, заглядывал на эту большую стройку, которая в последнее время стояла мертвой — не хватало плотников, хотя он и поставил на строительные работы всех, кто только способен был держать топор.

По инициативе Василя стройку клуба объявили народной. Организовали воскресники. На первый вышли комсомольцы, молодежь, потом постепенно втянулись все: почтенные хозяева, которые сперва встретили эту затею насмешливо, женщины, учителя. Все шло хорошо, пока надо было выполнять подготовительные работы, не требующие рук мастера, — рубить и вывозить лес, отпущенный государством, готовить площадку, копать котлован для фундамента, возить кирпич и глину. Но когда дошли до главного — до сруба и отделки, вот тут и выяснилось, что сил не хватает. Нельзя было остановить постройку домов для колхозников, помещений для скота.

Однако и клуб никак нельзя было отнести к числу второстепенных дел, — Василь это прекрасно понимал. Клуб нужен был не только одной «Воле»; в центре сельсовета он был необходим всем четырем колхозам. Поэтому Василь через сельсовет попробовал попросить помощи у соседей. Пилип Радник, «хитрый мужичок», как его называли, многозначительно улыбаясь, всегда соглашался:

— Поддерживаю и душой и сердцем. Но, брат Василь Минович, надо подумать. Надо посоветоваться с членами правления. Дело нешуточное…

Василь сердился, зная, что этот самый Радник, который выставляет себя таким защитником принципов колхозной демократии, подчас месяцами не созывает правления и в колхозе распоряжается как директор.

Шаройка отвечал более откровенно:

— Нашим людям в ваш клуб ходить не с руки, обувь

больно дорого обойдется.

Василь каждый день подолгу простаивал перед неоконченным срубом. Где взять средства, чтобы нанять плотников? Дело осложнялось ещё и тем, что его стремление скорее закончить клуб не встречало поддержки у членов правления. Они не приняли предложения Ладынина взять кредит.

— Не будем брать, Игнат Андреевич, — сразу возразил Михей Вячера. — И так, спасибо государству, всю деревню в кредит отстроили. А я полагаю, государство — не бездонная бочка. Да и нам… Брать оно, знаете, легче, чем отдавать.

— Не по своим силам размахнулись. Не рассчитали, — кратко, как всегда, вставил бригадир строительной бригады Иван Роман. — Этакую махину на такусенький колхоз! Можно было бы и повременить.

Василь разозлился. Его прямо возмущали разговоры о том, что клуб не по колхозу велик и дорог, что на первый случай хватило бы какой-нибудь обыкновенной просторной хаты.

— Увидите, через какие-нибудь два-три года он мал будет… И сами запросите больший, стыдно перед соседями станет. Будем строить!

Члены правления отлично знали своего председателя, его настойчивость, и сопротивлялись вяло. Но именно эта вялость, безразличие и возмущали Василя. Лучше бы они спорили, убеждали, как это часто делали, когда речь шла о хозяйственных постройках.

Недалеко от клуба, против врачебного пункта, быстро поднимался новый дом. Заведующий сельпо Гольдин наконец выполнил данное пайщикам обещание: привез новый сруб под сельмаг. У него на постройке работала бригада опытных плотников райпотребсоюза.

Василь с завистью поглядывал на эту дружную группу — шесть человек! — добрых мастеров. Эх, ему бы

сейчас такую бригаду! У него уже не раз мелькала «крамольная» мысль — сагитировать Гольдина и бригадира оторваться дней на пять от сельмага и поработать в колхозе — подогнать хвосты. Он знал: в районе за это не погладят по головке ни его, ни Гольдина. Ну и пускай! Но зато как славно было бы ко дню выборов окончить все три хаты, в которых ещё до холодов поставлены были печи, и вселить людей.

Возле сельмага Василь каждое утро встречал Гольдина, Тот суетился вокруг рабочих, пытался чем-нибудь помочь им, но, кажется, больше мешал. Завидев Василя, он издали шумно здоровался и шел навстречу с неизменным возгласом: — Строим, Василь Минович?

— Кто строит, а кто смотрит, — хмуро отвечал Василь, у которого при виде неоконченного клуба всегда портилось настроение.

Гольдин понимал состояние председателя колхоза и притворно вздыхал, хотя душа его в этот момент пела. Не бойся он так Василя, наверно, сказал бы: «А далеко ли ушли те времена, Василь Минович, когда ты изо дня в день смеялся над моими темпами?» Но он очень уважал этого не по годам серьезного молодого человека (Василь был лет на пятнадцать моложе Гольдина), и ему всегда хотелось делать председателю колхоза только приятное.

Однажды, когда Василь от будущего магазина направился на колхозный двор, где возводилось помещение для телят, Гольдин догнал его.

— Слушай, Василь, что я тебе скажу. Окончим магазин — перебросим бригаду на клуб. Только, чтоб шито-крыто. Не дай бог, дознается мой начальник!..

Василь не сдержал улыбки.

— А когда это будет? Через год?

— Даю голову на отсечение — через месяц.

Много дел у председателя колхоза. А зимний день

коротoк. На строительстве надо побывать с самого утра ещё и потому, что плотники имеют привычку выходить на работу с опозданием. А придешь туда — в хату или в телятник, так приятно пахнет смолистой стружкой, на сложенной посредине глиняной площадке горит огонь, и появляется обыкновенное человеческое желание — посидеть, покурить, поговорить. Но уже ждут бригадиры — надо давать наряды. Хорошо, что канцелярия тут же, дома: мать не выпустит, пока не поешь.

А потом — побывать в кузнице, в амбаре, где сортируют семена, проверить, как бригадиры подготовили людей для отправки в лес, наведаться в поле, посмотреть, как выполняется указание агронома об установке щитов для снегозадержания.

В поле холодно. Ветер восточный, колючий. Поземка. Движется вся снежная поверхность, течет, будто вспененная река. Это беспрестанное струение сухого снега производит своеобразный, едва слышный музыкальный шум.

Василь свернул с дороги и пошел целиной. Снег был неглубокий, неровный, лежал гребенчатыми дюнами. Ямки следов быстро заносила снежная пыль.

«Мало снегу, мало», — думал Василь.

На пути у него — молодой лес-березнячок. Тут снегу больше. В глубине леска затишье: Только звенят промерзшие стеклянные веточки берез.

Идти тяжело, жарко. Но как раз в этом и состояло удовольствие такой прогулки. Легко возникали неожиданные светлые мысли, дельные хозяйственные решения. А иногда являлось желание запеть, но не какую-нибудь известную песню, а свою, которая говорила бы сразу обо всем: о бескрайности снегов, об этих беленьких молодых березках, о следах, которые вдруг попались на глаза, о чувствах, может быть, даже о его любви…

Хорошо и помечтать одному в поле. О будущем — своём и колхоза, о будущем всей страны. Мечты эти неотделимы друг от друга.

«В нынешнем году — на первый план урожай. Чего бы ни стоило, а достичь предвоенного — двенадцать центнеров на круг. Потом из года в год повышать… Одновременно заняться фермами».

Вот так, по этому плану. Конечно, все это потребует огромного строительства. За электростанцией — радиоузел, затем элеватор, электрифицированные конюшни и коровники, — На полях — полная механизация. Чтоб не один трактор пыхтел, а целая тракторная бригада работала, комбайн… И вдруг вся эта воображаемая радостная гармония нарушается вопросом, который вместе с другими вопросами (о звеньях, о рабочей силе) возникает уже не впервые: «И это все на четырехстах гектарах пахотной земли?»

Да, земли мало.

Попробуй-ка введи на таком клочке научные севообороты, примени все новейшие машины. И людей мало, чтоб все это сразу поднять. Еще не раз выйдет так, как с этим клубом. Да, работы хватит. Без дела сидеть не придется…

Василь вдруг остановился. Кровь бросилась в лицо.

Порубка.

Замеченные им давно следы, которые он принял за следы охотника, начали петлять. Дальше — в трех местах вытоптанный снег. И больше ничего. Вор собрал и припрятал даже обломанные веточки. Но Василь сразу нашел замаскированный пенек под кучкой снега, смешанного с опилками.

Кому и зачем понадобились эти три молодые березки?

Василь громко выругался.

— Найду — десятому закажет, как рубить. Сукин сын!

Немало он уже повоевал с порубщиками колхозного леса. «Ну, от меня не скроешься. Приструню Дончика, — он тебя из-под земли выкопает». Иван Дончик — колхозный лесник.

За березняком — поле под теплым покровом снега, озимая рожь, с которой связаны лучшие надежды на урожай будущего года. Но дальше, на пригорке, земля почти голая, ветры сдувают снег к лесу на луга. Еще до того, как установилась зима, Василь побывал здесь с Шишковым, и они разработали план установки щитов для снегозадержания.

И вдруг он увидел: все эти заграждения из ивовых плетней, из жердей и сосновых лап, специально привезенных из лесничества, поставлены не там, где им надлежало быть, а в низине возле самого березняка, где снег задерживался и так.

В отдалении работала группа молодежи, преимущественно девчата. Они вели изгородь вверх—на пригорок. Двое подростков на лошадях подвозили им материал. Молодежь работала быстро, дружно, хотя и шумно: смеялись, толкали друг друга на колючие ветки и в снег.

Василь не знал, кого послал сюда бригадир. Теперь, увидев, он сразу понял, в чем дело. Работало всё Настино звено. Сама она, в красном кожушке, в белой шали, издалека выделялась среди девчат своей ловкостью и проворством в работе.

«Подожди, чертова кукла!» — он чувствовал, как злость его растет, стучит в грудь, в виски, ища выхода.

Девчата увидели его и приостановили работу.

Василь слышал, как одна из них, словно испугавшись, крикнула:

— Настя! Председатель!

Звеньевая встретила его неопределенной улыбкой. Но во взгляде её был явный вызов: можешь, мол, начинать,

но знай, что я за словом в карман не полезу. Щеки у нее были красные, огрубевшие, обожженные морозом, а лоб — белый-белый, и на нем резко вырисовывались нахмуренные черные брови.

— Что это такое? — спросил Василь ещё на ходу, кивком указывая назад.

— Добрые люди сначала здороваются, Василь Минович, — Настя победоносно оглянулась на подружек. Они молчали, с интересом ожидая предстоящего поединка.

— Я спрашиваю, что это такое? — Он не заметил, как повысил голос.

— А ты сам не видишь, что ли? — И её голос тоже задрожал.

— Вам бригадир говорил?. — Говорил.

— Так какого черта!..

Вперед выступила низенькая рыжая курносая девушка — Наташа Гоман.

— Вы не ругайтесь, товарищ председатель. А то мы тоже умеем ругаться…

Она всегда, как верный ординарец, держалась возле Насти и заслоняла её собой от всех нападок. Василь не любил её за это.

— Вы сначала разберитесь. Там — участок нашего звена. Мы дали, слово на областном совещании. А это вам не что-нибудь…

— Значит, выходит, на ваш участок надо все… А на остальное колхозное поле ничего…

— Об остальном пускай остальные и думают! Людей в колхозе много.

Новая волна возмущения захлестнула Василя. Вот оно — то, о чем говорил Шишков: возрождение

своеобразных собственнических настроений. Василь больше не мог владеть собой и в негодовании закричал, наступая на испуганную девушку:

— Кто эти остальные, ты мне скажи? Христина Раднико ва, что ли? Или, может, Иван Монах?

При упоминании о придурковатом, фанатически-религиозном единоличнике кое у кого из молодежи мелькнули улыбки. Но многие девчата бросали на Настю сердитые взгляды. Заметив это, Василь начал остывать. Растерянная Наташа смотрела на Настю молча, взывая о помощи. Но та не сводила глаз с председателя, в уголках губ её застыла непонятная улыбка, словно она думала о чем-то своем, заветном, и совсем не слышала того, что он говорил. Потом вдруг встрепенулась.

— Кто? Остальные звенья. Почему не организуешь больше звеньев? Хочешь зажать звеньевую работу? Агронома своего недопеченного слушаешь? Выше всех взлететь хочешь? Гляди, голову сломаешь.

Наивная эта угроза окончательно успокоила Василя, даже развеселила. Не отвечая Насте, он обратился к девушкам;

— Вот что, разговаривать будем вечером на правлении. Приглашаю всех. А сейчас — за работу. Все переделать, как я покажу. Без дополнительного начисления трудодней. Да, да! — решительно подтвердил он, заметив, как при последних словах они стали переглядываться. — Ответственным за работу назначаю, — он обвел долгим взглядом группу молодежи и остановился на курносом парне в ватнике, подпоясанном флотским ремнем, — тебя, Федя.

От Василя не укрылось, как побледнела Настя, как гневно раздулись её ноздри.

Он повернулся и зашагал назад, в сторону березняка, где густо зеленели щиты из сосновых лап. За ним двинулось все звено. Только звеньевая и её верный

ординарец остались стоять на месте, на вытоптанном снегу.

Когда они отошли уже довольно далеко, Настя со злобой выкрикнула:

— Эй ты, директор! Дойдешь до Лядцев, не забудь про участок своей зазнобы!

Ничего удачнее, чтоб его уколоть, она, как видно, придумать не могла.

Василь даже не оглянулся.

Это окончательно вывело Настю из равновесия. Она поняла неловкость своего положения и, не зная, на ком сорвать злость, накинулась на Наташу.

— А ты чего стоишь? Чего ты стоишь, как пень среди поля? — Она чувствовала, что слова эти больше подходят к ней самой, и ещё сильнее разозлилась. — Чего ты таскаешься за мной хвостом? Иди с ними! Иди!

Наташа посмотрела на нее сначала с удивлением, потом неприязненно, мотнула головой и решительно сказала:

— Ну и пойду. — И засмеялась. — Командир без войска! Она ушла и работала вместе со всеми, стараясь только не встречаться взглядом с председателем.

А Настя кружным путем, по лугам, по глубокому снегу шла к деревне, кусала платок и плакала, как девочка, навзрыд.

Василь почти до самого вечера работал с молодежью. Направлял, показывал, где и как лучше ставить заграждения, чтобы больше снега осталось на поле, и сам носил ветви, жерди. Работали дружно, с подъемом. О том, что случилось, не поминали. Но председатель твердо решил серьезно поговорить обо всем на заседании правления, воспользоваться этим случаем, чтобы ещё раз ударить по нарушителям дисциплины.

22

Настя пожаловалась на Василя в райисполком, и Белов, который всегда поддерживал её, как лучшую звеньевую, сам приехал, чтобы «вправить мозги добродеевским политикам», как он называл Ладынина и Лазовенку. Против них он уже давно «имел зуб».

Председатель райисполкома первым делом заехал в сельсовет.

Байков только что вернулся из своего очередного похода по колхозам, устал и в душном, тесном кабинетике дремал над развернутой на столе газетой.

Разбудил его раскатистый, громовой голос Белова в соседней комнате.

— Малюешь? Давай, давай. И батьку своего продерни ещё разок. Он опять спрятался от меня. — Он обращался к Косте Раднику, заведующему хатой-читальней, сыну председателя колхоза «Звезда».

Байков вскочил, пригладил ладонями волосы, протер глаза, навел порядок на столе.

— А-а! Власть, слава богу, дома! — закричал Белов, открывая дверь в кабинет. — Чего ты сияешь, точно именинник?

Байков смутился и потер свою контуженную руку.

— Только что пришел из «Звезды», Николай Леонович.

— А я у тебя и не спрашиваю, откуда ты пришел. Лучше скажи, как лес возишь.

— Возим.

— Возим, а он стоит на месте, холера его возьми. Видел сводку? Ниже золотой серединки опустилась. Вот тебе и «возим»! Сколько у тебя сегодня в лесу? Не ищи в бумагах, по глазам вижу — не знаешь. А ещё — «возим»! На райисполкоме придется поставить. Стыдно,

Байков! Ты старый работник! А разленился… Не знаешь, что под носом у тебя делается. Что у тебя тут Лазовенка куролесит? Разогнал звенья, повыгонял лучших звеньевых…

— Лазовенка, звенья? — У Байкова от изумления округлились глаза.

— Ага, не знаешь, — радостно воскликнул Белов и оторвался от печки, у которой стоял. — Вот он, твой стиль работы. К Раднику что ни день наведываешься, а в «Волю» заглянуть — тебя нет. Лазовенке слова сказать не можешь. Мне, брат, давно говорили, что ты их боишься как огня, Лазовенки и этого доктора вашего медицинских наук. Стыдись! Старый работник…

В его упреке была немалая доля правды, и Байков это чувствовал. Он и в самом деле почти никогда не заглядывал к Лазовенке, не проверял его работы, не помогал советами, как делал это по отношению к другим председателям. Дело было не в том, что колхоз числился в передовых не только по сельсовету, но и по району. Главное заключалось в ощущении: Лазовенка перерос его, Байкова, Лазовенка умеет руководить хозяйством так, как он не сумел бы, хотя и работал до войны долгое время председателем колхоза. Правда, «боится», может быть, и не то слово. А может, даже и то… В самом деле, его порой пугает размах Лазовенки. А вдруг получится что-нибудь не так? С кого тогда спросят? С него, с председателя сельсовета, в первую очередь. Так пускай уж они сами…

У Байкова в одно мгновение пронеслись в голове все эти мысли, и, как бы желая показать, что нелегко ему работать с такими людьми, он вздохнул:

— Ученые…

Председатель райисполкома, круто повернув разговор, опять накинулся на него.

— Ученые!.. Ученые потому, что учатся. А мы с тобой разложим газеты и дремлем над ними. А в книгу

заглянуть — нас и за уши не притянешь. Вот подгоним лесозаготовки, сам проверю, как председатели сельсоветов учатся.

Он подошел к окну, постучал пальцем по раме и вдруг совершенно неожиданно спросил:

— А что, видел, какого жеребца мне Сильчанка подарил?

— Подарил? — усомнился Байков и, обрадованный тем, что Белову наконец наскучило «читать мораль», поспешно подошел и стал рядом, любуясь жеребцом.

— За двенадцать тысяч, чтоб ему ни дна ни покрышки. Старый друг, а ни копейки не уступил.

— Добрый конь, — похвалил Байков.

— Что добрый! Да ты такого коня ещё не видал, Ты выйди — погляди. Идем, идем!

Они прошли через соседнюю комнату, где Костя Радник оформлял стенную газету и, не отрываясь от дела, объяснял секретарю сельсовета Гале Бондарчук, что такое любовь в его, Костином, понимании. Галя этот разговор толковала по-своему и заметно краснела. Её смущение не укрылось от проницательного глаза Белова.

— Что, в любовь играете, пока начальство делами занято? Галя покраснела, стыдлива спрятала глаза. Костя, чтобы скрыть свое смущение, сам перешел в атаку.

— Товарищ председатель райисполкома, давно хотел к вам обратиться. Почему Байков не дает денег на пополнение библиотеки? В прошлом году не исчерпали фондов и в этом…

Байков бросил на своего подчиненного уничтожающий взгляд: «Еще и ты, чтоб тебе пусто было! Без тебя мало хлопот!»

— Почему не даешь? — спросил Белов. Председатель сельсовета смущенно развел руками.

— Завтра же дай деньги, и никаких разговоров. Понял? А почему у тебя дежурных никогда на месте нет? Давай пошли кого-нибудь за Лазовенкои и Ладыниным.

На дворе он долго хвалил жеребца, расписывая все его стати, нежно гладил, хлопал по крупу, заставлял Байкова осматривать коня со всех сторон.

Потом так же неожиданно спросил:

— Скажи, Апанас Молчан дома?

— А где ж ему быть в такое время?

— Идем — яблоками угостит. Это «тот старик». Попотчует такими, словно только что с яблони, Владеет особым секретом их хранения. До войны, помню, в апреле угощал свежими яблоками. И даже в первый год после освобождения, когда у нас с тобой было по кукишу в кармане, у него — пожалуйста, яблочки и медок. Сегодня вспомнил и — представляешь? — всю дорогу чувствовал запах свежих яблок. Даже в ноздрях щекотало...

Для Байкова это было новостью. Он никогда не интересовался тем, что у кого есть, и запах яблок и меда не щекотал его ноздрей. А этого старого Молчана он, человек простой, открытой души, не любил за хитрость.

Они шли рядом.

Сеял редкий снежок. Пушистые звездочки медленно, как в воде, опускались на землю, на крыши, на заиндевевшие деревья. Воздух, казалось, оледенел. От каждого, даже далекого, звука он звенел, как металл под ударом. А звуков было много. В деревне наперебой стучали топоры, визжала продольная пила. За садом слышались детские голоса, смех. Между деревьев было видно, как там, над прудом, с высокого обрывистого берега в воздух взлетали мальчишки. Белов увидел это

и с удивлением остановился.

— Что за чертовщина?

— Это учительница, дочка Ладынина, устроила лыжный трамплин и учит школьников прыгать…

— Гм, прямо-таки хочется поглядеть и на трамплин и на учительницу. Мне о ней рассказывали. Будем идти назад, непременно завернем.

А через секунду он уже говорил о другом.

— Учись хозяйничать, Байков, — показал он на обмазанные и окутанные молодые деревца.

Плотники на лесах клуба привели его в ещё больший восторг.

— Все-таки строит! Аи да молодчина! За одно это прощаю ему все, хотя он мне и немало крови испортил. Мне б такого начальника отдела колхозного строительства. А то у меня настоящий пенхюх. Ты как, помогаешь ему строить клуб?

Байков пожал плечами.

— Как могу, Николай Леонович. В организации, например.

— В организации!.. Организовать он и без тебя умеет. Ты ему деньгами помоги. Давай включи в бюджет тысяч тридцать на хату-читальню.

— Да вы ж говорили…

— Что я говорил?.. Забудь то, что я когда-то говорил. Позор нам будет на всю республику, если не поможем такому делу. Понял? Вот так и действуй.

Они подошли к клубу.

— Здорово, орлы!

— Доброго здоровьечка, Николай Леонович!

Председателя райисполкома знал каждый человек в районе, и стар и мал: он тут ещё до войны года четыре работал. Его любили. Любили за веселый характер, за простоту, за хозяйский глаз. Он с каждым мог поговорить на какую хочешь тему, ко всем относился одинаково просто, заглядывал на свадьбы и на родины. И выругать мог как-то по-своему, крепко, с чувством, но не обидно, и похвалить — умело, прямо и от души.

Несмотря на свои девяносто килограммов, он легко взобрался на леса, пожал плотникам руки. Поговорил с ними об их делах, о зимних приметах, по которым народ предсказывал урожай. Это был его «конек» с самого начала зимы. Радовало, что по деревням района почти все старые мудрецы предсказывали хороший урожай. Таких он слушал с удовольствием. Когда ж среди них попадался скептик, он его тут же обрезал:

— Дожил ты, отец, до седых волос, а все веришь разным вракам. Глупости все эти твои приметы! В науку надо верить. Наука — вот сила теперь. Скоро будет так: надо — сделали дождь, надо — ветер…

От клуба он прошел к сельмагу, оттуда — к ближайшему из домов, где стучали топоры. В доме, почти уже законченном, жарко пылала печь-времянка, сделанная из железной бочки; труба была выведена в окно. Плотники настилали пол, печник клал печь. Приятно пахло сухой сосной и сырой глиной. Вокруг печника суетилась радостно взволнованная хозяйка, Хадора Добродей. Она заметно растерялась, когда вошел Белов, и не знала, куда девать измазанные глиной руки.

— Когда вселяешься, хозяйка? — спросил Белов, — Думка — до выборов, Николай Леонович.

— Правильная думка. На новоселье, конечно, от радости забудешь позвать?

— Что вы, Николай Леонович? Кого-кого, а вас в первую очередь.

— Почему меня? Старуха, а подхалимничаешь. Небось раньше всех Лазовенку.

— Его как сына, а вас как отца.

— Хитрая. Недаром тебе такие хоромы отгрохали. Из хаты Белов отправился на колхозный двор.

Он давно забыл и про своего жеребца и про яблоки. Теперь его больше всего интересовали саманные коровники, конюшни, желоба для воды — от нового колодца на скотный двор.

— Молодчина! Не к чему придраться. Но за звенья все равно не прощу. Жалко. Хороший хозяин, но с заскоками.

Возле амбара они встретили Василя.

— Ага, на ловца и зверь бежит.

Банков напомнил, что их ждет Ладынин, и они все вместе вернулись в сельсовет.

Белов сел за стол, на председательское место, оперся руками об углы.

— Что ж это вы человека в Минск послали, а я об этом не знаю?

— Я договаривался с вами, Николай Леонович. У Макушенки в кабинете, — ответил Василь.

— Я знаю… но на человека-то я должен был посмотреть или нет? А то ваш Соковитов там наделал шуму, а я и не знаю, кто он такой, даже фамилию забыл. Вы где их таких откапываете?

— Какого шуму?

— Вчера до заместителя председателя Совета Министров дошел, тот звонил мне при нем.

— Ну и что? — заинтересовался Василь.

— А ничего. Будем строить гидростанцию. Дело серьезное, честь для всего района. Дают кредит. С соседями договаривайтесь сами. Только без заскоков, как это вы любите, не перегибайте. — Он поднялся и вдруг мгновенно превратился в строгого начальника, даже голос его стал другим — Что вы тут накуролесили со звеньями? Политики доморощенные!

Ладынин и Лазовенка переглянулись, доктор спрятал улыбку в усы. Василь сделал вид, что ничего не понимает.

— А что такое, Николай Леонович?

— Ты мне простачком не прикидывайся. Что у вас со звеном Рагиной?

— А-а... Ничего особенного. Семейный разговор... Белов встал у двери, загородив её своей могучей фигурой. У Василя в глазах заискрился смех.

— Семейный! Смотрите... Я пугать не люблю. Но скажу прямо: за такой разговор по головке не погладим. Так и знайте!

— Вы, товарищ Белов, сначала разберитесь, в чем дело, — спокойно заметил Ладынин.

— Я уже разобрался. Девушка пришла ко мне со слезами.

— Не всяким слезам надо верить, — вставил Василь.

— Вот-вот... Сразу обнаруживается ваше настроение. И в самом деле надо разобраться, от кого исходят эти старые уже новшества. Антизвеньевые настроения мне пресекать не впервой. Но у вас они наиболее опасны. В передовом колхозе, который мы ставили в пример, и вдруг председатель отстраняет от работы лучшую звеньевую. Ты понимаешь, что ты делаешь? — обратился он к Василю. — На тебя смотрит весь район. А ты...

— А я буду ломать, убирать с дороги все, что мне

мешает поднимать хозяйство в целом. Я не намерен молиться на лучшую звеньевую и на звенья, как вы делаете по отношению к Михальчук! — Как он ни старался, но ему не удалось сохранить спокойствие, он разозлился. — Её звено вышло за рамки бригады и, возможно, выйдет за рамки колхоза, превратится в самостоятельную организацию. Звено дает рекордный урожай, а в колхозе средний урожай — пять центне-ров с гектара. Мне такие звенья не нужны!

Белов выслушал его до конца, стоя у двери, Ответ Василя вызвал в нем противоречивые чувства: недовольство начальника и одновременно какое-то своеобразное восхищение смелостью и решительностью председателя колхоза. Видимо, победило последнее, так как он подумал: «Ах, чёрт отчаянный!! Недаром ты столько орденов нахватал...» — и, вернувшись к, столу, примирительно сказал:

— Хорошо, я разберусь.

23

Зима словно злилась на свой поздний приход.

Разгулялись метели, тучами гоняли снег по полю, по огородам, наметали такие сугробы на улицах и по дворам, что по утрам было трудно отворять калитки.

— В такие дни только на печи лежать, — говорили старики, и кое-кто пытался следовать этой поговорке. Но Лазовенка и Ладынин никому не давали отлеживаться Работы хватало на всех и в эти непогожие зимние дни.

Приближались выборы. Уже был выдвинут кандидат в депутаты — секретарь райкома Прокоп Прокопович Макушенка. Кандидатуру бывшего партизанского комиссара, партийного руководителя единодушно поддержали все трудящиеся района.

Дважды в неделю Мятельский, его жена и Лида должны были ходить в Лядцы на свои агитационные участки.

Ладынин не признавал никаких «уважительных причин», если грозила сорваться очередная беседа.

Случалось, Мятельский просил:

— Игнат Андреевич, носа высунуть нельзя. Куда в такую погоду?

— На войне как на войне, дорогой Рыгор Установим, — отвечал доктор любимой поговоркой Мятельского. — У нас с вами передний край.

Лида ходила в Лядцы с большим удовольствием. Она любила свою работу агитатора не меньше, чем работу в школе, а небольшая прогулка от Добродеевки до Лядцев и обратно была ей только приятна. Она научила Мятельских ходить на лыжах и водила их обычно кружным путем через луга, березняк и поле.

Мятельский шел и ворчал:

— Вы нас замучаете, Лидия Игнатьевна. Вы мне окончательно испортили жену. Приучили к конькам, к лыжам. И это — женщину, которая до тридцати лет ни разу не становилась на коньки и которая через пять...

— Гриша! — не давала ему окончить Нина Алексеевна и весело смеялась. Муж глядел на нее, раскрасневшуюся, хорошенькую, и тоже начинал смеяться. А Лида в душе завидовала их счастью: «Славные они какие».

— Ну и ворчун же он у тебя, Ниночка. Вечно ворчит. Я с таким мужем и дня не прожила бы. Вели ему замолчать, а то наглотается холодного воздуха и схватит воспаление легких.

Лида вырывалась вперед и летела так, что ветер свистел в ушах, а Мятельские оставались далеко позади. Она их поджидала у деревни и каждый раз на одном и том же месте слышала просьбу Нины Алексеевны:

— Лида, милая, давай сегодня соберем всех в одну хату, с твоего и с моего участка. А то у меня сегодня так

голова болит…

Был бы это кто-нибудь другой, Лида ни за что не согласилась бы, а Нине она прощала все; её наивную хитрость, её застенчивость и детский страх перед взрослыми.

Мятельские платили Лиде такой же любовью.

Вообще её любили все: ученики, преподаватели, колхозники. Особенно ученики. Любили за простоту, за то, что она, казалось им, знала все на свете и свои уроки по географии и ботанике превращала в какие-то чудесные сказки, в интереснейшие путешествия. Она не представляла себе, что такое плохая дисциплина. На её уроках ученики сидели затаив дыхание. Лида смеялась над испугом, охватившим некоторых преподавателей, когда они увидели, как она, преподавательница географии, катается со своими учениками на коньках, бегает наперегонки. Она принесла в школу много нового, оживила внеклассную работу. Переписка с уральскими пионерами, кружки, экскурсии, состязания, турниры — все это начиналось по её инициативе.

Только два человека не любили её: преподавательница русского языка Шаройка и физрук школы Патрубейка. Не любили за критику. Лида с первого дня начала поправлять произношение Полины Шаройки. Заносчивая, самолюбивая, Шаройка молчала, но от негодования прямо сохла и кончила тем, что попросила перевести её в другую школу, отказавшись сообщить причины.

Либеральный Мятельский не раз увещевал Лиду:

— Лидия Игнатьевна, сжальтесь вы над нею. Вы её в гроб вгоните.

— Не могу, не могу. От её грамотности зависит грамотность учеников. Пускай учится, а то, говорят, после окончания института она не прочла ни одной серьезной книжки.

Мешковатый, неповоротливый Патрубейка всю физическую подготовку сводил к тому, что учил детей ходить и бегать.

Лида смеялась до слез.

— Федор Кондратович, да они бегают лучше вас. Вы бы сами пробежались. Хоть для вас польза была бы.

Он злился, но старался лучше вести свои уроки. Лида не унималась:

— Федор Кондратович, да вы же врожденный бегун! Как вы сегодня бегали! Ай-яй! Но прошу вас: в следующий раз делайте это подальше от школы. Вы мне чуть не сорвали урок, все ученики бросились к окнам смотреть, как вы бегаете. Это ведь такая новость!

Патрубейка носился по учительской, опрокидывая стулья, задевая лежавшие на столе тетради, книги, кричал:

— Вам, Лидия Игнатьевна, видно, мало своих часов. Берите мои, я вам уступаю. Берите и бегайте, и скачите, и хоть на голове ходите. Освободите меня, Рыгор Устинович, сейчас же. Я больше не работаю.

Однако через пять минут он обо всем забывал и начинал говорить ей комплименты. Но в конце концов и он разозлился всерьез.

Была в школе «техничка», бабка Ульяна. Работала она там лет тридцать. В сорок первом году, когда пришли фашисты, бабка припрятала почти все дорогое школьное оборудование. Теперь она все это откапывала, вытаскивала и чуть не каждый день что-нибудь приносила в школу: один раз — глобус, другой — почерневшие карты, потом — целехонький микроскоп, электромашину и многое другое. И вот однажды она принесла две пары хорошо сохранившихся боксерских перчаток... Возможно, что они и не принадлежали школе, потому что старые преподаватели не помнили, чтоб кто-нибудь видел их в школьном спортивном зале

до войны. Но бабка Ульяна все равно притащила их в школу. Даже микроскоп не вызвал такой сенсации, как эти перчатки! В учительской они переходили из рук в руки, их разглядывали, как какое-то чудо. Наконец одна пара их дошла до Лиды. Она тут же надела их на руки. И, как назло, другая пара в этот момент оказалась на руках Патрубейки. Лида шутливо предложила:

— Встретимся, Федор Кондратович?

Он поднял свои тяжелые кулаки и, вызывая смех окружающих, двинулся на нее. Она сделала шаг ему навстречу, и вдруг мужчина в два раза тяжелее её, как мячик, отлетел назад, споткнулся о табурет и со всего размаху шлепнулся на пол.

Учителя перепугались, а больше всех сама Лида. А у Ша-ройки в первый раз вырвался истерический крик:

— Вот она до чего доводит, ваша мягкотелость, Рыгор Установи!

Несомненно, Шаройка, никто другой, написала анонимное письмо в районо, да такое, что у заведующего, который законно считал добродеевскую школу одной из лучших, а коллектив преподавателей самым сильным и дружным, волосы встали дыбом. Он показал письмо Макушенке, и они вместе приехали в школу. Секретарь райкома зашел к Ладынину и, выяснив, в чем дело, весело хохотал.

Со взрослыми Лида умела говорить так же просто, как с детьми. Её беседы отличались той непосредственностью, благодаря которой докладчик сразу овладевает вниманием слушателей. Правда, была у нее одна странная особенность, которую сначала не понимал даже Игнат Андреевич, — идя к людям, она часто не знала, о чем будет говорить.

— О чем люди захотят слушать, о том и расскажу, — прерывала она на полуслове отца, когда у того иной раз являлось намерение проверить план её очередной беседы.

Она и в самом деле никогда не навязывала своим слушателям тему. Сначала говорили они. Она только умело, замечаниями, вопросами, направляла эту общую беседу, стараясь понять, что интересует их, что волнует. Начинался разговор о международном положении — она незаметно включалась в него, и через несколько минут все слушали её одну. Волновали людей непорядки у них в колхозе — она тут же начинала беседу об Уставе сельхозартели, о рабочей дисциплине, Разговорились женщины о детях-сиротах — она рассказала о великой заботе государства, партии о детях и тут же предложила организовать поездку женской делегации в детский дом, где воспитывались дети погибших на войне. А иногда вдруг начинала читать какой-нибудь рассказ или стихи. Читала она так, что заставляла женщин смеяться, плакать, радоваться вместе с героями.

Она агитировала не только словом, но и делом, чутко относясь к каждому человеку. Был на её участке в Добродеевке инвалид Отечественной войны Роман Добродей. Человек этот ходил на костылях, но сидеть ему было трудно: он был тяжело ранен в поясницу. Свою инвалидность он переживал как непоправимую трагедию.

В первый раз он встретил Лиду довольно неприветливо. Насмешливо оглядел её, маленькую, красивую, в белоснежной меховой шубке, и спросил:

— Агитировать пришла, барышня?

Это неуместное «барышня» неприятно кольнуло девушку, задело её, но она вежливо ответила:

— Поговорить пришла.

— Поговорить? Ну что ж, давай поговорим. Только говорить буду я, а ты послушай.

Он долго рассказывал о своих военных испытаниях, скучно жаловался на свое увечье, на то, что его забывают. Ругал врачей районной больницы, отдел

соцобеспечения, председателя сельсовета. Лида терпеливо слушала, лишь изредка задавая короткие вопросы. Её внимание, как видно, тронуло и обескуражило его. Он вдруг замолчал и удивленно посмотрел на девушку. Тогда заговорила она.

— Хороший вы человек, Роман Иванович. Мужественный человек, если верить вашим рассказам, а не верить нельзя, так как их подтверждают ваши боевые награды. Но вот слушала я вас и думала: как это случилось, что такой мужественный человек так опустился, стал нытиком?..

— Ну, ну! — угрожающе предупредил он, тронув рукой костыль.

Лида и бровью не повела.

— И никакого оправдания вам нет. Вы не один отдали свое здоровье за родину, за счастье ваших детей… Миллионы людей жизнь отдали… А сколько таких, как вы? И есть ещё в более тяжелом положении. Но мало встречала я таких малодушных.

— Послушай, ты…

— Я вас слушала. Послушайте теперь вы меня… Кто вас обидел, чего вам не хватает? Вы бы подумали хотя бы о том, что у вас трое детей, трое учеников советской школы. Мы их воспитываем твердыми, мужественными, воспитываем на рассказах о фронтовом героизме их отца, а вы своим нытьем разрушаете все это. Какой пример показываете вы им? А во что вы превращаете жизнь вашей жены? Она четыре года вас ждала, растила детей. Вы знаете, как она жила эти годы?

— Я знаю, ты мне не рассказывай…

— Теперь она работает день и ночь, чтоб сделать нашу жизнь богатой, красивой, светлой, чтобы и вы, Роман Иваневич, не знали забот и спокойно лечились, чтоб дети ваши могли учиться… А как жизнь может стать красивой и светлой, если вы беспрерывно хнычете?..

Он лежал на постели и все ниже и ниже опускал голову, все чаще дышал.

Лида кончила говорить так же внезапно, как и начала, испугавшись, что чересчур расстроит его.

Долго царило молчание.

Наконец он поднял голову, под усами у него пряталась усмешка.

— Ну и пила вы, Игнатьевна.

Она улыбнулась ему в ответ и совсем другим тоном спросила:

— Роман Иванович, вы читали книгу «Как закалялась сталь»?

— Я читал её, когда вы, Игнатьевна, ещё под стол пешком ходили.

— А давайте-ка прочитаем её ещё раз. Я вам её почитаю.

Она пришла вечером, когда вся семья была в сборе, и начала читать. Читала часа три, и такая тишина стояла в хате, что, когда она делала паузу, слышно было, как где-то под потолком звенит ожившая муха.

Кончила читать — книгу забрала с собой. В первый вечер Добродей не промолвил ни слова, даже не попрощался, когда она уходила. Во второй вечер он попросил:

— Игнатьевна, а нельзя ли книжечку у нас оставить?

— Завтра — пожалуйста, и другие могу принести, — ей хотелось о самом главном и волнующем прочитать самой.

На четвертый вечер она кончила книгу.

Жена Романа и двое старших детей все эти последние три часа чтения и плакали и смеялись. Сам Роман

молчал, но, когда Лида стала прощаться, крепко пожал ей руку и сдержанно сказал:

— Давайте, Игнатьевна, собирайте людей на беседы ко мне. И книжечек приносите, если можно… вот таких.

Через несколько дней в деревню приехала кинопередвижка. Картину показывали в вестибюле школы. Народу было полно. Возвращаясь с сеанса, Лида сказала отцу:

— Папа, есть хорошая мысль. Для инвалидов и всех тех, кто не мог прийти, завтра днем прокрутить картину в хате Романа Добродея.

…Лида пришла к Добродею, когда показывали уже последнюю часть. Кончили, сняли одеяло с окна, и она увидела, что Роман Иванович, этот, казалось бы, черствый человек, утирает слезы. Она хотела было незаметно уйти, но он увидел, остановил, попросил подойти и обеими руками сжал её маленькую руку.

— Ну, Игнатьевна, сколько жив буду — не забуду… Большое спасибо.

В Лядцах она тоже быстро завоевала всеобщую любовь, особенно среди женщин.

Но вдруг произошло что-то непонятное и неожиданное: почти все замужние женщины, точно сговорившись, перестали ходить на её беседы.

Лида расстроилась, даже испугалась. Отцу она об этом не отважилась рассказать и сама настойчиво и упорно стала искать причину. Мать заметила, что она даже похудела.

— Что с тобой, Лида, у тебя на душе неспокойно?

— Ничего, мама.

А на душе и впрямь было очень неспокойно. «Что случилось? В чем моя ошибка?»

Она мучилась и сама чувствовала, что теряет свой запал, свое вдохновение, что беседы её становятся вялыми и неинтересными. Уже не только женщины, но и мужчины начали позевывать, а кто сидел поближе к дверям, часто незаметно исчезал. От этого она ещё больше терялась.

Наконец причина выяснилась. О ней догадалась умудренная житейским опытом Нина Алексеевна. Как-то она проводила беседу одна. Потом, возвращаясь с Лидой домой, она сказала:

— Я, кажется, Лидочка, догадалась, в чем тут дело. Максим!.. Во всем виноват Максим… Женщины уверены, что он из-за тебя бросил Машу, что ты приворожила его, и, конечно, возмущены этим. Машу любят, жалеют. Она сирота и прекрасной души человек…

Лида была поражена. Она остановилась посреди снежного поля и, тяжело дыша, долго смотрела на подругу, хотя в густом вечернем мраке виден был только её белый платок.

— Не может быть, — наконец прошептала она.

— Почему не может? А я убеждена, что это так…

— Но ведь это… это же просто дико.

— Ничего дикого нет, Лидочка. Жизнь есть жизнь.

— Нет, нет… ну хорошо, пусть так… Но при чем же тут я? Я ни одним словом, ни одним движением…

— А они видят другое. Ты часто приходишь в Лядцы. Каждый раз он встречает нас, ты весело разговариваешь с ним, шутишь…

— Что же мне теперь делать? Не ходить? Попросить отца, чтобы перевел назад? Нет-нет! Отцу ни слова! Буду ходить, пока не докажу, что они ошибаются.

Действительно, все это было так неожиданно, нелепо,

что трудно было поверить. Но она вдруг вспомнила один случай, один разговор — и все стало понятным.

Однажды, закончив беседу, она вышла на улицу и тут услышала сзади язвительный женский голос:

— Ишь беленькая, что кошечка. Такая любого приворожит…

Тогда она не придала этому никакого значения, только улыбнулась. А теперь…

Она пришла в негодование, разозлилась. Разозлилась на женщин, на отца, который послал её туда, на Нину Алексеевну, на свою меховую шубку, которую тут же решила никогда больше не надевать, и больше всего, конечно, на Лесковца. Она расспросила об отношениях Максима и Маши и страшно возмутилась, узнав о его поступке.

«Погоди, я с тобой поговорю!» — мысленно грозила она Максиму.

Случай поговорить не заставил себя ждать.

Лида была дома одна. Сидела на диване, поджав под себя ноги и накрыв их все той же меховой шубкой. Вечерело. Сгущались сумерки. Уже трудно было читать, и она отложила книгу, задумалась. Мысли её были прерваны стуком в дверь. Ей никого не хотелось видеть. Хотелось побыть одной, посидеть в темноте, без огня, подумать, помечтать. В их доме такая возможность случается не часто.

«Может, не откликаться?.. А вдруг к отцу? Больной?»

Вошел Максим Лесковец.

«Ага, ты!» Ей показалось, что она со злой радостью крикнула это вслух, хотя на самом деле только подумала.

Угасшая было за несколько дней злоба вспыхнула вновь.

— Добрый вечер, Лидия Игнатьевна.

— Добрый вечер, Максим Антонович.

Казалось, все идет как полагается. Но он сразу почуял неладное и насторожился: она не сказала обычного «раздевайтесь» и «садитесь», она даже не Пошевельнулась, так и осталась сидеть теплым комочком в углу дивана. Как ему вдруг захотелось сесть рядом, взять её руки в свои, обнять её, маленькую. Но…

— Книжку вашу принес, Лидия Игнатьевна. Разрешите посмотреть и выбрать другую.

Он подошел к книжным полкам, наугад сунул книжку в один из рядов. Так же наугад вытащил другую книжку, не решаясь даже подойти к окну, чтоб прочитать её название.

— Вот кстати, что вы пришли, — сказала Лида после минутного молчания, — я сидела и думала о вас.

— Обо мне? — притворно удивился Максим. — А мне, грешному, казалось, что никто на свете обо мне не думает. Он хотел вскочить на своего любимого конька, не раз вывозившего его, — свести все к шутке. Не вышло. Лида не ответила и после короткой паузы спросила таким тоном, что он вздрогнул при первом же слове:

— Послушайте, Лесковец, вы серьезно в меня влюблены?

Если бы на голову ему неожиданно вылили ведро воды, это, верно, меньше бы удивило и смутило его, чем такой вопрос. Кажется, никогда ещё в жизни он не попадал в более трудное положение. Куда девались его красноречие, находчивость! Он стоял и только моргал глазами.

— Говорят, что из-за меня вы бросили девушку, которая шесть лет вас ждала? Шесть лет! Страшно подумать!..

— Лидия Игнатьевна…

— Шесть лет!.. Какая неблагодарность!..

— Лида…

— И после этого вы решили, что теперь вам, как романтическому Дон-Жуану, кинутся на шею… все девушки… Какая наглая, какая тупая самоуверенность! Вы думали… — Не кончив спокойно начатой фразы, она вдруг рывком спустила ноги с дивана (шубка свалилась на пол) и почти крикнула: — Вы думали, что и я кинусь вам на шею? А я… я ни говорить с вами, ни слушать, ни видеть вас не хочу!.. И советую: реже попадайтесь мне на глаза! Геро-ой!

Некоторое время он по-прежнему стоял молча, оглушенный тем, что услышал. Потом швырнул книжку на стол, злоб ным движением надвинул шапку на глаза.

— Ну что ж… — и, не попрощавшись, вышел.

А Лида едва сдержалась, чтоб не свистнуть ему вдогонку, по-мальчишески, громко, задорно.

24

Возможно, что это был самый сильный удар из всех, какие Максим когда-либо получал, и попал он в самое больное место. После этого неприятного случая с Лидой он потерял душевное равновесие.

«Не девушка, а ведьма», — ругал он Лиду и в то же время чувствовал, что увлечение ею не только не проходит, но, наоборот, растет. Но от этого ему не становилось легче, на сердце кошки скребли. А тут ещё через несколько дней ему изрядно попало на партийном собрании за то, что он не посещает политзанятий.

Максим разозлился.

Да что это на самом деле? Чего они от него хотят? Одному не нравится то, что он сделал, другому — что сказал… Да что он им — ученик, мальчишка, которого

надо школить на каждом шагу? Он — офицер, кавалер двух орденов. И все из-за... Он был убежден, что организатор всего этого похода против него не кто иной, как Василь... «А ещё друг... Погоди же... Придет время — я тебе все припомню... Передовой человек, коммунист, а из-за девушки готов съесть товарища. Эх, вы... Брошу все к черту и уеду... При моих заслугах, с моей головой и руками — всюду встретят с распростертыми объятиями, с дорогой душой... А вы здесь..., Научитесь сперва людей ценить...»

Но спустя некоторое время он задумался над своим поведением. Особенно встревожился он, когда понял, что, видимо, и мать осуждает его отношение к Маше.

Один случай заставил его ещё серьезнее оглянуться на себя.

На многолюдном колхозном собрании обсуждали вопрос: кому дать выделенные райисполкомом дома, которые будут построены за счет государства. Почти хором собрание выкрикнуло три имени: Павел Сорока, Ганна Акулич, Иван Концевой.

Секретарь райкома Макушенка, присутствовавший на собрании, удовлетворенно кивнул Ладынину. На совещании партийной группы, на которое были приглашены Маша и Ша-ройка, договорились, какие кандидатуры будут поддерживать они, актив, коммунисты. Колхозники назвали именно их, и это радовало партийных руководителей.

Ганна Акулич стояла в коридоре (в классе все не поместились), щелкала семечки, привезенные из очередной поездки на Украину, угощала женщин. Услышав свою фамилию, вздрогнула: привыкла, что на собрании всегда ругали.

— Хату тебе дают, Ганна, — сказала соседка.

Ганна не поверила своим ушам и испугалась ещё больше, но неведомая сила потянула её вперед. Было тесно, но люди давали ей дорогу. Так она вышла на

середину, к партам, где сидели преимущественно мужчины, и очутилась лицом к лицу с президиумом. Сердце у нее так стучало, что ей казалось — удары его слышны всем, и она засунула под кожушок руку и прижала её к груди.

Из-за стола президиума поднялся Шаройка, уставился на нее. И ей захотелось опять спрятаться за спины людей. Но она только опустила глаза.

— Товарищи колхозники, — начал Шаройка. — Я предлагаю ещё одну кандидатуру, о которой вы почему-то забыли. А забывать таких людей наша партия, наша советская власть не дают нам права. Наша большая ошибка, и в первую очередь моя, я во весь голос говорю об этом, что мы до сих пор не построили дом для этой семьи. Что это за семья? Семья Антона Лесковца. Вот видите, мы опускаем глаза, чувствуя свою вину перед Сынклетой Лукиничной. Потому что кто для нас Антон Лесковец? Шесть лет он руководил нашим колхозом, сделал его лучшим в области. А пришли враги на нашу землю — он первым в деревне взялся за оружие, стал мужественным партизанским командиром под руководством нашего дорогого товарища кандидата в депутаты Прокопа Проко-повича.

Макушенка поморщился.

«Эх, душонка подхалимская! На совещании и слова не сказал, а вынес все на общее собрание».

Секретарю райкома это было неприятно. Может быть, никого он не любил так горячо, как Антона, и ничью гибель не переживал так тяжело. Бесспорно, семья его достойна самой чуткой заботы. Но справедливость требует, чтобы дома были построены многосемейному инвалиду Сороке и детям Акулич. Секретарь боялся, что его выступление против предложения Шаройки обидит Сынклету Лукиничну. Сможет ли она его правильно понять? В глубине души закипала злость на Ша-ройку.

«Давно мог бы колхозом построить. Сколько раз я тебе

говорил? А ты, негодяй, подводил меня… А теперь тебе выгодно быть добрым. Узнал, видимо, что Лесковец дал согласие стать председателем»…

Шаройка продолжал, опершись кулаками о стол:

— Оба сына его — офицеры, герои, всю войну с оружием в руках защищали нашу Родину, вызволяли её от супостата. Вон поглядите — вся грудь в орденах.

Максим сидел на первой парте, рядом с матерью. Был он в шинели, и никаких орденов не было видно, но мать посмотрела на его грудь.

— Не должны мы забывать и того, что дочь Антона Лесковца угнала на восток, спасла колхозное стадо.

— Которое ты отказался гнать, — крикнула Клавдя. Шаройка даже не взглянул в её сторону. Маша постучала карандашом о графин — она вела собрание.

— И вдруг мы забываем такую семью… И называем кого?.. Человека, которого на прошлом собрании мы хотели исключить из колхоза…

— Ты хотел, да мы не захотели! — опять не сдержалась Клавдя.

Шаройка повернулся к Маше.

— Товарищ председатель, наведите, пожалуйста, порядок. Его просьба почему-то вызвала общий смех.

Шаройка повысил голос.

— Прогульщицу, спекулянтку… у которой всего сорок трудодней за год.

— А у сына сто сорок! А хлопцу — пятнадцать лет! — отозвался кто-то у дверей.

— Благодаря сыну она и в колхозе удержалась. Одним словом, я даю отвод… А собрание пусть решит, только, товарищи колхозники, подумать надо и дать эту, я бы

сказал, высокую награду тому, кто действительно её заслуживает.

Обычно сварливая, неугомонная Ганна молчала и, только когда Шаройка кончил, не сказала, а прошептала:

— Амелька, родненький, ей-богу, день и ночь буду работать. На хатку собирала я, потому и ездила.

Её слова полоснули Макушенку по сердцу. Он скомкал лист бумаги, на котором делал заметки. Мгновенно сложился план выступления.

«Эх, и задам я тебе сейчас, горе-руководитель ты несчастный», — мысленно произнес он по адресу Шаройки.

— Кто ещё желает выступить? — повторяла Маша. Все молчали, словно провинившиеся; мужчины, зная, что за ними решающее слово, не поднимали голов.

Хитрая и острия на язык Параска Корж предложила:

— Скажи ты, Машечка.

Маша почувствовала, что краснеет.

Молчание затянулось. Макушенка собрался было уже взять слово, но неожиданно поднялась Сынклета Лукинична.

— Хорошо говорил Амельян Денисович о моем покойном Антоне Захаровиче, о моих сыновьях и дочке. Спасибо ему за это. Но несправедливое предложил он решение, как и много чего преседатель наш делал несправедливого. Жила я одна, не торопилась с хатой, да и Шаройка тогда забывал обо мне. Теперь приехал сын, слава богу, здоровый, не раненый, не искалеченный. Скоро второй приедет, если не совсем, то в отпуск. Есть у нас деньги, не буду таить, и силы, а у Ганны — куча детей, им учиться надо…

Макушенка не сдержался, крикнул:

— Молодчина, Лукинична! — и зааплодировал. Его дружно поддержали все, кроме Шаройки. Да Максим начал хлопать с опозданием. Никто не заметил, как он покраснел, изменился в лице. Когда выступал Шаройка, он подумал: «Да, было бы неплохо получить домик… А почему и нет? Заслуженно» и в душе поблагодарил Шаройку.

Неожиданное выступление матери нанесло ему тяжелый удар.

«Почему я этого не сделал? Это должен был сделать я. Неужели мать более передовой человек?» — это был первый действительно критический взгляд на самого себя.

С этого вечера он оставил мысль о том, чтобы куда-то ехать, искать местечка потеплее. Нет, теперь ему хотелось работать здесь, дома, вместе с Ладыниным, с Василем, доказать им, что он стоит, большего, чем они думают.

25

Находившись по морозу, Василь после обеда прилег, не раздеваясь, закурил. За перегородкой было тихо. Только изредка шелестела бумага да пощелкивали костяшки — счетовод Корней Корнеевич готовил годовой отчет.

На улице играли дети — катались на коньках, на лыжах. Вдруг они все разом что-то закричали и гурьбой пробежали мимо окна, но через двойные рамы нельзя было расслышать, разобрать, в чем дело.

Заскрипела дверь — кто-то спеша, задыхаясь, вбежал в комнату. И сразу же за перегородку просунулась голова в шапке, поднятые, но не завязанные уши которой торчали, как два крыла. Соседский хлопчик, Василек Кныш, во весь голос крикнул:

— Дяденька Василь! Чудо привезли! — и исчез так же внезапно, как и появился.

Василь мигом оделся, как когда-то по тревоге. Вышел.

Посреди деревни, под пригорком, склон которого начинался как раз у хаты председателя, стоял гусеничный трактор, а за ним возвышался небольшой локомобиль. Вокруг уже собралась порядочная толпа детей и взрослых.

У Василя радостно забилось сердце.

«Наконец-то!»

Из толпы навстречу ему шел человек в кожаном пальто — парторг лесокомбината Поляков. Увидев Василя, издалека заулыбался, замахал рукой. Подошел ближе, сказал:

— Принимай, председатель.

С первых же дней своей работы председателем Василь начал раздобывать машины. Купил молотилку, две сеялки, грузовик. Трудно было ещё в тот год с машинами, неимоверных усилий стоило приобретение каждой из них. Но Василь ездил в областной центр, в Минск, стучался всюду, требовал, просил — и добивался своего. В одном месте ему предложили циркулярку — купил и её. А когда привез домой, то встретил довольно сильную оппозицию со стороны членов правления и колхозников.

— А двигать её чем будем? Выбросили деньги для того, чтобы ржавела на складе?

Двигать?

Об этом Василь думал, когда покупал и молотилку и циркулярку и договаривался о других машинах. Летом, когда заготовляли торф на удобрение и на топливо для колхозников, Василь предложил заготовить тысячу тонн для нужд колхоза. Собрание ответило возмущенным гулом, как никогда ещё не отвечало. Люди работали с исключительным напряжением — день и ночь. В соседних колхозах не делали и половины того что делали в «Воле». Василь это знал, понимал. Слабая дисциплина у соседей стояла поперек горла: немало

ещё находилось таких, которые в трудную минуту кивали на этих соседей.

— Вот люди не задыхаются так от работы, а живут, слава богу, не хуже нас.

Василя злили такие разговоры. На сельсовете, на партайных собраниях, на совещаниях в районе он всегда выступал с самой безжалостной критикой и Шаройки и Радника. Именно за это «спокойные соседи» и невзлюбили его.

Торф этот послужил пробным камнем. Всех испугала цифра, названная председателем. Даже Михей Вячера, первый помощник Василя, активист, выступил против.

— Зачем нам столько торфу, Минович?

— Солить будем! — раздавались из задних рядов едкие реплики.

— На трудодни раздавать.

— Нет, торговать станем. А что вы думали — хорошая коммерция!

Василь переждал, пока все накричались вволю. Спокойно сказал:

— Поймите, если мы по-серьезному думаем строиться, поднимать хозяйство, нам нужно срочно приобрести двигатель… В этом одно наше спасение, покуда не построили электростанцию… Без него, без своей циркулярки нам да-леко не уйти.

И торф заготовили, он лежал огромными штабелями на болоте, при нем даже особого сторожа держали, так как соседи не стеснялись «занимать» его тайком.

Но раздобыть локомобиль оказалось делом нелегким. В Могилеве их ещё не производили, завод только восстанавливался, а те, что уцелели во время войны, ценились на вес золота. Василя попробовали отговорить от его намерения:

— Брось ты… Пойми наконец и то, что локомобиль — устарелая техника.

— Пускай устарелая, — отвечал Василь, — а нам она ещё отлично послужит, эта техника. Это для нас не только двигатель как таковой, но и прекрасный пропагандист. Чего ты удивляешься? Это будет первая очередь нашей электростанции. Поставим динамо-машину, дадим свет. На ферму, в хаты. Глядишь — и загорится он в душах, в сознании людей.

Василь долго искал хоть какой-нибудь, пусть старенький, локомобиль и наконец нашел. Подсказал один добрый человек, лесник.

Был до войны в соседнем лесничестве благоустроенный поселок — там жили рабочие и служащие, там же находилась контора эксплуатационного участка. Во время войны поселок этот, в котором расположился было немецкий гарнизон, сожгли партизаны. Там-то в развалинах одного каменного здания и обнаружили локомобиль. Здание было взорвано, но стены его уцелели, только потолок и крыша обвалились и засыпали машинное отделение. Локомобиль лежал на боку, помятый и искалеченный. Но что было удивительно, на рабочих его частях и даже на котле, внутри и снаружи, сохранился толстый слой застывшего масла, которое не позволяло ржавчине съесть металл. После войны кто-то по-хозяйски навел здесь порядок: расчистил обломки вокруг и соорудил над машиной навес. Оказалось — это дело рук лесничего Зеновича. Он рассказал, что локомобиль взрывал его тесть, старый механик, о котором говорили, что двигатель свой он любит больше, чем жену. Как видно, эта любовь к машине и погубила его: старик погиб во время взрыва. Обстоятельства неизвестны, но если учесть, в каком виде он всегда содержал двигатель, можно о многом догадаться…

Никому ничего не сказав, Василь поскакал к лесничему. Зенович махнул рукой:

— Уже, брат, смотрели не раз. Бесполезно. Старик все-

таки, видимо, не рассчитал: покорежило машину.

Но о том, чтобы продать, и слышать не хотел, как ни уговаривал его Василь.

— Ну ладно, — наконец сказал он. — Берите. В аренду, за то, что отремонтируете. Через год-полтора, когда вам будет не нужен, вернете его.

Тогда Василь обратился к шефам. Директор и парторг завода знали, как долго и настойчиво он искал локомобиль, и помогли ему отремонтировать машину. Это отняло немало времени. А Василь пока строил помещение. Постройка «силовой», так прозвали колхозники это новое несложное сооружение, ни у кого не вызвала нареканий — не то, что торф. Люди строили с охотой, так как понимали, что в хозяйстве каждая постройка пригодится. Разве что изредка беззлобно ворчал Иван Гоман:

— Курочка ещё в гнезде, и где ещё то яичко, а он ни днем ни ночью покоя не дает, будто у Романа десять рук. Хотел бы я, чтобы он у нас лет десять председателем пробыл… Интересно, что бы он тогда придумал строить… Должно, завод какой-нибудь…

Сашка Лазовенка, насмешник и задира, с серьезным видом удивлялся:

— Э, дяденька Иван, а ты разве не слышал? Они же с доктором надумали у нас построить атомный завод. Ночами сидят, изобретают. Ну и житуха, я вам скажу, тогда будет!.. Положишь какой-нибудь килограмм этой самой энергии посреди улицы, и такую она теплынь разведет… И зимы не будет. В Лядцах зима, а у нас — груши цветут, бабы мандарины сеют… В одних трусах все ходят и загорают…

Бригада хохотала. Роман качал головой:

— Ну и язык же у тебя!.. Топором бы тебе так тесать, как ты языком чешешь.

А у Василя была новая забота: достать динамо-машину.

Опять он ездил, писал, посылал счетовода, просил и требовал. Главная трудность теперь была в том, что не хватало средств — их съедало строительство.

26

«Силовая» задымила. Дымок этот виден был издалека.

И в первые дни в Лядцах и в Радниках можно было наблюдать такую картину: встретятся два колхозника на улице, поздороваются и непременно посмотрят в сторону Доб-родеевки.

— Дымит? — спросит один.

— Дымит, — ответит другой.

— Н-да, дымит. И здорово, брат, дымит.

— А вчера вечером видал?

— Видел. От Прокопова гумна видно.

— Мой Мишка уже и стих написал: «Зарево над Добро-деевкой». Зарево! Ха! Вона куда махнул!..

Здание «силовой» — низкое, приземистое—со стороны напоминало баржу. От него размашисто шагали к школе и дальше по улице — на колхозный двор — невысокие белые столбы. Казалось, крепкие парни тянут эту баржу за толстые пушистые канаты — заиндевевшие провода — куда-то вверх, на гребень белой волны.

Свет дали в первую очередь на колхозный двор, в школу, в медпункт и на строительство. Нехватка провода, изоляторов и даже лампочек не позволяла использовать для освещения все двадцать киловатт, которые давала эта с виду совсем маленькая динамка. Василь сразу же принял предложение Лиды Ладыниной дать свет в хаты инвалидов. От уличных фонарей он отказался категорически:

— Нам польза нужна, работа, а не иллюминация. У нас

и так никто не заблудится.

Поэтому всех очень удивило, когда монтер начал щедро развешивать лампочки вокруг неоконченного клубного здания.

Василь разъяснил свою мысль на заседании правления.

— Зимний день короткий, и плотники работают не больше пяти-шести часов. А почему бы им не работать десять часов? Ведь работали летом.

Иван Гоман возмущался:

— Мало тебе дня. А потом и ночи станет мало. Чем тогда натачаешь? Не будем работать! За день намахаешься — рук поднять не можешь...

Василь сразу охладил этого беспокойного человека:

— Не будешь — не надо. Поставим бригадиром другого и продолжим работу без тебя.

Уступить место бригадира Гоман не мог ни при каких обстоятельствах и потому тотчас дал «задний ход» под хохот своих плотников и сдержанные улыбки членов правления.

К «силовой» сбоку пристроили навес, и под ним многоголосо зазвенела циркулярка, то коротко, радостно, на высоких тонах, то приглушенно, длинно, жалобно, будто плача, что ей тяжело пилить такое огромное бревно.

На локомобиль и циркулярку приезжали посмотреть председатели соседних колхозов. «Случайно, по пути в лес», заглянул в колхоз и Свирид Зозуля — председатель самого большого и богатого колхоза в районе. Он осмотрел все с видом ревизора, везде делал замечания и давал хозяйственные советы, частью которых Василь потом воспользовался. Обо всем он говорил как бы между прочим и даже чуть скептически, но Василь видел, что в душе старик (Зозуле было лет шестьдесят) кое-чему завидует. Василь пригласил его

пообедать, выставил угощение, хотя мысленно упрекал себя за то, что впервые делает это не от души, а по расчету: «Такой друг всегда пригодится, у него сортовую пшеницу можно выменять...»

Зозуля, выяснив в разговоре, сколько правление «Воли» постановило брать с соседних колхозов и посторонних колхозников за распилку бревен, удивился и упрекнул Василя:

— Дурень ты, брат ты мой! Вдвое — и то не было бы дорого. На этом теперь знаешь как заработать можно?!

Василя даже передернуло от этих слов. «На чужой беде?» — чуть не спросил он со злостью, но сдержался, подумал: «Вот ты какой хозяин! А тебя хвалят... Нет, не поеду я к тебе за семенами, найдем без тебя... А посмотреть на хозяйство приеду непременно, хотя ты, старовер бородатый, и не приглашаешь».

27

Василю все не удавалось поговорить с Максимом начистоту: после неожиданной встречи в поле тот упорно избегал оставаться с нам с глазу на глаз.

Василь собирался было поднять этот вопрос на партийном собрании, где должна была обсуждаться кандидатура, будущего председателя «Партизана». Но Ладынин, с которым он посоветовался перед собранием, отговорил его от этого намерения.

— Тут, Минович, дело сложное, в нем надо как следует разобраться, а не просто так — с наскока. Да к тому же учти, что народ наш к разбору таких вопросов не подготовлен, и я боюсь, как бы не истолковали все по-своему: перебранка между двумя соперниками. И начинаешь её ты... Нехорошо получится, особенно на таком собрании. Я разберусь в этом и сначала сам с ним поговорю. Ты скажи другое: как думаешь, справится? Макушенка давно предупреждал: присмотритесь, проверьте, обдумайте.

— Я и присматривался, Игнат Андреевич, но толком не разберусь, хоть он и друг мне с детства. За один его поступок с Машей я с него три шкуры спустил бы, чтоб до седых волос помнил. Хочется всыпать ему и за фанфаронство его глупое, за эгоизм. Но в то же время энергии у него на троих хватит. Направить бы эту энергию куда следует, он бы горы перевернул.

— Что ж, давай попробуем направить. Я думаю — силы у нас хватит, и не такие характеры переделывали. Значит, поддерживаем?

— Что ж, в добрый час.

В Лядцах рекомендацию партийного собрания большинство колхозников встретили с одобрением.

— Дай боже, чтоб вел колхоз так, как его отец. А что молод, так это ничего. Лазовенка тоже молодой, а Шаройка вон старый, да пользы от него, как от козла молока...

Только в семье Кацубов весть эта вызвала споры. Петя был горой за Максима: офицер, орденоносец, «уж он лодырям поблажки не даст». Алеся — против.

— Ничего из него не выйдет. Не в отца пошел. Маша слушала и молчала, мысль о его избрании вызывала в ней противоречивые чувства: ей и хотелось, чтоб он стал председателем — вдруг это сделает из него настоящего человека? — а она желала ему только самого лучшего, — и боязно было за колхоз. Что, если он не в силах будет поднять его, если свихнется?

Собрание началось тихо. Отчет Шаройки выслушали молча и критиковали его уже спокойно, сдержанно — в прошедшем времени. Напрасно Ладынин и Байков старались расшевелить народ.

Так же спокойно прошли и выборы председателя. Колхозники сами назвали Лесковца. Только когда начали высказываться по поводу будущего председателя, от дверей послышался, молодой

задорный голос:

— А коня он запрячь умеет?

Там, сзади, прокатился короткий смешок. Волна его не затронула передних рядов. Впереди засмеялась одна Алеся Кацуба, засмеялась звонко, весело. Она сидела за отдельным столиком, в углу: её и другого десятиклассника, Павла Лесковца, попросили вести протокол. Максима её смех неприятно кольнул, он заметно покраснел, бросил в её сторону косой взгляд.

Больше оживления внесли слова Клавди Хацкевич.

— Скажи, ты жениться думаешь? — серьезно спросила она Максима. — А то станешь за бабами бегать, а о колхозных делах забудешь. Я вашего брата знаю!

Тут уж засмеялись все, молодые и старые. Посыпались шутки.

— Ага, она знает нашего брата!

— Бери, Клавдя, вожжи в руки, будешь за сваху.

— А как же, интересно ей свахой быть! Она в невесты целит!

Максим заметил, что и Маша смеется вместе со всеми — спокойно, даже не покраснела.

Затем выбирали правление. Первой назвали Машу. Ладынин радовался за нее, видя, с каким единодушием и уважением голосовали колхозники. В то же время он удивился, сколько голосов было подано за Шаройку, немного не хватало, чтобы он снова попал в правление.

«Крепкие же, брат, у тебя корни, — подумал Игнат Андреевич. — Придется корчевать».

В связи с тем, что бригадира Лукаша Бирилу выбрали заместителем председателя, а инвалид Сергей Кацуба сам попросил, чтобы его освободили, так как ему трудно ходить, возник вопрос о новых бригадирах. Все

понимали, что легче его разрешить здесь, на общем собрании, чем на заседании правления. Но и для собрания это оказалось не такой уж легкой задачей.

Один отказывался сам, выдвигая уважительные причины, другой вызывал дружную оппозицию. Ладынин кивнул Маше:

— Возьмитесь вы, Мария Павловна.

Женщины словно ждали этого сигнала, — тотчас же поддержали:

— Правильно!

— Лучшего бригадира не найдешь!

— За нее мы все и в огонь и в воду!

— Расступись, мужчины, — дорогу женщине!

— Хватит вам командовать! Теперь мы вами покомандуем!

Как всегда, без шуток не обходилось. От «почтенных хозяев» выступил колхозный кузнец Степан Примак.

— Мы все уважаем Машу. Никто, конечно, против нее и слова сказать не может, а если кто попробует, — я ему язык на наковальню и тридцатипятифунтовым молотом… Знай, бесов сын, что говоришь. Но Маша — человек мягкий, со всеми ласковая, деликатная, а народ у нас тяжелый. У нас не то, что в Добродеевке. У нас иного пока хорошенько по голове не долбанешь, так он не пошевелится.

— А первый ты!

— Чья бы корова мычала, а твоя б молчала!.. — Святой Степан-заступник! Кузнец махнул на женщин рукой:

— А попробуй вас переговорить, когда у вас глотки, что мех в кузне.

Ладынин опять обратился к Маше:

— А как думает сама Мария Павловна?

Маша поднялась, повернулась лицом к колхозникам. Женщины весело закивали ей головами: соглашайся. Она поискала глазами девчат своего звена: что скажут они? Из девчат она никого не нашла, но неожиданно увидела Василя. Председатель «Воли» сидел у стены, среди других мужчин… Взгляды их на мгновение встретились. Он чуть заметно улыбнулся, кивнул головой. Маше показалось, что он говорит: соглашайся. И это решило вопрос. Заметно покраснев от волнения, она ответила:

— Я — как народ… Только чтоб в своей бригаде… Затем выступил Шаройка. Всем бросилось в глаза, как он сгорбился и как-то сразу постарел, будто стал меньше ростом. И голос его изменился.

— Товарищи колхозники! Крепко вы меня побили. Что ж, правильно били, я критику всегда признавал… Не способен я, значит, быть председателем, отстал от жизни, постарел. Но мне хочется, — он повысил голос, поднял голову и посмотрел на присутствующих, — мне хочется исправить свою ошибку. До войны пять лет я был бригадиром. Кто скажет, что я тогда плохо работал? Так почему же вы думаете, что теперь я буду хуже работать? Считаю, что как бригадир я справлюсь. Сил своих не пожалею!.. Поверьте моему слову.

Речь его произвела некоторое впечатление, против не выступил никто. У Ладынина отношение было двойственное: приятно, что человек просит сам дать ему работу — тяжелую работу, но неприятно, что человек этот—Шаройка; что-то неискреннее было в его словах, особенно в последних, приподнятых: «Сил своих не пожалею!..»

«Почему же ты жалел их, когда был председателем? — так и напрашивался вопрос. — Больше думал о своем хозяйстве, чем об общественном?» Ладынин твердо решил выступить против. Но, опередив его, взял слово Максим. Председатель колхоза поддержал просьбу Шаройки.

...Давно уже перевалило за полночь. В низкой классной комнате не хватало воздуха, хотя двери в холодный коридор не закрывались ни на минуту. Висевшие под потолком лампы мигали и коптили. Начала задыхаться и лампочка на столе президиума. Ладынин несколько раз просил колхозников не курить, но просьбы его были тщетны. Едким дымом самосада пропахло все: волосы и одежда людей, парты и стены.

Люди не расходились. Из президиума казалось даже, что их стало больше. Стоявшие в задних рядах и в коридоре протиснулись вперед и заполнили небольшой промежуток между столом и первыми партами. А некоторые из молодых парней пробрались и за президиум и уселись там на полу. Один из них, за спиной у Ладынина, привалился к стене и заснул.

Колхозников не меньше, чем выборы председателя и правления, интересовал второй вопрос, который был поставлен на собрании по просьбе председателя «Воли» Василя Лазовенки.

Ему и было предоставлено слово.

— О чем я буду говорить, вы знаете из повестки дня. Но обсуждение этого вопроса для колхозников «Партизана» является, как мне известно, неожиданным. Неожиданным потому, что ваш бывший председатель и слышать не хотел о том, чтобы вынести его на собрание.

— Я и сейчас буду против! — решительно заявил Шаройка. — Нежизненное дело! Да-а!..

Василь сделал короткую паузу и ответил, повысив голос:

— Нет, врешь, Амельян Денисович! Дело, которое подсказано самой жизнью, не может быть нежизненным. Дело очень даже жизненное! Колхозники «Воли» единодушно постановили: не откладывая, как говорится, дела в долгий ящик, начать строить гидроэлектростанцию на нашей Грязивке.

Неделю назад мы получили утвержденный проект. По проекту, — это диктует сама река, — станцию можно строить только здесь, — Василь махнул рукой на окно, — возле вашего колхозного двора.

— Ага, потому ты и пришел к нам! — выкрикнул кто-то из дымного сумрака.

— Нет, не потому я пришел к вам! Завтра я пойду к радниковцам и, возможно, даже к нашим украинским соседям — гайновцам.

— Ого, махнул! За межу! Размах у тебя, Минович, большевистский! — Голос звучал одобрительно, в нем чувствовалось радостное восхищение.

— Я пришел потому, что силами нескольких колхозов мы построим станцию значительно быстрей. Я подсчитал — за год, не больше. А это значит, что мы быстрей поднимем наше хозяйство… Ведь электростанция — это не только свет в хатах, на ферме, это — молотьба, мельница, циркулярка, заготовка кормов. Одним словом, все… Я обращаюсь к вам и потому, что было бы просто неразумно строить станцию, которая удовлетворяла бы нужды только одного небольшого колхоза. Неразумно и невыгодно. Мы должны построить станцию с хорошим запасом мощности…

Василь видел, как Шаройка что-то прошептал своему соседу, бывшему заведующему фермой Кррнею, и тот сразу же задал вопрос:

— Скажи, Лазовенка, а кто будет хозяином этой электростанции?

Василь даже несколько растерялся от такого странного вопроса; он пожал плечами.

— Колхозы.

— Какой колхоз? Ваш? А мы к вам пайщиками войдем? Так?

— Все колхозы будут иметь одинаковые права…

— Ты хороший хозяин, Лазовенка, и знаешь, что где много нянек, дитя без глаза.

Люди весело зашевелились в дымном сумраке комнаты, но никто не засмеялся.

Ладынина удивляло такое упорное молчание колхозников. По всему было видно, что дело это вызывает у людей интерес. Почему же такая пассивность при обсуждении? Он вспомнил, как перед собранием Лида говорила Лазовенке:

— Да вас качать будут после вашего предложения.

«Жаль, что не взяли её сюда, пусть бы посмотрела, как нас качают, — с усмешкой подумал Ладынин. — Но шутки шутками, а пора разбить этот лед».

Продолжал говорить Корней:

— …станция, значит, будет на наших огородах, вода зальет тот лужок, где у каждой нашей бабы — грядка под капусту. А хозяином её будет добрый сосед… и мы должны ходить к нему и кланяться из-за каждого этого самого киловатта энергии…

— Чушь! — возмутился Василь.

— Нет, не чушь! Мы так не желаем! Давайте, мы сами будем строить её, эту станцию. А вас пайщиками приглашаем…

— Пожалуйста, — согласился Василь. — Только строительство начинать не откладывая…

Слово попросил Шаройка.

— Дело не в том, кто будет хозяином, а кто пайщиком. Все дело в том, можем ли мы сейчас с нашими силами поднять такое строительство? Не можем! Потому что колхоз наш ещё не дорос до такой стройки. Для этого нужны деньги, а у нас их—кот наплакал. У нас не

хватает даже средств, чтобы купить молотилку, новые плуги, не говоря уже об автомашине, которая нам во как нужна, — он провел рукой по шее, — до зарезу… А сколько у нас семей в землянках?

Ладынин не удержался и иронически заметил:

— Хорошо, когда Шаройка начинает критиковать Шаройку.

Притихшие было люди зашевелились, весело зашумели.

— Интересно, как вы думаете, почему в «Воле» все это есть?

Шаройка будто и не слышал реплики и вопроса Ладынина. Однако о бедности своего колхоза больше не сказал ни слова.

— Чтобы начать такое строительство, надо сперва подвести под него хорошую базу, а не просто с кондачка… Уважаемый Василь Минович, должно быть, забыл о своем клубе, который он начал строить. Начать — начал, а кончить сил не хватает. Так то клуб!.. А тут гидростанция! Одним словом, пусть меня не поймут так, что я против электростанции! Нет! Я всей душой. Но, как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают…

Народ опять засмеялся. Шаройка злобно оглянулся и сел, утирая рукавом ватника пот со лба. Василь выступил вторично.

— Товарищи! Государство дает нам кредит. Наконец, все первоначальные денежные затраты «Воля» берет на себя. От вас потребуются главным образом рабочие руки…

Собрание молчало — ждало очередного оратора.

Потом говорили Соковитов и Ладынин. Инженер сказал коротко. Выступление секретаря несколько затянулось. Очень хотелось растолковать людям, какую огромную пользу даст им электричество. Но, закончив, он понял, что одного такого собрания недостаточно, чтобы идея

строительства гидростанции завладела умами колхозников «Партизана» так, как она завладела всеми в «Воле». Помимо всего прочего, нужно убедить людей, что у них хватит сил на такое строительство. Нетрудно собрать большинство голосов и принять постановление: молодежь поддержит. Но какую ответственность будет потом чувствовать весь коллектив и каждый человек в отдельности? Как будет проводиться в жизнь это постановление? Интересно, что скажет Лесковец? Слово председателя много значит.

Ладынин нетерпеливо поглядывал на него. Максим не торопился. Эта его чрезмерная медлительность не нравилась Ладынину. Для бурного колхозного собрания она была совсем некстати. Понаблюдав за Лесковцом ещё немного, Ладынин уже твердо знал, что он скажет. И он не ошибся.

— Я думаю, что принять конкретное решение сегодня, как того добивается товарищ Лазовенка, мы не можем. Нам нужно взвесить наши силы и возможности, подумать, что и как, разобраться… Такие дела не решаются одним махом… Вот как…

Он говорил долго, обосновывая свое предложение, хотя это было совершенно излишне. Сразу стало ясно, что большинство того же мнения.

Василь Лазовенка был зол. На Лесковца, на Ладынина, на себя. Из-за собрания он сорвал занятия агрономического кружка. Просидел в табачном чаду всю ночь. А результатов — никаких. Его не могло удовлетворить растяжимое, как резина, компромиссное постановление: перенести вопрос о гидростанции на следующее собрание. А когда оно будет — это следующее собрание? Ведь заготовку и вывозку леса необходимо начать не откладывая, чтоб к весне весь материал лежал уже на месте стройки. Одному колхозу этого не поднять. Неприятно было вспоминать настроение, с которым он шел на собрание. Он, правда, не думал, как Лида, что их будут качать, но в глубине души надеялся, что предложение будет встречено с радостью. Потому-то он не удержался и после собрания

сказал Максиму:

— Неважно ты начинаешь свою деятельность. Долго ещё, видно, будет управлять колхозом Шаройка, а не ты.

Максим вспылил:

— Я вижу, тебе хочется командовать нашим колхозом. Да и не только нашим. Ты не прочь и украинского соседа прихватить... Деятель мирового масштаба!

— Ерунда!

— Ерунда? Я знаю, чего ты хочешь, — управлять колхозом-гигантом... Я помню, что ты однажды говорил... Забыл?

— Нет, не забыл.

— Тебе, должно быть, и гидростанция для этого нужна. Чтобы если не прямо, так хоть косвенно...

— Дурак ты, брат, после этого! — Василь безнадежно махнул рукой и отвернулся, давая понять, что он больше не желает и разговаривать.

Максим не на шутку обиделся.

— Товарищ Ладынин! Я требую, чтобы наши отношения были разобраны на партийном собрании. Я не первый раз слышу от него подобные оскорбления. А из-за чего?

— Бросьте, Лесковец! Что вы как петухи... Стыдно! — усталым голосом сказал Ладынин. — Подумайте лучше хорошенько о его предложении. Серьезно, по-партийному, выкинув из головы весь тот вздор, который вы сейчас начали нести...

Василь, не попрощавшись, вышел на улицу и там поджидал Ладынина и Байкова.

Стояла оттепель. Капало с крыш. Дорога была темной и скользкой.

— Я злой, как волк в Филиппов пост, — сказал Василь, когда они наконец зашагали навстречу сильному западному ветру, принесшему оттепель. — На душе такой осадок. Ну и к черту! Не хотят — не надо! Построим без них.

Ладынин сжал его локоть.

— Не горячись, Минович. Строить будем все. Я тебе скажу: сегодняшнее решение принесет больше пользы, чем если бы твое предложение приняли сразу. На полмесяца хватит разговоров и самых горячих споров. А нам надо не дремать. Главное — убедить, что сил у них хватит, и показать, откуда взять эти силы и средства.

Байков шел немного позади и молчал. Как это ни странно, собрание произвело переворот в его душе: его скептическое настроение исчезло теперь, и он был за электростанцию.

За черной полосой сосняка, перерезавшей дорогу, взлетали в темное ветреное небо искры. Василь увидел их, усмехнулся.

— Дымит, Игнат Андреевич.

— Что?.. А-а!.. Да, дымит. Рано пускает. — В шесть часов… как всегда.

На долю Маши выпало дежурить последней. Все подготовив, члены комиссии разошлись отдохнуть часок-другой перед напряженной и ответственной работой, которая, возможно, продлится более суток. Маша осталась одна. Начинался день, дата которого маками горела на бесчисленных плакатах по всей стране. Наступал праздник. Маша чувствовала его всем сердцем. Со времени возвращения Максима у нее ни разу ещё не было такого светлого, радостного настроения: оно овладело всем её существом, наполнило кипучей энергией, которую она не знала, куда девать.

Неслышно ступая мягкими валенками, она вышла из

учительской в темный вестибюль, один за другим обошла классы. Всюду топились печки. Весело трещали сухие дрова. Через поддувала, через щели в дверцах пучками падали на пол отсветы пламени. Эти чудесные снопы света переливались, как живые.

Печки пылали жаром. Густой воздух пахнул елкой.

«Опьянеть можно от этого аромата», — радостно подумала Маша.

В одном из классов дверцы печки были раскрыты настежь, и горячее пламя догорающих дров отдавало комнате весь свой алый трепетный свет. По сторонам — возле дверей и у окон — лежал мягкий полумрак, а противоположная стена была ярко освещена. На стене —большой плакат. В прозрачной дымке — башни Кремля, синева неба. Розоватый отблеск пламени колыхался, напоминая утреннюю зарю, когда только ещё встает солнце и над росистыми полями дрожит, колы-шется вот такое же призрачно-розовое марево.

Заметив, что с одного края плакат отстал от стены, она подошла и пригладила его. С еловых веток, зеленым венком обрамлявших плакат, посыпались на пол мелкие иголочки.

«Так быстро засохли! — удивилась Маша. — Надо све-«жих...»

Она вышла в коридор, где, как она знала, остались еловые ветки, принесла их в класс и украсила плакат.

Потом ей захотелось ещё раз все осмотреть, все проверить, хотя этим целый вечер занималась комиссия. Она включила свет. Ярко вспыхнули лампочки. Глядя на них, по-детски прижмурившись, она с благодарностью подумала о Василе.

За делом она напевала, тихо, порой без слов — одна жиз «нерадостная мелодия, — и, прислушиваясь к собственному голосу, не узнавала его.

После того как она окончательно убедилась, что все на

своем месте, все как следует подготовлено, ей вдруг захотелось выйти, отойти к сельмагу и с горки посмотреть на залитую светом школу. Но пока она одевалась, лампочки начали тускнеть и через минуту погасли. Электростанция прекратила свою работу.

«Только б он не проспал», — подумала Маша о механике, хотя прекрасно знала, что об этом позаботится Василь.

Она подошла к окну. С морозного неба приветливо мигали звезды. На снегу через всю дорогу, до самого сада, лежала длинная тень от школы: где-то за заснеженными огородами всходила луна.

Маше вспомнилась запись в Алесином дневнике (вчера он случайно попался ей в руки):

«В чем поэзия нашей жизни?»

Она не прочитала ответа — постеснялась, хотя ей очень хотелось это сделать.

В деревне ещё только кое-где замелькали сквозь замерзшие окна огоньки. Еще ни в одной хате боковое окошко не осветилось красным пламенем печи. Не пахло дымом, не скрипел снег под ногами. Еще молчали даже извечные будильники — петухи.

Царила тишина.

И вдруг её нарушил резкий скрип двери. На крыльце нового дома показалась Алеся, в кожушке, закутанная в белый вязаный платок. Она весело соскочила с крыльца на снег, и он заскрипел, засмеялся, зазвенел под её ногами на всю деревню.

Девушка даже остановилась на мгновение. Потом махнула рукой, рассмеялась и побежала по улице. Возле такого же нового дома, где уже горел свет, она остановилась, с минуту подождала, поглядывая на окна.

Мороз забирался под кожушок, кусал за щеки; слипались ноздри, трудно было дышать. Но тело

наливалось бодростью. Хотелось сорваться с места и бежать, бежать вперед, в поле, навстречу наступающему дню, навстречу празднику. А тут приходится ждать. Алеся разозлилась, её женская гордость запротестовала; почему должна ждать она, а не он?

— Ну и задам! — Она постучала кулаком о кулак и размеренно-медленным шагом, словно часовой, двинулась назад. Отошла шагов на пятьдесят. Повернула.

Успокоили её звезды. Одна из них вдруг покинула своих подруг и полетела в бездну, прочертив на небе свой путь длинной огнистой линией, за ней — другая… Они были как бы разведчиками: вскоре целый рой звезд оторвался от невидимых веток и яркими брызгами рассыпался где-то за сосняком. Алеся ни разу в жизни не видала такого прекрасного зрелища, звезды заворожили её, она не сводила с них глаз, словно ждала, что сейчас все они сорвутся со своих мест и закружатся в искристом хороводе.

Хлопнула дверь. Заскрипел снег. Со двора того дома, возле которого она стояла, вышел юноша. Увидел её — весело крикнул:

— Доброго утра, Алеся!

— Соня, — отвечала она. — Я полчаса тебя жду.

— Полчаса?! — Он повторил это таким радостным голосом, что она тут же в душе простила ему те пять минут, которые он заставил её прождать.

— Пошли скорей! Какое я сейчас чудо видела! В сосняк упал целый рой звезд.

— В сосняк! Рой звезд! — иронически произнес Павел. — И почему чудо? Обыкновенное явление, метеоры…

Она прервала:

— Павлик, дорогой, хоть ради праздника избавь ты меня

от своих ученых астрономически-математических рассуждений.

— А ты меня от своих стихов.

— Сразу виден сухарь: в такой день — без стихов!.. Разве можно!

— Читай чужие, только не свои.

Она засмеялась.

Вышли в поле. Сами не заметив, от полноты чувств взялись за руки. И снег под их ногами не поскрипывал уже, а пел. А с неба смотрела на них со стороны старая щербатая луна и, несомненно, завидовала их молодости, их счастью.

Алеся спросила:

— Слушай, Паша, как ты думаешь, в чем поэзия нашей жизни?

К её вопросам, всегда неожиданным и странным. Павел относился настороженно, не раз уже она ставила его, отличника, «школьного Ньютона», в неудобное положение. Возможно, поэтому он ответил шуткой:

— Для меня — в решении алгебраических задач.

— Я серьезно спрашиваю. Он подумал.

— Для нас с тобой сейчас — в том, что мы поднялись в четыре часа утра и, бесконечно счастливые, радостные, бежим по морозу, по звонкому снегу на избирательный участок, чтобы первый раз в жизни голосовать…

Он произнес все это одним дыханием, словно продекламировал стихотворную строфу. Алеся засмеялась.

— О-о! Да ты почти поэт! — И «осле короткой паузы прибавила — Жаль только, что на деле ты не бежишь, а ползешь, как черепаха, хоть на буксир тебя бери!

Почему ты все время замедляешь шаг? Давай побежим!

Но он, вдруг смутившись, не отозвался на её слова.

— Будешь ругать?

— А что? — насторожилась она.

— Должен тебе сказать, что мой неугомонный дед вышел раньше нас.

Алеся остановилась и так сверкнула на него глазами, что хотя он и не мог видеть их выражения, у него екнуло сердце.

— Эх ты, формула алгебраическая! — И она решительно приказала: —Догнать и перегнать!

— Неудобно, Алеся.

— Стесняешься? Как же: дед увидит тебя с Сашей Кацубой, которую твоя дорогая мама не очень-то долюбливает за её характер! Кавалер соломенный! Можешь идти как хочешь… Я одна.

Он смолчал и должен был подчиниться её желанию, У него никогда не хватало решимости перечить ей. Вздохнув, он вспомнил слова, которые однажды сказала мать: «Что это она, Павлик, верх над тобой берет, Кацубиха эта? В кого только она у них удалась? Маша — золотой человек, а эта вертихвостка какая-то».

Эх, мама, мама! Ничего ты не знаешь. Да и никто не знает, И она, Алеся, верно, считает его просто добрым, хорошим товарищем-одноклассником, который всегда приходит ей на помощь, не останавливаясь даже и перед тем, чтобы на контрольной по алгебре или геометрии послать ей шпаргалку. А если б она только знала, чего это стоит ему, секретарю школьной комсомольской организации, врагу всяких шпаргалок!

Дед Явмен услышал голоса, по бодрому звону шагов догадался, что догоняет его молодежь. И, поняв, что ему с ними не тягаться, приготовился защищать свое

право первенства.

— Доброго утра, дедушка, — ласково поздоровалась Алеся, когда они вскоре нагнали старика. Павел стыдливо спрятался за её спиной.

— До утра ещё, внучка, ой-ой сколько.

Он остановился, загородив дорогу, чтобы разглядеть, кто это. Узнал и удивился.

— Э-э, да тут свои, а я было испугался. Думал, попадутся какие, обгонят деда и спасибо не скажут.

«— Не хитрите, дедушка. Все равно ваше первенство приказало вам помянуть его добрым словом, — и Алеся, сойдя с узкой зимней дороги, решительно обошла его. Дед рассердился.

— Потом пожалеешь, коли порвешь со мной дружбу. На порог тогда не показывайся. На пушечный выстрел не подпущу…

Алеся захохотала.

— Не бойтесь, дедушка. Мы пойдем быстрее, но первый бюллетень оставляем вам. Честное комсомольское.

— Вот! Это настоящие слова! А дразнить старика комсомолке не пристало, — ласково укорял он девушку.

Тогда и Павел решился, обошел деда и довольный, со спокойной совестью двинулся за своей неизменной веселой спутницей.

Первым из членов комиссии пришел Лазовенка. Маша за несколько минут до его прихода, почувствовав усталость, прилегла на диван и задремала. Василь бесшумно вошел, увидел её спящую и остановился у дверей, не сводя с нее ласкового взгляда. Маша почувствовала этот взгляд и открыла глаза.

— Ты, Василь?

В вестибюль школы вошли первые избиратели. Семен, дежурный, завел с ними беседу.

— Ого, как рано! Недаром говорят: из молодых, да ранние.

Василь выглянул в дверь, посмотрел, кто пришел, неопределенно протянул:

— Да-а… А председателя ещё нет? Сладко спится с женкой…

— Вася? Что с тобой? — Машу неприятно поразила эта грубость.

Он улыбнулся открыто, доверчиво.

— Завидую, Маша. Хорошо живут Мятельские. Я часто бываю у них, вижу. Нельзя не позавидовать. Сына ждут… Ты думаешь, я не мог бы жить так же хорошо?..

— Чудной ты, Вася. С чего ты взял, что я так думаю? Она сама не замечала того нового, что появилось в её отношении к Василю.

Василь громко постучал указкой в стену, за которой была квартира директора школы.

Оттуда послышался ответный стук и глухое «иду-у!» Вскоре, пришли Мятельский, Лида Ладынина и почти одновременно все остальные члены комиссии. С ними Игнат Андреевич. Немного позже — председатель сельсовета Банков. А в вестибюле уже гудели десятки голосов, раздавался молодой смех. Кто-то прошелся уже по ладам гармоники, но его, должно быть, остановили: подожди, хлопец, рано ещё.

Особенно шумно стало после того, как электростанция дала свет. Ладынин напутствовал комиссию несколькими теплыми словами. Мятельский с несвойственной ему медлительностью сухо и скучновато проверил, как члены комиссии усвоили свои обязанности. Все, у кого были часы, то и дело поглядывали на них. А у кого не было своих, смотрели

на ходики, ритмично отстукивавшие минуты на стене учительской.

Наконец комиссия в полном своем составе двинулась в классы, к столам, кабинам. В вестибюле её приветливо встретили избиратели, которых набралась уже добрая сотня.

— Давайте начинайте скорей!.. — предлагал молодой голос, владельцу которого, видимо, очень хотелось поскорей осуществить свое великое право, возможно, в первый раз.

Мятельский перевернул урну, показал членам комиссии и после этого тщательно опечатал её сургучом.

— Ну, теперь все на свои места! — скомандовал он, Лида, как секретарь комиссии, первая уселась за стол. По одну сторону её сел Костя Радник, а Маше пришлось устроиться по другую, плечо к плечу. Руки их одновременно потянулись за списками, и они посмотрели друг на друга. Лида вдруг обеими руками взяла Машину руку и крепко-крепко пожала.

— Хорошая вы моя!

Маша взглянула ей в глаза, и горячая радость залила её сердце: столько она увидела в них искренности, доброты, дружеского участия!

Игнат Андреевич включил в учительской приемник. Здание наполнили торжественные звуки Гимна Советского Союза.

Мятельский, встрепенувшись, широко раскрыл двери класса.

— Товарищи избиратели! Позвольте поздравить вас с днем выборов. Прошу приступить к подаче голосов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Четыре сосны остались стоять посреди лесосеки. Три — вместе, так, что касались друг друга ветвями, четвертая — поодаль, у молодого березняка. И была она, эта сосна, красивее и выше всех своих сестер. Казалось, её мохнатая шапка достигала тяжелых зимних туч, неподвижно висевших над лесом. Точно свеча, подымался её ствол, внизу — темно-коричневый, с толстой потрескавшейся корой, вверху, у веток, — гладкий и золотистый. Её товарки, лежавшие уже штабелями бревен, падая, не тронули её, не обломали ветвей, не повредили коры.

Вырубка от дороги уходила в глубь леса. Там кипела работа. Одна за другой ложились на землю сосны, визжали пилы, фыркали лошади, ездовые громко подгоняли их, трелюя бревна на дорогу. Горели огромные костры.

Маша ловко, по-мужски, обрубала ветки с только что поваленного ствола. Две девушки из её бригады распиливали его на бревна.

— Добрый день, хозяйки! — из-за кучи хвороста, со стороны березняка, вышел Василь Лазовенка, помахал кнутом, приветливо улыбнулся. Воротник кожуха и брови у него заиндевели, валенки по самые колени были в снегу.

— Низкий поклон хозяину, — шутливо поклонилась Дуня Акулич. А Маша вдруг почувствовала, что щеки у нее горят и часто бьется сердце. Но это от работы.

Василь пожал им руки. Рука у него была теплая и мягкая.

— Пожалели? — кивнул он на сосну-красавицу, высившуюся посреди просеки.

— Да… Оставили, — неопределенно отвечала Маша. Он усмехнулся.

— Чудачки. Дай, Дуня, пилу… Идем, Маша, все равно дело подходит к концу, не бросать же нам такое богатство для чужого дяди.

Маша молча пошла за ним. На ходу Василь стукнул рукояткой пилы о притоптанный снег. Сталь многоголосо, протяжно запела. Он оглянулся на девушку; во взгляде её было веселое восхищение.

— Во имя создания новой, нужной человеку красоты не стоит жалеть даже и такую сосну. Она свой век отжили. Да она и не умрет, жизнь её будет продолжаться. — Василь закинул голову и восторженно крикнул: — Эх! Ну и выгнало же её, будто само солнце за ветки тянуло…

Он сбросил кожух, остался в телогрейке, подпоясанной широким офицерским ремнем. Взяв у Маши из рук топор, обошел сосну кругом.

— Куда же мы её пустим? На березняк?

— Много поломаем, Вася…

— Тогда давай на дорогу, хотя ветерок-то на березняк.

Маша сняла рукавицу и провела ладонью по шершавому стволу. Сейчас у нее уже не было того чувства, с которым она долго ходила вокруг этой сосны, долго любовалась ею и потом пожалела, оставила — пусть постоит ещё день-другой.

Василь поплевал на ладони, размахнулся и ударил топором по комлю, у самой земли. Лезвие вошло в дерево, сосна загудела, передавая мелодичный звон от комля к вершине.

Начали пилить. Василь сразу взял быстрый темп. Маша, не останавливаясь, предупредила:

— Потише, Вася, устанешь.

— Я? — И остановился. Маша рассмеялась.

— Моя Алеся даже уроки учит в определенном ритме... «Без ритма, говорит, труд не поэзия, а мука».

Стали пилить спокойно, ритмично. Но когда дошли до сердцевины, толщина сосны не давала пиле почти никакого разгона, и белая нитка разреза стала углубляться очень медленно, почти незаметно.

Маша чувствовала, что Василь начинает понемногу сдавать: дергает, чересчур прижимает пилу. Но она решила не останавливаться, пока он сам первый не предложит этого, А она может не отдыхая допилить до конца! Ею овладел веселый задор.

«Тяни, тяни, дружок. Это тебе не бумажки подписывать...»

Но вдруг она вспомнила о его ранениях и сразу же остановилась.

— Отдохнем, Вася.

— Ты-ты... д-думаешь, я... устал?

— Не храбрись, Вася... После твоих ран..

Горячая волна благодарности и ещё другого какого-то чувства, которому он и названия не мог подобрать, залила его сердце. Ему хотелось сказать ей в ответ что-нибудь такое же ласковое, но он не находил слов. Поэтому у него возникло немного странное желание: взять её руки и поцеловать. Вот эту покрасневшую, шершавую от работы руку, которой она оперлась о сосну. Он едва удержался, и только потому, что вспомнил: за ними следят любопытные глаза девчат. Нет, пускай это необычно, пускай покажется ей чудачеством, но он когда-нибудь все-таки расцелует её руки с такой же признательностью, с какой поцеловал руки санитарки Тани, вынесшей его, раненного, с поля боя.

— О чем ты задумался? — Маша смотрела на него и

улыбалась, как будто читая его мысли.

— Да так... А где ваш председатель? Уехал?

— Максим? Не-ет... Третий день на пару с Мурашкой работает. Да так работает, что все диву даются... Вдвоем за добрую бригаду справляются. Всех нас на соревнование вызвал.

— То-то, я вижу, вы за три дня сделали больше, чем при Шаройке за месяц...

— Кто — мы? Не возводи напраслины на честных людей, Вася. Загони лучше топор, а то будет зажимать.

Он поднялся и забил лезвие топора в распил. Пила пошла легче. Струями полетели опилки, осыпая валенки. Минута—и сосна, заскрипев, качнулась, Они быстро выхватили пилу, отскочили назад и, стоя рядом, подняв головы, стали следить... Какое-то мгновение сосна стояла неподвижно, как бы в раздумье, куда ей лучше упасть, потом повернулась на пне и начала медленно клониться набок.

Маша глядела на её вершину и в последний раз пожалела красавицу: очень уж неохотно она падала. Но затем, как бы убедившись в неизбежности своей участи, сосна набрала скорость и со страшной силой ударилась ветвями о землю, о пни. Кверху взлетело облако снежной пыли, засыпало одежду, лицо, руки.

Маша засмеялась, Василь взглянул на нее и тоже улыбнулся.

— Ну, а теперь отпилим бревно, самое длинное, и сделаем из него какую-нибудь там капитальную балку, которая сто лет будет держать нашу станцию, А мы с тобой будем ходить и любоваться...

— Сто лет? — Маша опять засмеялась, но тут же спохватилась и оглянулась назад. Девушки толпой стояли у костра и наблюдали за ними.

Маше показалось, что они весело подмигивают ей.

— Ну, давай отпилим твое бревно.

Ваеиль наметил пилой длину, начал утаптывать снег.

— А ну, веселей, веселей! — Точно из-под земли вырос перед ними Максим. Он был в одной гимнастерке, без ремня, шапка залихватски сдвинута на затылок, на лоб свисали пряди потных волос.

— Что, коллега, соскучился по физическому труду? Да, брат… руки у тебя интеллигентские…

Василь поздоровался и ничего не ответил, однако подумал: «Неизвестно, кто из нас больше соскучился. Посмотрим, надолго ли хватит твоего запала», — и заговорил о другом:

— Ты что это бегаешь раздетый? Простынешь…

— Не волнуйся. Я человек закаленный. Учу, брат, людей работать. И своих, и твоих… Вчера мы с Мурашкой областной рекорд побили. Сегодня корреспондент из газеты был, снимал…

— А тебе очень хочется попасть в газету?

— А что ты думаешь? Одному тебе этого хочется? — Максим поплевал на ладони, ухватился за ручку пилы. — А ну, Маша, давай покажем, как мы работаем.

2

Девушки из Машиной бригады устроились у лесника Сувиги. Лесничиха, тетка Татьяна, шумная и добрая женщина, варила им обед, и они жили, не зная забот. Уговорили они Машу поселиться у лесника, чтоб ближе было ходить на работу. Но в первый же вечер, после тяжелого трудового дня на морозе, им вдруг захотелось сходить в ближнюю деревню в колхозный клуб — «поглядеть, как тут танцуют». Машу не очень-то тянуло идти за три километра, и танцевать она была не такая уж охотница, но отставать от молодежи было неудобно.

Однако в тот день Маша отказалась пойти на танцы. Она чувствовала себя усталой, и ей хотелось побыть одной, полежать в тепле, подумать. И в самом деле, сразу же, как только девчата ушли, она забралась на — теплую печь и вскоре уснула. И приснился ей странный сон: Василь её целовал. Она проснулась, испуганная и встревоженная, громко стучало сердце. Что за нелепый сон? Почему Василь? Почему она в последнее время о нем часто думает? Нет, нет, Василь просто добрый товарищ, с которым можно откровенно поговорить, посоветоваться. А она по-прежнему любит Максима. Пускай в последнее время они встречаются, как чужие, и говорят только о колхозных делах, о том, о чем и полагается разговаривать председателю и бригадиру, но ведь она видит, что ему стыдно своих поступков. Сколько уже времени, как он не наведывается вечерами в Добродеевку, не заходит к доктору. Ведь она все видит, все замечает. Да и не одна она: её подружки следят за каждым его шагом и обо всем ей рассказывают. Но почему она стала думать 6 нем так спокойно, рассудительно, как думают о том, что уже никогда не вернется?

Маша тяжело вздохнула.

Хозяйка топила печь, труба нагревалась, и становилось жарко. Пахло луком, длинными плетенками свисавшим с жердочки над печью, и сухой ромашкой, которой не было видно, но запах которой был довольно силен. Тускло горела лампа. За столом, стоя коленями на диване, внук лесника читал стихи: Смеются с солнцем вместе люди, А солнце — гость всегдашний их…

Маша знала мать этого мальчика — бесстрашную партизанскую разведчицу и связную — Галю Кардаш. Встречалась с ней в отряде Антона Лесковца. Галя погибла в последний день перед самым освобождением: разведывала вражеские минные поля возле Сожа, была обнаружена фашистами, побежала и подорвалась на мине.

Того, что было, уж не будет, Ни праздных слов, ни бед лихих.

Голосок у мальчика был звонкий, чистый, он трогал за сердце.

«Того, что было, уж не будет… И ты, мой мальчик, никогда не будешь чувствовать себя сиротой, как не чувствовали этого я, Алеся, Петя.

Она соскочила с печки, взяла том Горького, который привезла с собой и читала по вечерам то про себя, а то вслух — девчатам и лесничихе.

Раскрыла место, заложенное ленточкой, прочитала: «Все в Человеке — все для Человека». Задумалась. Потом перевернула несколько страничек назад, стала читать горьковского «Человека» сначала.

«Так шествует мятежный Человек—вперед и — выше!»— окончила и почему-то сразу оглянулась на Володю. Он поймал её взгляд и спросил:

— Тетя Маша, вы почему шепчете, когда читаете? На память учите?

За окном фыркнула лошадь. В хату вошел Максим. Маша удивилась, даже немного встревожилась: что его заставило в такой поздний час приехать из деревни?

— Ты одна?

— Нет, вдвоем… Вот—с Володей, — она положила ладонь на голову мальчика.

Максим снял шапку, присел на лавку у окна. — Почему с девчатами не пошла? — спросил он, и Маша поняла, что приехал он безо всякого дела, и успокоилась; с удовольствием, даже с какой-то странной радостью наблюдала за его растерянностью.

— Стара я с девчатами бегать… Поработала — спина болит… Вот только с печи слезла.

Она сказала это без улыбки, но он не мог не иочув ствовать горькой иронии её слов и, покраснев, грубовато возразил:

— Ну-у... стара. Побольше бы таких старух...

— Да и не молодая...

Он чувствовал, что все больше смущается, понимая неловкость своего положения, и нашел выход из него в том, что разозлился:

— Что ты заладила — старая, старая... Смешно слушать твое бабское нытье. Серьезно поговорить не можешь...

«С каких это пор ты начал серьезно разговаривать?» Маша увидела, что в кухне против полуоткрытых дверей стоит, опершись на ухват, тётка Татьяна и укоризненно качает головой, и улыбнулась. Эта улыбка ещё больше разозлила Максима — лицо его покрылось пятнами. Но он сдержался: переложил шапку и осторожно сел поближе к столу. Постучал пальцами по книге.

— Ты почему Дуню отпустила?

— Ей передали, что мать захворала.

— Захворала!.. Знаю я этих хворых! Захотелось на воскресенье вытащить дочку из лесу. Лодыри!..

Маша тоже повысила тон.

— Дуня — комсомолка. Сама попросилась в лес. Не меряй всех на один аршин, товарищ председатель!

— «Товарищ председатель»! Скоро, как видно, один «товарищ председатель» и останется в лесу.

Маша вздохнула. Она понимала, что не затем он приехал, чтоб узнать, отчего вернулась домой одна из колхозниц. Не в Дуне дело. С другими намерениями ехал он сюда. Но с какими?.. Она наклонилась к столу, тихо и дружелюбно спро: сила:

— Ты только за этим и ехал?

Он не знал, что ответить, и растерялся, сразу пропал его боевой пыл.

— Завтра пойдете в пятьдесят третий квартал, валить дубы, — сказал он спокойно и, помолчав, прибавил: — Вам отсюда ближе…

— Хорошо, пойдем, — вздохнула Маша. — Нам передал Мурашка.

В этот момент в хату вошел Василь. Он громко поздоровался с хозяйкой, шумно потирая руки заговорил:

— Эх, солоники варятся. Вот кстати., А то я, тетка Татьяна, голодный как волк.

Маша подумала: «Ну вот… Опять сорвалось… Нам, видно, так никогда и не удастся поговорить с глазу на глаз».

Она подняла голову и встретила взгляд Максима. Взгляд был злой, осуждающий. Тогда она поняла, что его заставило приехать. Он знал, что Василь отправился в лесничество и обратно будет возвращаться мимо лесника. И потому, не увидев её среди девчат, он прилетел так неожиданно. Её не обрадовала его ревность, а обидела и оскорбила. Может ли человек по-настоящему любить, если он так думает о ней? Нет, не может… А как ей хотелось услышать от него слова, которые бы воскресили её прежние надежды… Маша рассердилась и на него и на себя. Только минуту назад она жалела, что Василь помешал им поговорить. Теперь она была рада его приезду.

Он стоял в дверях кухни, заиндевевший, с раскрасневшимся веселым лицом.

— А-а… Не помешал?

Максим поднялся ему навстречу, на ходу засовывая руки глубоко в карманы шинели.

— Давай без деликатностей! Помешал! Интеллигент!

Все почувствовали себя неловко. Маша опустила глаза в книгу.

«Да будут прокляты все предрассудки»... Она даже вздрогнула, прочитав эти слова, первыми попавшиеся ей на глаза и как бы отвечавшие на обидные подозрения Максима.

Василь отвернулся и, сняв кожушок, повесил его и шапку на лосиные рога, прибитые на стене между окон.

Мальчик, как видно, тоже почувствовал эту неловкость, потому что быстренько собрал свои книжки и шмыгнул на печь.

— А я сегодня в чудесном настроении, — вдруг объявил Василь. — Добился и выписал ещё шестьдесят кубометров леса, проголодался и даже купил «чекушку»... погреться, — он достал из кармана кожушка четвертушку водки, поставил на подоконник.

Усевшись возле печки, Василь начал рассказывать, сколько ему пришлось походить, чтобы выписать добавочный лес, как он снова поругался с Беловым из-за кредитов.

— Не понимаю, что за человек. То чересчур щедр, то вдруг копейки не выпросишь...

— Человек как человек, — мрачно заметил Максим.

— Да нет... я его тоже уважаю, человек он интересный, веселый, хороший хозяин... Только немножко какой-то неорганизованный... Ссорюсь я с ним при каждой встрече.

Обычно молчаливый, Василь говорил почти безостановочно. Маша его понимала. После того как Максим вдруг пришел к нему и пригласил на собрание, на котором колхозники «Партизана» единогласно (даже Шаройка и Корней Лесковец) проголосовали за совместное строительство гидростанции, он проникся к Лесковцу уважением, стал относиться к нему внимательно, прощал ему все его грубоватые шутки, старался помочь овладеть сложными обязанностями председателя и как-то в разговоре с Ладыниным

уверенно заявил:.

— А знаете, Игнат Андреевич, председатель из него со временем выйдет хороший.

Секретарь парторганизации тогда ответил:

— А иначе мы б его и не рекомендовали. Вот только не нравится мне, что он избегает меня. Почему? То приходил чуть ли не ежедневно, то глаз не кажет.

Доктор не знал о разговоре дочери с Максимом.

Теперь Василь очень боялся, чтобы эта нелепая встреча опять не испортила их отношений. Но, как говорится, где тонко, там и рвется.

Вошла лесничиха — принесла соленые огурцы, хлеб, миску горячей картошки, от которой поднимался белый столб пара. Ставя все это на стол она окинула мужчин насмешливым взглядом и подмигнула Маше:

— Значится, это и есть соперники?

У Максима сразу глаза стали круглыми.

— Не суй, тетка, носа, куда не просят. Не твое дело!

— Ишь ты, какой колючий! Пошутить нельзя. Гляди, у меня в хате хвост не задирай, а то я тебе дверь покажу...

Василь захохотал.

— Тетка Татьяна — шутница. Я с ней второй год воюю. Она меня все женить собирается.

— И женю! — решительно заявила лесничиха и, должно быть, чтоб насолить Максиму, прибавила: — За хорошего человека приятно и сватать.

Максим умолк и сидел нахмурившись.

Василь разлил водку в два стакана (Маша пить отказалась). Подцепив огурец вилкой, он снял его

другой рукой, откусил чуть не половину, потом, как бы вспомнив, схватил стакан, чокнулся с Максимом:

— Ну, будь здоров! Поехали, — выпил, крякнул, начал аппетитно закусывать.

Максим понюхал корку хлеба и выпил не спеша. Василю, видимо, хотелось поговорить по-дружески, просто, и он начал:

— Знаете, друзья, не кажется ли вам, что, увлекшись электростанцией, мы ослабили подготовку к весне. Особенно у вас, Максим… Не обижайся, я в порядке товарищеской критики. Ты вот, Максим, здесь в лесу рекорды ставишь. Все это хорошо. А минеральные удобрения «Партизан» вывозит плохо. Позавчера на бюро райкома говорили… По-моему, командир должен быть на самом ответственном участке…

Лесковец часто: задышал, долгим, тяжелым взглядом помотрел на Василя и отложил в сторону вилку.

— Слушай, Лазовенка, что я тебе давно хотел сказать… Я в твои дела не вмешиваюсь, хотя мне, может быть, тоже много кое-чего не нравится у тебя. И я хочу тебя попросить: не вмешивайся, пожалуйста, и ты в дела нашего колхоза.

В своих ошибках мы сами разберемся. Да руководителей и без тебя довольно… Каждый день уполномоченные наезжают…

Василь опустил глаза, старательно заработал челюстями, пережевывая хлеб. Маша бросила на Максима укоризненный взгляд.

Минуту стояла напряженная тишина. Наконец Василь, проглотив последний кусок, вытер платком губы и ответил уже совершенно иным тоном:

— К сожалению, брат, твоей просьбы выполнить не могу. Во-первых, характер у меня не такой, ты же знаешь, во-вторых, я коммунист и вдобавок член райкома. Придется тебе примириться, ничего не

поделаешь, — Василь развел руками.

— Ну что ж... Будем воевать... Маша возмутилась.

— С кем воевать? Тебе хотят помочь, а ты... Вояка! Стыдно слушать.

Максим повернулся к ней, нервно передернул усами.

— Ты что думаешь, у нас с тобой котелки варят хуже, нежели у всех этих охотников помогать?

— Тебе хотят помочь не какие-то там охотники, а партийная организация, райком. Пойми это, голова, — Василь говорил спокойно, внимательно следя за лицом Максима, на котором красноречиво отражались все его мысли и переживания. — Да, наконец, любому человеку — колхознику, учителю — ты должен быть благодарен за каждый полезный совет. Иначе руководить колхозом нельзя.

Очевидно чувствуя неуместность того, что он наговорил, Максим поднялся, пробормотав:

— Не бойся, ценить помощь умею и я, но... разная бывает помощь, — и стал рыться в карманах своей шинели, висевшей на тех же лосиных рогах, рядом с кожухом Василя, Достал папиросы, вернулся и долго прикуривал от лампы, наклонившись, над столом так близко от Маши, что она почувствовала ещё с давних времен знакомый запах его волос. Потом поднял голову и вдруг улыбнулся какой-то непонятной, но не злой улыбкой.

— Так, говоришь, ругали за удобрения? Ничего, вывезем и удобрения. Не все сразу. Правда, Маша?

— Есть дела, которые надо делать одновременно, — наставительно отвечала она.

Максим промолчал.

Постепенно разговор принял другой характер — стал более непринужденным. Управившись у печки, вошла и

присоединилась к беседе тетка Татьяна. Рассказывали разные случаи, местные новости. Потом, в какой-то связи, лесничиха вспомнила отца Максима — Антона Лесковца, и у всех встало в памяти недавно пережитое. Заговорили о войне—о партизанских и фронтовых делах. Посуровели лица. Старуха вспомнила дочку и прослезилась. Володя, услышав, что говорят о войне, о партизанах, проворно соскочил с печи и сел рядом с бабушкой.

Василю пора было ехать. Правда, ночь была лунная, светлая, дорога хорошая, однако не близкая. И ему трудно было покинуть эту теплую, уютную хату, где так приятно пахло луком, травами и хлебом и где за столом, кутая плечи в мягкий шерстяной платок, сидела Маша. Он вышел посмотреть коня. Конь с тихим хрустом жевал овес под навесом. Мороз крепчал. Небо, с вечера Покрытое тучами, теперь переливалось миллионами звезд. Лес темной стеной обступал сторожку. За эту стену падали звезды. Звонко потрескивали от мороза дубы. Лазовенка не прочь был принять приглашение лесничихи переночевать, но Максим... Он способен черт знает что вообразить. Василь на минуту задумался над своим к нему отношением. Странное оно, это отношение, — странное своей противоречивостью. В душе он желает Максиму всех благ, удачи в работе и готов искренне помочь. Но порой ему кажется, что было бы лучше, если бы Максим не приезжал, если бы он не стал председателем. Обидно за Машу, и он начинает злиться на Максима, у него сжимаются кулаки, когда он видит, как спесиво и самоуверенно ведет себя друг.

«Однако надо пойти попрощаться и ехать».

Задумавшись, он немного задержался на крыльце и вдруг услышал: в лесу на дороге скрипит снег, но не под полозьями, под лыжами. Вот уже слышно, как палки стучат о дорогу. Идут двое — разными стилями. Разговаривают.

— Зайдем, Лидуша. А вдруг кто-нибудь из наших здесь...

— Да нет же, папа. Все они в Кравцах. Я ведь узнавала.

— Знаешь, зимним вечером трудно миновать такой приветливый огонек.

— Скажи, что ты совсем замучился, — тогда дело другое.

— Напрасно ты так обо мне думаешь.

Василь сбежал с крыльца и пошел им навстречу.

...Максим и Маша очень удивились неожиданному появлению доктора и Лиды. Ладынин засмеялся.

— Удивляетесь? Я сам удивляюсь. Но кто хорошо знает мою дочь, для того нет ничего удивительного. Для нее это обыкновенная прогулка.

Он был в ватной куртке, таких же стеганых штанах, и в валенках, которые промерзли и стучали о пол, как деревянные. Шапка его, брови и усы побелели от инея. Лида была в новом ярко-розовом — даже в комнате все порозовело, когда она вошла, — лыжном костюме и хорошенькой пуховой шапочке, с дорожным мешком за спиной.

Щеки у нее раскраснелись от мороза, а глаза сияли удовольствием.

— Видишь, весь штаб здесь, а ты не хотела заходить, — доктор поздоровался с лесничихой, потом с Машей. А Лида первому пожала руку Максиму, и пожала как-то особенно крепко — как доброму другу, с которым долго не виделась. И в самом деле, они давно уже не встречались. Со времени того неприятного разговора Максим избегал её, а если случалось столкнуться, здоровался официально, кивком головы. Но в душе он был благодарен ей за то, что никто больше об их разговоре не знал.

Теперь у него приятно дрогнуло сердце.

— Говорят, Лесковец, вы тут горы переворачиваете?

— Нет, Лидия Игнатьевна, только бревна. Разрешите, — он помог ей снять мешок.

Василь в это время тихонько переговаривался с лесничихой — заказывал ужин. Ладынин переобувался в принесенные Машей сухие валенки.

— Однако расскажите, как вы к нам попали.

— Очень просто. Стали на лыжи и пошли. Самое трудное было сагитировать папу.

— Не хвастай. Не было бы нужды — не помогла бы твоя агитация. Но когда нужно лечить людей — что поделаешь, пойдешь и за двадцать километров, такая уж у меня профессия.

— Лечить? — не поняла Маша. — Кого лечить?

А Максим покраснел и насторожился. Взглянув на него, и она поняла, кого пришел лечить доктор.

— Вы мою бумажку получили? — обращаясь одновременно и к Лесковцу и к Лазовенке, спросил Игнат Андреевич.

— Я уладил дела в лесничестве и собирался ехать…

— А я должен закончить начатую работу, — дерзко ответил Максим.

Ладынин укоризненно покачал головой.

Вы серьезный человек, Лесковец, или ребенок? Кому вы делаете назло? В колхозе срывается вывозка навоза, подготовка к севу, а вы в лесу прячетесь.

— Вы сами послали меня в лес.

— Да. Когда Шаройка с Корнеем здесь самогонку пили и срывался план… Вы должны были наладить, организовать… А вы что делаете? Покритиковали вас за лесозаготовки, так вы взялись рекорды ставить, махнув рукой на главное, на весь колхоз… Где же логика,

Максим Антонович? Ты же был командиром! А где должен быть командир?

— Тут сам черт не разберет, где он должен быть, — разозлился Максим и в волнении зашагал по хате.

— Ну, ну, не кипятись, — всё так же спокойно заметил доктор. — Как-нибудь общими силами разберемся. Это не так трудно, как тебе кажется. Разберемся!

Лазовенка молчал, то и дело переглядываясь с Лидой, что немного задевало Машу. Молчал он и тогда, когда Ладынин его пробирал. Молча слушала и лесничиха, подперев рукой щеку и не сводя с Лиды глаз. Только, когда стали пить чай И все успокоились, старуха не выдержала и высказала свое восхищение девушкой:

— Какая ты красивая! Небось хлопцы дерутся из-за тебя. Лида расхохоталась.

— И не глядят, тетка Татьяна.

— Ой не ври. Правда, драться сейчас из моды вышло. Вот когда-то из-за меня часто дрались, дураки.

— Да сейчас разве те хлопцы, тетка? — пошутила Лида и показала на Максима и Василя. — Вот они… Хорошо, если лет через десять женятся…

Беседовали уже мирно до-полуночи, пока не вернулись с танцев девчата.

Лазовенка и Лесковец поехали ночевать в Кравцы. Ладынину тетка Татьяна постелила на горячей лежанке, а Лиде и Маше предложила никелированную кровать с мягким матрацем. Маша пыталась отказаться и лечь с девчатами на полу, на соломе, но Лида запротестовала.

Улегшись под одеяло, Лида свернулась клубочком и ласково прижалась к Маше. Волосы её приятно пахли духами.

В двух комнатах сельсовета негде было, как говорится, яблоку упасть: почти все колхозники «Воли» пришли на открытое партийное собрание. Всем рассесться было не на чем, и потому сидели главным образом представители «Партизана» и «Звезды», которые пришли раньше и которых добродеевцы принимали, как гостей. Но Ладынин с самого начала почуял хитрость в этой необычной вежливости хозяев: им хотелось, чтобы представители отстающих колхозов сидели лицом к лицу с президиумом, а не прятались за чужие, спины.

До начала собрания было шумно. Но как только Ладынин поднялся — все затихли, и стало слышно, как с крыши капают крупные капли. Внутренние рамы давно были выставлены, и всплески капели о лужи, собравшиеся за день у завалинки, доносились отчетливо; их услышал даже глуховатый сторож Семен, который дремал, покуда шумели, и проснулся, когда вдруг наступила тишина.

Доклад Игнат Андреевич делал сам. Вопрос стоял большой и чрезвычайно ответственный — о весеннем севе. Нужно было добиться, чтобы чувством ответственности за судьбу будущего урожая прониклись члены правления, бригадиры, все колхозники. С этой целью Ладынин и созвал открытое партийное собрание. Он решил ещё раз серьезно обсудить результаты зимней работы — подготовки к севу, а главным образом поговорить о следующем этапе борьбы за урожай—о самом проведении весеннего сева.

Но главная цель Ладынина была — поговорить о делах в «Партизане». Дела там шли немного лучше, чем при Шаройке. Но колхоз все ещё был в числе отстающих даже по отдельным кампаниям. Лесковец как будто и с огоньком взялся за работу. За три месяца он даже заметно похудел. Он умел, как и его отец когда-то, показать личный пример в работе. Поздно ложился и рано вставал, как и полагается доброму хозяину. Но он слишком метался и делал не то, что надо: много ездил по районньш и областным организациям, часто без особой необходимости, по мелочам. В колхозе он тоже

стремился всюду поспеть, все посмотреть сам, как бы не доверяя людям, во все вмешивался, иной раз подменяя бригадиров, заведующего фермой, счетовода. А потому его старания не давали тех результатов, каких он ожидал. Его не хватало на все, он распылялся и за мелочами упускал главное.

Секретарь парторганизации внимательно следил за работой Лесковца, поправлял его ошибки. Зная несдержанный, горячий его характер, Игнат Андреевич делал это осторожно, деликатно, обычно с глазу на глаз, в душевной беседе, либо на закрытом партсобрании. Но Лесковец все больше показывал свой нрав, дружеская критика на него не действовала. И Игнат Андреевич решил во весь голос и с фактами в руках «пропесочить» Лесковца на одном из открытых собраний, на людях, — посмотреть, как это на него подействует. Пускай потом подумает, поворочает мозгами!

— ...Примеров бесплановости, стихийности в работе Лесковца и всего правления «Партизана» сколько угодно... Вот вам самый свежий. Вчера вся Добродеевка наблюдала, как колхозники Лядцев везли сено с луга, находящегося за тридцать километров отсюда. Везли на санях по песку, словом — не везли, а волокли волоком. Еле живы были и люди и лошади. А три воза сена так и застряли где-то в Слюдянке... А все потому, что и Лесковец, и Бирила, и уважаемый бригадир Шаройка вспомнили об этом сене, которое, кстати, специально было оставлено на время полевых работ, только тогда, когда стало развозить дороги. Это называется «дали отдых лошадям». О чем думали раньше — неизвестно.

— Лес возили, — буркнул Шаройка.

Ладынин насмешливо поглядел на него. Шаройка вобрал голову в плечи, наклонился.

— При вас, Шаройка, и лес не вывозили, и навоз оставался в хлевах...

— И поле пустовало, — добавил кто-то из добродеевцев.

— Мне думается, все это происходит оттого, что товарищ Лесковец, как я уже говорил, занимается иной раз не тем, чем должен заниматься председатель...

Максим сидел сбоку, у окна, между Шаройкой и своим заместителем Бирилой. Был он внешне спокоен, сидел, заложив ногу на ногу, поглядывал по сторонам, улыбался, казалось, говорил: «Любуйтесь, каков я!..» И в самом деле, добродеевские девчата не сводили с него глаз. Однако румянец на щеках и глаза, в которых горели какие-то странные огоньки, выдавали его волнение.

Ладынин обращался ко всем, но тайком наблюдал за ним. Часто взглядывала на него и Маша; она боялась, что Максим не сдержится и каким-нибудь неуместным выкриком, возражением остановит Игната Андреевича. А ей хотелось аплодировать каждому слову секретаря, потому что все, что он говорил, было справедливо, она сама об этом не раз думала. Но в то же время ей было жаль Максима: никто лучше её не знал, как болезненно он воспринимает такую критику. Она видела больше, чем Ладынин, лучше читала на его лице. Вот он незаметно застегнул пуговицу шинели, потом расстегнул её и вдруг в какое-то мгновение, в какое — никто не заметил, пуговицы не стало. Максим спрятал её в карман.

— Неужто обязательно сам председатель должен ездить в «Сельхозснаб» за каждой парой вожжей или железом для кузницы? Это мог бы с успехом сделать любой колхозник. А Лесковец ездит сам. А в колхозе в это время целый день простаивает триер, данный всего-то на каких-нибудь два дня. Триер забрали, и часть семян осталась неочищенной...

— Сколько там этих семян! — не выдержал Бирила.

— Мы не имеем права, товарищ Бирила, посеять недоброкачественно ни одного гектара.

Окончил Ладынин свой доклад — Лесковец сразу же поднялся, быстро снял шинель и кинул её на

подоконник. Прокатился смех.

— Ишь ты, жарко стало!

— Еще бы нет!.. Тут и сорочку скинешь, не только что…

— А он её уже расстегнул!.. Глядите!..

— Да, брат Максим, это тебе не за вожжами ездить…

— Усы подкрути для фасону!..

Ладынин поморщился — не нравились ему эти шутки. А Маше было от них прямо-таки больно, может быть, больнее даже, чем самому Максиму.

Банков стучал карандашом по графину.

— Тише, товарищи! Да поменьше курите! Дышать нечем.

Максим точно не слышал всех этих шуток. Молча постоял, подождал, пока установился порядок, потом попросил у председателя собрания слова.

— Тут секретарь наш, Игнат Андреевич, товарищ Ладынин, — он, должно быть, не подготовил начала своей речи; и потому нагромождал слова без толку, — в своем докладе так навалился… одним словом, доказывал, что в том, что сельсовет занимает восьмое место по району, а не первое, виноват только один человек: Лесковец…

— Ты о своем колхозе говори… О сельсовете с тебя никто не спрашивает, — остановил его директор МТС Крылович.

— Нет, извините, если весь доклад был направлен против меня, так позвольте мне сказать… Ну хорошо, Лесковец не умеет руководить, Лесковец допускает грубые ошибки, ездит, а толку нет… Одним словом… Лесковец не опирается на колхозный актив… актив у него — один Шаройка… Что имеет товарищ Ладынин против Шаройки — я не знаю… Одним словом,

получается, что Лесковец — это Шаройка номер два…

Снова все засмеялись, кроме Маши; она молча кусала губы и не поднимала глаз. Ладынин укоризненно показал головой:

— Напрасно, Максим Антонович, — и подумал: «Болезненно реагирует. А может, это и хорошо».

Максим, должно быть, не расслышал или не понял, что сказал секретарь, потому что переспросил:

— Что?

— Ничего, ничего… Говори…

— Но… товарищ Ладынин проглядел одно различие… Шаройка не хотел работать председателем… Амельян Денисович настойчиво просил, чтоб его освободили…

Тут уже и Маша не выдержала, рассмеялась.

Не понимая, чем вызван этот смех, Максим, повернулся к президиуму. Шаройка незаметно дергал его за гимнастерку.

— А я сам взялся за эту работу. Я не прошу, чтобы меня освобождали… Нет! Я хочу работать!

— Отлично! Молодчина! — У Ладынина радостно блеснули глаза из-под косматых бровей.

У Маши тоже стало легче на душе. Теперь она смотрела на Максима так, словно увидела его впервые. Он стоял у окна раскрасневшийся, с горящими глазами, помолодевший и стройный, туго перетянутый ремнем, за который держался руками, и растерянно озирался, видимо снова не понимая, за что его вдруг похвалил Ладынин. Потом, должно быть, понял и почему-то рассердился — начал злобно кидать слова:

— Хочу! Но я согласен: Лесковец не умеет управлять… Не умеет, потому что работает всего три месяца… А кто меня учил, кто помогал? Почему товарищ Ладынин не

сказал, как мне помогла партийная организация? Не вижу я от нее помощи…

Это была неправда. Ладынин выслушал её невозмутимо, но Лазовенка не стерпел и взорвался.: Всегда сдержанный, спокойный, он вскочил с места и сурово обрезал:

— Неправда! Две трети всей партийной работы мы проводим в вашем колхозе… У тебя лучшие, агитаторы…

— Мне агитаторы не помогут вовремя посеять. Мне нужны семена овощей, которых у меня нет. Мне нужен трактор, а мне прислали разбитое корыто, — он кинул эти слова Крыловичу. — Какая это помощь, как я могу на нее рассчитывать, когда он не дошел километра до колхоза и третий день «загорает» в поле? Тебе хорошо агитировать, — теперь он наступал на Василя, — когда тебе, вон какой прислали, прямо с конвейера. Понятно, ты посеешь первым… А я неделю езжу к Крыловичу, прошу конную сеялку… Тут и не хотел бы, а станешь гастролером… Вот вам свежие факты, Игнат Андреевич, если они вас интересуют…

— А вы у бригадира тракторной бригады спросите, почему трактор стоит, — не к месту, с опозданием вставил Крылович.

Максим не ответил. Запал и злость его вдруг стали остывать; в какое-то мгновение он понял, что начинает говорить лишнее. Понемногу сбавляя тон, он стал да рассказывать о том, что сделано, как колхоз подготовился к севу. Михаил Примак после реплики директора МТС достал из кармана блокнот, вырвал листок и написал:

«Фр. Ул.! Если Вы снова будете кивать на меня, я выступлю перед колхозниками так, как выступал на нашем последнем собрании. Я не постесняюсь. Вы отлично знаете, по чьей вине стоит Гоман. М. П.»

Крылович прочитал записку и, заметно покраснев,

аккуратно свернул её и положил в оттопыренный карман гимнастерки, набитый бумажками, нужными и ненужными.

Лесковец кончил неожиданно, на полуслове.

Кто-то из добродеевцев, из второй комнаты, крикнул:

— А обязательства ваши где?

Максим поднялся и растерянно посмотрел на президиум, потом назад, на народ. Ища поддержки, взглянул на Шаройку, потом на Машу, тихим, неуверенным голосом переспросил:

— Обязательства?

— Вот именно!..

— А мы послушаем, что скажут передовики, — вдруг нашел он выход из своего неловкого положения.

— Правильно! Равняйся на нас! — выкрикнул все тот же молодой задорный голос.

Поднялся Василь и рассказал, какие обязательства берут на себя колхозники «Воли».

Он долго и подробно говорил о том, что сделано и что будет делаться в колхозе, для того чтобы вырастить богатый урожай.

Слушали его по-разному: большинство добродеевцев — внимательно, с интересом; из других колхозов кое-кто — с ироническими, недоверчивыми усмешками. Особенно скептически улыбался председатель колхоза Радник. А Маша вообще почти не слушала: её одолевали свои думы.

«А мы? Что скажем мы? Неужто так и промолчим? — Она вглядывалась в лицо Максима, стараясь угадать его мысли, но лицо его было неподвижно — он внимательно слушал, лишь изредка утирая платком лоб. — Неужели мы не способны вырастить такой же урожай, как в

«Воле»? Разве у нас не одинаковая земля? Разве не так же светит у нас солнце и льет дождь? Нет, выступлю и скажу от своей бригады. Мы тоже можем вырастить такой урожай. А если?… — В душной комнате ей на мгновение стало холодно от этой мысли. — Если не сможем?.. Значит, я обману партийное собрание… Может, лучше промолчать? Если б это зависело только от меня, я бы ночей не спала… А то в бригаде шестьдесят трудоспособных, люди разные, по-разному относятся к работе. Нет, люди хорошие. Разве не об этом самом говорили они на последнем собрании бригады? Все сходились на том, что нужно бороться за такой урожай, как в «Воле». Нет, люди поддержат…»

Маша опомнилась от аплодисментов. Оглянувшись, она увидела добрую застенчивую улыбку Василя и тоже стала громко, по-детски широко разводя руки, хлопать. Она радовалась за Василя, глаза её сияли.

За окном сорвался ветер, сильно ударил в железную крышу. В стекла будто кто-то сыпанул горохом; шариками живого серебра покатились по стеклу капли дождя.

— Дождь?! — удивленно и радостно зашептал народ. Маша встрепенулась, оторвалась от своих мыслей. «Дождь!»

— До утра, пожалуй, весь снег смоет, — произнес кто-то из стариков.

«Вот она и пришла — весна», — подумала Маша, и все её колебания, все сомнения вдруг исчезли. Маша решительно попросила слова.

Дождь шел спорый и теплый. И сразу запахло сырой оттаявшей землей и ещё чем-то особенным, не имеющим названия, о чем говорят: «Пахнет весной». Ночь — хоть глаз выколи. Только позади, в Добродеевке, сквозь дождевую завесу желтоватыми пятнами светились окна хат и одинокие электрические фонари — возле «силовой», у медицинского пункта, на колхозном дворе.

Наезженная за зиму дорога ещё держала, Во уже во многих местах её перерезали бурливые весенние ручейки. Вода журчала в канавах по обочинам.

Они шли, как солдаты в разведку, — цепочкой, с той только разницей, что командир — Лесковец — шел самым последним. Маша оглядывалась и видела вспыхивавшие искры его трубки — он непрерывно курил. «Волнуется и злится». Сама она тоже все ещё не могла успокоиться после выступления и даже, казалось ей, волновалась сильнее, чем там, на собрании. Тревожила мысль: сумеет ли она вырастить такой же урожай, как в «Воле»? Она вспоминала все детали, все подробности работы, проведенной ею в бригаде во время подготовки к весне. Много было недоделок, и они беспокоили. Утешал только озимый клин бригады. На нем они сделали и сделают все, что делают на своем ржаном поле добродеевцы. Кстати, их участок смежный с лучшим участком «Воли», и все условия у них будут равны. А вот яровые… Их еше надо посеять. У нас даже не вся площадь вспахана под зябь. И навоза меньше, и семена хуже, и лошади слабее, и трактор попался какой-то никудышный… От этих мыслей стало ешё тревожнее на сердце.

«Как я людям в глаза глядеть стану, если не выполню того, что пообещала?»

Ей захотелось поговорить с Максимом, отстать, пойти рядом и поговорить по душам. Но она боялась, что он не поймет и опять может оскорбить её какой-нибудь грубостью. Шли молча. Только Клавдя Хацкевич потихоньку что-то рассказывала девчатам и сама громко смеялась.

— Ну, бабы, поднимай юбки! Будем прыгать! — прозвучал её веселый голос.

Дорогу перерезал ручей.

Мурашка посветил карманным фонариком.

— Ну, это что! — и первым ловко перескочил.

— Тебе легко говорить — что! А вот каково нам? — ворчала Клавдя. — Где это Максим? Ты, чертяка, в охотничьих сапогах, а я в бахилах должна тебе дорогу прокладывать. Командир обязан быть впереди своего войска.

Максим не откликнулся. Маша чувствовала, что он стоит за её спиной, слышала, как он сосет трубку: это был забавный звук — чмокает, как малое дитя.

Вскоре их задержал и заставил сгрудиться новый ручей, журчавший и булькавший громче всех предыдущих. Мурашка опять посветил и свистнул.

Лукаш Бирила стал палкой мерять глубину и прощупывать дно — где удобнее перейти.

Трубка засипела у самого Машиного уха.

— Ты что, тоже решила мне нос утереть? — тихо сказал он, и Машу так неприятно поразили эти слова, что она на миг растерялась.

— Пойми, Максим…

— Ты думаешь, одна ты понимаешь, а у меня и головы нет и вместо сердца — камень. Так? Я сам мог сказать…

— Я тебе не мешала… Я от своей бригады говорила.

— Не мешала!..

В их разговор, который они вели почти шепотом, неожиданно вмешался Шаройка, стоявший сзади, но не замеченный ими.

— Эх, Максим Антонович, цыплят по осени считают. Кто его знает, то ли подсушит, то ли подмочит, Сказать легко… А мы тишком да молчком… Так-то оно лучше.

— «Тишком да молчком»! — пренебрежительно хмыкнул Максим.

Шаройка отступил куда-то в темноту. Маша довольно

усмехнулась.

Максим напрямик, быстро и шумно, перешел ручей и пошел впереди всех, не останавливаясь больше и не отзываясь на Клавдины шутки, которые она отпускала ему вслед.

4

В небе пел жаворонок. Люди, услышав его пение, останавливались и, задрав головы, сдвинув на затылок зимние шапки, старались отыскать его в слепившей глаза яркой весенней синеве. На глаза набегали слезы, их смахивали ладонью и снова вглядывались.

— Вон он, во-он!

— Ага… Как точечка… На одном месте висит.

— Только крылышками трепещет.

Взрослые говорили о нем и радовались, как дети.

Песней жаворонка звенело все вокруг в этот необыкновенный день, первый ясный и теплый день после зимы.

Хотя был конец марта, но солнце грело, как в мае, и «украинский» ветерок, как тут называли южный ветер, приносил не холодную предвесеннюю влажность, а душистое тепло настоящей весны, запах разогретой солнцем щедрой земли.

Сразу же набухли почки у старой вербы, что росла под обрывом, склонившись над самой водой. Казалось, ещё одна минута, один миг — и брызнут эти почки молодым листом.

Василю представилось, что это случится сейчас, на его глазах, и он на минуту примолк, затаился, ожидая чуда. Возможно, о чем-нибудь в этом же роде думал и Ладынин, потому что он так же молча, пристально глядел на вербу, на быстрый бег воды. Речка вышла из

берегов, поднялась чуть не до уровня обрыва, залила неширокую здесь пойму; ствол старой вербы до самых ветвей и даже несколько веток были в воде. К югу, за поворотом, где пойма расширялась, и к северу, за мостом, где до самой Добродеевки, речка залила луга, расстилались широкие и спокойные водяные просторы, и, не зная, нельзя было различить, где проходит русло. А здесь, в этой узкой горловине, зажатой между высоких обрывистых берегов, на одном из которых стояли дубы, а на другом — сосны, вешние воды в ярости рвались вперед. Вода подмывала песчаный берег, водоворотом вихрилась вокруг вербы. Стремительно проплывали, кружась, щепки, ветки, куски торфа, навоз — все, что осталось от зимних дорог.

Толстая ветка вербы тянулась вверх, подымалась над берегом. Василь наклонился над обрывом и отломил веточку с веселыми пушистыми «барашками». Понюхал и засмеялся.

— Верба молоком пахнет.

Игнат Андреевич удивленно поглядел на своего молодого товарища.

— Ну-у, это фантазия животновода!..

— Серьезно. Между прочим, я обнаружил это впервые, когда был ещё школьником…

У него было необыкновенное настроение — поистине весеннее. Чесались руки — хотелось работать вместе со всеми, кричать и смеяться в толпе молодежи. Он повернулся. В каких-нибудь ста шагах от того места, где они стояли, парни из четырёх колхозов с шутками и смехом складывали в огромные штабеля желтые бревна. Мужчины постарше занимались окоркой. Бревна лежали здесь на всей площади — от речки почти до самого колхозного двора. Пока держалась санная дорога, их спешили вывезти из лесу, а теперь все предвесенние дни окоривали и приводили в порядок.

С другой, стороны, на песчаном пригорке, большая группа девчат и женщин вскрывала будущий карьер, из которого строители станут брать грунт для земляной части плотины.

Дальше, возле деревни, мужчины и женщины работали на дороге, которой ещё не было, но которая должна была связать окаймленный столетними березами старый большак, уходящий на Украину, со строительной площадкой. — Кипит работа, Игнат Андреевич!

— А-а? — Ладынин оторвал взор от реки. — Красивое место. Дуб какой красавец! Богатырь!.. Еще и не так закипит…

Лазовенка вдруг стал насвистывать веселую мелодию. Ладынин удивленно, пряча в усы лукавую улыбку, наблюдал за ним.

— Боюсь, Игнат Андреевич, что полевые работы остановят строительство…

— А мы должны сегодня твердо договориться и записать… Будем добиваться, чтобы не было ни одного дня простоя. Дело не только в темпах. Я опасаюсь другого: останови мы работу на каких-нибудь полмесяца — Соковитов и вправду уедет. Жди тогда, пока «Сельэлектро» пришлет своего инженера. Этот человек не может сидеть без работы и не может оторваться, бросить её, если работа идет хорошо, если каждый рабочий день ставит ему задачи на завтра…

Они шли к штабелям. Лазовенка вдруг остановился, прислушался.

— Ты чего? — спросил Ладынин. Василь весело кивнул головой:

— Гудит!

Где-то очень далеко, за Лядцами, а может быть и за Добродеевкой, гудел трактор.

— Работает. Сегодня засеем первые гектары. Игнат Андреевич, надо серьезно поговорить с Лесковцом. Какого черта он тянет! У «Партизана» есть места повыше, чем у нас… А поглядите, как сохнет земля. Нельзя откладывать ни на один день. Пускай завтра же начинаем. Выборочно… Хватит ему слушать Шаройкины советы!..

— Хорошо… Поговорим…

С речки долетел веселый выкрик:

— Ого-го!

Ог штабелей парни кинулись к берегу.

— Петька, айда, кто-то тонет!

— Как же, таким бы голосом он кричал, кабы тонул! Ладынин и Лазовенка тоже пошли назад к речке.

На самой середине разлива, где проходило русло и где течение было особенно быстрым, вертелась небольшая лодочка. В ней сидели трое. На корме — инженер Соковитов с рулевым веслом в руках и с длинной жердью, которая лежала у него на коленях поперек лодки. На носу — средних лет женщина в зимнем пальто, в белом шерстяном платке, который очень её молодил. Это — Гайная, Катерина Васильевна, председатель соседнего украинского колхоза «Дружба». Она сидела неподвижно, с окаменелым лицом — как статуя.

Третьим в лодке был Максим Лесковец. Без шапки, в одной гимнастерке, он изо всех сил работал веслами. Соковитов пытался подрулить к берегу, в небольшой заливчик у колхозного двора, выбитый за много лет скотиной, но течение тащило лодку к противоположному берегу, и она кружилась на одном месте.

— У Гайной душа в пятках, — заметил Петя Кацуба, и парни дружно захохотали. Ладынин сдерживал улыбку.

— Сергей Павлович! Рулите к тому берегу, там тише. А оттуда — наперерез, — подавали советы парни.

— Максим Антонович! Давайте к мосту, здесь вам не пристать, — кричал Лукаш Бирила, заметно беспокоясь о своем председателе, и неодобрительно заворчал: — Черти. Шуточки им. Выкупаться захотелось. Эта Гайная как топор — сразу ко дну пойдет…

Но лодка вдруг, словно сорвавшись с якоря, быстро и ровно пошла в нужном направлении.

Катерина Васильевна выскочила первая, потянулась, по-мужски разведя руки, а затем совсем по-женски вытерла бахромой платка лицо.

Увидев Василя и Ладынина, рассмеялась.

— Ну и нагнали на меня страху ваши инженеры. Схотелось старой дуре покататься. Сидела и вспоминала, кому я осталась должна на цим свити. Здоров, Василек полевой! Добрый день, доктор.

— Здравствуй, Катерина Васильевна. Ты что это весну пугаешь.

— У мэнэ ангина, дорогэнький, щоб вона пропала. Житы нэ дае…

Соковитов и Максим с помощью хлопцев вытаскивали на берег лодку. Василь с улыбкой глядел на Гайную. Он всегда немного иронически относился к этой шумной женщине с её деланной простотой, старомодной, какой-то бабьей манерой обращения с людьми даже старше её — «соколик», «дорогэнький», с её женским упрямством. Но он уважал её за хозяйственность. Колхоз её не был ещё образцовым, во многом он, возможно, отставал от «Воли», но у Гайной были самые лучшие животноводческие фермы, и особенно коровы были у нее чудесные. Василь, сколько раз ни ездил в её колхоз, каждый раз завидовал, когда видел этих коров. Сначала ему казалось, что Гайная делает ошибку, подчиняя все остальное хозяйство ферме, животноводству. Но потом

он понял, что на такой земле, как у них, где лучше всего растут силосные культуры, это единственно правильный путь для поднятия колхоза.

Сейчас он был сердит на Гайную за её отказ продать «Воле» несколько племенных телок. Он думал ублаготворить её приглашением вместе строить гидростанцию. Она с радостью согласилась, однако телок так и не продала.

— Ты чого это, Василек, квитка луговая, дывышься на мэнэ, як кот на сало?

Василь засмеялся.

— Похорошела ты, Катерина Васильевна! Помолодела!

— Все одно для тебя стара.

— Однако на лодочке вы катаетесь с молодыми. Припомнят ещё вам эту речную прогулку, — сказал он с серьезным видом.

Гайная вперила в него удивленный взгляд.

— Кто?

— Жена Сергея Павловича.

Соковитов подошел и стоял рядом, закуривая. Улыбался. Василь заговорщицки подмигнул ему.

— Промахнулся, голубок. Раиса — моя хрестница.

— Большое дело — крестница! Однако откуда у вас столько крестников?

— Ты что, дорогэнький, женился?

— С чего вы это?

— Раньше ты был посерьезнее. Меньше о греховных делах думал.

— Весна.

— Разве что… А хрестников… Колы б ты знал, скильки их у мэнэ. Я тильки за цю вийну, може, сотню перехрестила…

— Вы? — удивился Ладынин, зная, что Гайная во время войны была в партизанах.

— Церква у нас была тильки в Пивнях, и попом там был наш партизан. А я весь час связь з ним$7

— Признайся, что сочинила на ходу, — засмеялся Василь. Гайная накинулась на него.

— Вот, ей-богу, правда. Да что с тобой, маловером, разговаривать! Ты сам себе раз в год веришь! — И, махнув на него рукой, обратилась к Ладынину; выражение лица и голос её изменились, она стала серьезна, солидна, как полагается человеку, знающему себе цену. — Игнат Андреевич, есть у меня до тебя просьба. Заболел один мой «хрестничек», тает хлопец, як свечка, а фельдшерица у нас, вы ж знаете, якая — молодо-зелено… А до района… Где он, наш район!

— Хорошо, Катерина Васильевна, — перевил её Ладынин. — Я поеду. Но на чем?

— За мной приедут, дорогэнький. Лучшего коня пришлют. Василь вздохнул.

— У вас же врач в Борках. Всего пять километров.

— А я, може, того не хочу. Я Игната Андреевича уважаю.

— Хорошо уважение! У человека нет ни дня ни ночи. Хоть разорвись на сто частей.

— Черствая у тебя душа, голубок. Когда дытына нездорова, за сто верст поедешь.

— Брось, Лазовенка! Я не люблю адвокатов, — нахмурился Ладынин. — Отдыхать я умею лучше тебя, напрасно ты беспокоишься, — и он сердито отошел в сторону.

Гайная насмешливо спросила у Василя: —Съел, голубок?

Максим Лесковец между тем в толпе колхозников дымил своей трубкой, лазил по штабелям, шутя спорил с молодыми хлопцами.

— Председатель! У тебя не люлька, а самовар!

— Приладь к ней кормозапарник!.. Хоть польза будет.

— И кто эло, черти, так работает? — он толкнул ногой бревно. — Только полбока ободрано, как у козы.

— Это Корней, все о ферме думает.

— О молочке!..

— Боится, что Клавдя без него с коровами не сладит. Бывший заведующий колхозной фермой, Корней Лесковец, краснел, сжимал кулаки, но молчал, — только поглядывал по сторонам и сопел. Человек он был с ленцой, и молодежь его недолюбливала.

Гайная остановилась против штабелей и, должно быть, уже забыв о своем разговоре с Василем, снова стала перед ним хвастать:

— Вон мои орлы як ворочают! — Хлопцы из её колхоза катили к штабелю бревна. — Похвали хоть разок, хозяин! А то для тебя все погано… Як вин гарно спивае! — Она заки нула голову и, приставив ко лбу ладонь, поглядела в небо. — Де вин?

Жаворонок звенел неутомимо. По небу плыли белые облачка. С освобожденных от коры бревен прозрачными каплями стекала смола; Люди сбрасывали ватники, шинели и работали: женщины — в одних пестрых кофточках, мужчины—в рубашках.

— Ой, быстро сохнет мати-земелька, — пела Гайная. — Быстро. Придется нам остановить стройку на время полевых работ. Не вытянем.

— Вот оно, Минович, какие настроения! — заметил Ладынин. — Нет, уважаемая Катерина Васильевна, мы и собрались сегодня, чтобы обсудить: как сделать так, чтобы работы на строительстве не прекращались ни на один день? — Ладынин тайком взглянул на Соковитова, тот стоял и молча смотрел куда-то вдаль, за речку, углубившись в свои мысли.

— Ой, тяжко будет! — вздохнула Гайная.

— Вот это и хорошо, что тяжко, — усмехнулся Ладынин. Подошел Лесковец и, узнав, в чем дело, решительно заявил, победоносно поглядев на Василя:

— Моих пятнадцать человек будут работать без отрыва!

— Ты, голубок, сеял хочь раз? Максим покраснел.

— Посеешь — узнаешь, чего стоит в это время кажна людына, особенно теперь, после войны.

— Только не пугайте, Катерина Васильевна! Мы не из пугливых. Сеяли и знаем. — Василь произнес последние слова сердито. — Я подсчитаю и докажу вам, что во время сева у вас ежедневно гуляет половина людей…

— Научился ты считать чужих людей.

— За сутки вода спала на семь сантиметров, — вдруг, прервав их спор, объявил Соковитов и задумчиво продолжал — Войдет речка в берега — вынесу проект на натуру и… просите специалиста в «Сельэлектро»… Я свое дело сделал. Чем можно было — помог. Больше не могу! Работа, квартира—все готово… Вот сколько получил за зиму писем, — он похлопал ладонью по разбухшему карману, хотя там были совсем не письма, а расчеты по строительству.

Из-за штабелей выехала повозка, в ней плечом к плечу сидели два человека и мирно беседовали. Лазовенка засмеялся:

— Глядите, Байков и Радник помирились. Кончилась игра в кошки-мышки.

По предложению Ладынина все они расселись тут же, на бревнах, и Василь Лазовенка объявил заседание межколхозного совета открытым.

5

С поля Маша вернулась поздно. Однако не пошла сразу в хату. Поднялась на крыльцо и присела на лавочке, прижалась к ещё теплой стене. На какой-то миг усталость сковала все тело, она сидела равнодушная ко всему, слышала, что делалось вокруг, но не воспринимала. Давно уже стемнело, хотя за речкой, на северо-западе, небо было светлое, голубое, без звезд, с розовой полосой над горизонтом. Редкие звездочки мигали над головой. Было душно. Над улицей ещё висела поднятая стадом пыль. А деревня была полна звуков. Возле школы дети играли в прятки, кричали и весело смеялись. Потом, должно быть, мальчика обидели, и он громко заплакал:

— Я ма-а-аме скажу-у!

Призывно мычали недоеные коровы; их хозяйки, видно, задержались на огородах. На колхозном дворе жалобно ржал жеребенок: кобыл погнали в ночное, а молодняк оставили — боялись волков. Голосисто, так что далеко в лугах отзывалось эхо, гоготали гуси. Звенел молодой девичий смех, радостный и манящий. А охрипший женский голос сердито звал:

— Федя, а Федя! Сколько я тебя просить буду! Ну, поганый мальчишка, не показывайся домой! Я тебе задам!

Забренчала и смолкла балалайка. В кустах у речки уже пробовал свой скрипучий голос деркач и заводили нестройный концерт лягушки. Где-то возле Добродеевки запели девчата. Этот далекий напев всколыхнул Машу, вывел из задумчивости. «Поют… Это Настино звено с поля возвращается. С прополки. Уже с прополки…»

Маша оторвалась от стены, потерла ладонями колени

ноющих от усталости ног, вздохнула, и мысли поплыли, как всегда, стремительные, напряженные.

Ох! До чего же это тяжелое дело — быть бригадиром! Весь день на ногах, от темна до темна. А результаты… В «Воле» уже полоть начали, а у нас… У нас ещё ранние не посеяны, а сколько картофеля, проса, овощей… Правда, в её бригаде дела значительно лучше, чем в других. Но разве может вытянуть весь колхоз одна её бригада? Да не так уж они хороши — и её дела. Разве можно сравнить с «Волей»? Там уже давно кончили сев… Уже всюду дружные всходы. А весна вон какая — сухая, ни одного дождя. В поле не продохнешь от пыли, на пригорках ветры выдувают землю, и зерно лежит на поверхности, сохнет и не прорастает. В такую весну на какие-нибудь два дня поздней посеешь — и на два центнера меньше снимешь. Но почему они так отстают? В чем причина? Она знала: причин много, общих для всех, о них пишут в газетах, говорят на собраниях. И она не хотела о них думать. Её интересовал один вопрос, и она каждый раз после таких размышлений снова возвращалась к нему. В чем сила Василя? Почему в «Воле» такой порядок, такая организованность, такой, как говорит Алеся, ритм в работе?.. Раньше, при Шаройке, она на этот вопрос отвечала просто: сила эта в том, что председатель душой болеет о колхозном хозяйстве, а не думает о собственной наживе, как Шаройка.

Но Максима нельзя упрекнуть, что он не заботится о колхозном добре, а думает о своем. Маша убеждена, что он не меньше Василя хочет сделать свой колхоз передовым. В самом деле, он прямо-таки, как говорится, горит на работе, особенно после того открытого партийного собрания. Так почему же его хорошие намерения не приводят к таким же хорошим результатам?

Ей очень хотелось, махнув рукой на бабьи пересуды, сходить к Василю, расспросить обо всем, по-дружески посоветоваться, побывать на совещаниях, на заседаниях правления, походить с ним по полям. Ей казалось, что,

если б она выяснила, в чем секрет, она нашла бы способ передать его Максиму и заставила бы его вести дело так, как ведет Лазовенка.

Она в душе сердилась на Василя за то, что тот в последнее время редко наведывается, не интересуется делами их колхоза.

«А ещё член райкома».

Она не знала о крупном разговоре, который произошел между ним и Максимом, когда тот после всех своих заверений все-таки снял людей со строительства гидростанции.

А тут ещё болезнь Игната Андреевича...

«Нет, нет! Больше так нельзя! Надо что-то делать. Районные представители нас забывают, относят к числу «крепких середняков». А на деле середина эта совсем ненадежная...»

На той стороне улицы послышались голоса. Маша узнала Максима и Шаройку. Через минуту у дома Шаройки скрипнула калитка и сонно отозвалась собака.

У Маши неприятно, больно сжалось сердце.

«Вот она — причина. Опять повел, чтоб напоить... Поль зуется его слабостью... Хочет доказать, что выше поднять колхоз нельзя, чем поднял он — Шаройка. Как Максим не понимает. Как можно не понимать!..»

Сгущалась тьма. В небе загорались звезды. Деревня постепенно затихала. Только неподалеку плакал мальчуган, должно быть тот самый Федя, которому здорово попало от матери за то, что долго не шел домой. За хатой в хлеву пережевывала жвачку и тяжело вздыхала корова. Маша ласково подумала: «Трудно тебе? А ты скорей телись. Тебе будет легче и нам хорошо. А то мы всю весну постничаем».

Мимо хаты прошла женщина. Миновав крыльцо, остановилась, стала вглядываться.

— Ты, Маша?

Маша узнала голос, вздрогнула.

— Я.

Сынклета Лукинична поднялась на крыльцо, присела рядом.

— Одна сидишь? — И, должно быть, почувствовав неловкость своего вопроса, поправилась — спросила ласково и сердечно: — Заморилась? — и положила руку на плечо, обняла.

От этой сдержанной ласки Маше стало себя жалко, под горло подкатился соленый комок.

— Устала, — откровенно призналась она и, помолчав, добавила — Устала, тетя Сынклета. Бегаешь, бегаешь…

— А я по тебе соскучилась. Давно уже мы не сидели вот так с тобой, не беседовали, как прежде… Помнишь?.. Каждый день вижу и все издалека. И обидно мне… Почему это ты меня обходишь, на работу не зовешь. Неужто я в коллективе лишняя стала? Или, может, думаешь — работать разучилась?

— Ну что вы, тетя Сыля! Я думала, вам возле своей хаты дела хватает. Нам вот всем колхозом построили, а вы сами… Надо и присмотреть, и рабочих накормить…

— Да нет их сейчас, рабочих… Ведь он же, как только снял людей со станции, так и со своей хаты разогнал всех — и своих колхозников, и свата Егора из Ясокорей. «Не хочу, говорит, чтобы пальцами тыкали». — Она замолчала и, вздохнув, сказала — И ему тяжело, Машечка. Не знаю, когда и спит. Бегает день и ночь. Злой.

— А толку мало.

Сынклета Лукинична долго молчала. Ей было больно за сына; только она, мать, знала, как он работает, как принимает все близко к сердцу. Но и Машу обидеть ей

не хотелось, и, подумав, она кротко согласилась:

— Маловато. Но не все же сразу, Машенька...

— Сейчас опять пошел к Шаройке...

Плечи матери дрогнули, как от холодного прикосновения.

— Дружка нашел, советчика... Пока он не перестанет слушать Шаройку, толку не будет.

Сынклета Лукинична минуту помолчала, потом тоже вдруг заговорила суровым тоном:

— А я, Маша, и тебя виню. Ну, пробежала между вами кошка. Я знаю, что он виноват... Молодой, горячий... Но ведь ты девушка. Неужто не можешь простить? Ты же знаешь, он гордый, и сам теперь, может, никогда не заговорит...

— Он гордый, а я, по-вашему, не гордая? Нет, тетя Сынклета, я тоже гордая: просить не пойду, — сказала она и сама испугалась своих слов.

Сынклета Лукинична вздохнула и сняла руку с плеча девушки.

— Гордости у вас у всех много, а вот ума иной раз не хватает.

— Вы на меня не обижайтесь, тетя Сыля. Я с вами, как с родной матерью...

На руку Маше упала горячая материнская слеза, но девушке почудилось, что не на руку, а на сердце упала она — так больно оно сжалось. Хотелось чем-нибудь утешить старушку, но не находилось нужных слов. И они долго сидели молча, прижавшись друг к другу.

— Так ведь и я от души, — наконец произнесла Сынклета Лукинична. — Я только о том, как бы оторвать его от этого... Амельки...

— Ничего, скоро он поймет, — уверенно сказала Маша и, кажется, сама в это поверила.

Отворилось окно, из него выглянула Алеся.

— Это ты здесь, Маша?

— Ну, я пойду, Машенька. Доброй тебе ночи. Так смотри не забывай обо мне—кличь на работу.

Алеся сидела за столом, обложившись книгами, подперев кулаками щеки. Она внимательно поглядела на Машу, когда та вошла, глаза её сияли. Вообще вся она была какая-то светящаяся, чистенькая, с мокрыми волосами, в хорошеньком платьице с короткими рукавами. Маша в последнее время часто любовалась ею и думала: «Какая она вдруг стала красивая!»

На полу спал Петя (на лежанке, где было его место зимой, стало жарко). Он лежал, широко раскинув руки, голова его сползла с подушки на сенник. Спал он одетый; из длинных обтрепанных штанин выглядывали черные, потрескавшиеся ступни, рукава рубашки были засучены. На всем на нем — на руках, на шее, на лице — грязными пятнами лежала пыль.

Маша встала на колени, положила его голову на подушку, ласково погладила по волосам.

— Вон он какой, твой славный рыцарь! Полюбуйся. Предложила помыться—раскричался на весь дом: «Хорошо тебе в тенечке с книжкой сидеть. Пошла бы поработала на поле, так знала бы». Фу, — Алеся обиженно фыркнула. — Как будто я не работала.

Алеся имела основания обижаться на брата, — она работала не меньше его: раньше вставала, топила печь, пока Маша раздавала наряды на работу — готовила завтрак и обед; бежала за восемь километров в школу, вернувшись из школы, работала у себя на огороде и вдобавок ко всему старательно готовилась к экзаменам, до которых оставались считанные дни.

Но в сердце у Маши была материнская нежность к

Пете, особенно сегодня, и она миролюбиво сказала:

— Ты на него не обижайся. Он сегодня четыре нормы выполнил. Если б все так работали!..

Но Алеся уже разошлась, вскочила из-за стола, и успокоить её было невозможно.

— И десять норм не дают права ложиться в постель в таком виде! Неужели трудно помыться?

— Да он два раза купался в речке!

— Ты его, пожалуйста, не защищай. Ты тоже хороша! Я каждый вечер грею для вас воду, а каждое утро выливаю. В каком виде ты ходишь? Стыд! Почему ты носишь это старье и жалеешь надеть хорошее платье? На какой случай ты его бережешь?

— На работу? В пылищу? Для чего это нужно? — пожала плечами Маша.

— Ты должна быть красивой.

— От платья не похорошеешь.

— Неправда! — не сдавалась Алеся. — Помнишь, у Чехова? У человека все должно быть красивым: лицо, голос, одежда. А у тебя? Брови выгорели, нос облупился, а юбка, — Алеся вскочила с кровати, остановилась перед сестрой, критически оглядела с ног до головы и кисло поморщилась.

Маша чувствовала, что её начинает злить это очередное чудачество сестры, но старалась сдержаться.

— Тебе навоз не приходится растряхивать, и ты имеешь полную возможность одеваться, как полагается бригадиру лучшей бригады.

— Оставь, пожалуйста!

— Не оставлю! Не перевариваю твоего Лесковца, но за одно уважаю: идет человек — любо поглядеть, никогда

не жалеет надеть самое лучшее. Ты должна ходить так, чтоб парни глаз не могли отвести.

— Ну, знаешь… не до того мне…

Алеся театрально развела руками и присела.

— Скажи-ите пожалуйста, какая старушка! Не до того! Глупости! Одна неудачная любовь — и ты повесила нос. Стыдись!

Машу рассмешили эти её по-детски наивные слова, и злость сразу сменило шутливое настроение.

— Одним словом, с сегодняшнего дня я беру над тобой «парфюмерно-косметическое шефство». Недаром мать Павлика грозится, что в городе я стану самой страшной модницей, — Алеся захохотала и направилась к стоявшему между кроватью и печью сундуку, подняла крышку.

— Вот. Я купила тебе лучшего мыла, самого Гольдина просила привезти, одеколон, крем… «делает кожу белой, мягкой, эластичной».

— К чему эта ненужная роскошь?

— Не роскошь, а гигиена. Ездишь в райцентр, а объявления в окне парикмахерской прочитать не можешь.

Маша смеялась от души, как уже давно ей не приходилось, и от полноты чувств с нежностью обняла Алесю:

— Милая ты моя! Скучно нам будет, когда ты уедешь…

— В Москву, — подсказала Алеся.

— Все равно куда.

— Не все равно, а в Москву. В Москву!

Вероятно, ни разу ещё Маша после тяжелого трудового дня так старательно и с таким удовольствием не

мылась. Она терла руки, лицо, волосы душистым мылом, брызгалась водой и смеялась. Алеся поливала ей на голову теплую воду и продолжала солидно рассуждать:

— Шутки шутками, но я над этим серьезно думала. У нас в классе целый диспут был… Втянули в него преподавательниц и мальчишек, которые удивительно консервативны в этом вопросе… Сами, черти, глаз не сводят с Нины Беловой, которая лучше всех одевается, а доказывают прямо противоположное… Знаешь, о чем я мечтаю? Увидеть тебя в платье из какого-нибудь там панбархата, крепдешина или ещё какого-нибудь шина… И чтоб сшито было не нашей «мастерицей на все руки» Лизой, а действительно хорошим портным.

Маша забыла обо всех своих заботах и мучительных переживаниях. Ей было легко, радостно, приятно, точно она сбро сила с плеч тяжелый груз. Поужинав, они легля в постель, и Алеся долго читала вслух Лермонтова, читала хорошо, мастерски:

Лишь Терек в теснине Дарьяла,

Гремя, нарушал тишину;

Волна на волну набегала,

Волна погоняла волну.

Маша, закрыв глаза, слушала как зачарованная и представляла неведомую, дивную природу и созданных поэтом необыкновенных людей. Незаметно картины воображения превратились в чудесный сон: она сама блуждала среди сказочных гор. Алеся осторожно потушила лампу.

6

Солнце только что показалось из-за сосняка. Большой пунцовый шар стремительно катился навстречу одинокой утренней тучке, которая, как бы испугавшись, что опоздала, быстро падала вниз, за горизонт, и таяла

там в пламени восхода. Пламя это, проглотив тучку, постепенно бледнело.

Заблестела роса; под лучами солнца озимь и молодая трава стали алюминиево-белыми, жаркими и сухими на взгляд, только там и сям пролегли по ним ярко-зеленые мокрые дорожки — следы человека или зверя. Стадо было ещё на выгоне, коровы жадно хватали из-под изгороди траву, недовольно мычали, предприимчивые телки забирались в посевы. Кричали пастухи, щелкали кнутами. Птицы радостно приветствовали новый день: звенели в вышине жаворонки, суетились у скворечен в садах и над крышами скворцы и неутомимо летали — то высоко в небе, то над самой землей — быстрые ласточки.

Из труб подымались к утреннему голубому небу почти прозрачные столбики дыма: хозяйки топили печи наскоро, сухим хворостом.

В Добродеевке в этот утренний час на колхозном дворе уже толпился народ; колхозники, получив от бригадиров наряды, группами и поодиночке направлялись в поле. Но в Лядцах на улице было ещё пусто, только заспанные девчата бежали с ведрами к колодцам.

Один только человек работал — Шаройка, Правда, не в одиночку, а вместе со всей семьей — сажали картошку за своей хатой в молодом саду, в котором вишни и там и сям разбросанные яблоньки уже стояли в белой пене густого цветения. Сам Амелька пахал, старая Ганна проворно раскидывала свежий, видно только что вывезенный из хлева, навоз; Полина, заспанная, злая, небрежно кидала в борозду картошку и то и дело вытирала о цветистый фартук испачканные землей руки. Шаройка, проходя мимо, недовольно косился на дочь и, наконец, не выдержал, просипел:

— Ты ровней кидать можешь? Интеллигенция!

Конь шел довольно быстро, но Шаройка все время шепотом, точно украдкой, сердито подгонял его, дергал

вожжи:

— Но-о, ты! Чтоб тебя волки разорвали!!

Послав колхозному коню такое «приятное» пожелание, он озирался по сторонам. И вдруг, оглянувшись, он даже вздрогнул и выпустил ручки плуга: в трех шагах от него, опершись на плетень (мимо его усадьбы проходил к речке переулочек, который Шаройка всегда проклинал), стояла Сынклета Лукинична.

— Доброго утра, сосед.

— А-а, — протянул он вместо ответа на её слова и схватил вожжи. — Тпрру-у! Чтоб тебя... Доброго здоровьечка, Лукинична, доброго... А утро—душа поет...

— Оно так... Особливо за работой. Шаройка завертелся, как пойманный вор.

— Да тут, видишь ли, пара соточек... Дай, думаю, покуда на колхозную работу... Потому днем, понимаешь, дохнуть некогда... Ведь лопатой — сколько спину гнуть, а так — десять минут, и мой руки...

Сынклета Лукинична смотрела на него сурово, в упор, и он прятал глаза — глядел под ноги, чистил кнутом плуг.

— Что ты мне, Амелька, зубы заговариваешь! Добрых два часа уже работаешь и ещё вон на сколько хватит... Пара соточек!..

— Два часа?! — Шаройка, до этого говоривший чуть не шепотом, закричал удивленно, с возмущением — Это тебе, Лукинична, не иначе, как злые языки нашептали, потому сама ты такой несправедливости сказать не могла. Да два часа назад ещё темно было... Темно, брат, темно...

— А ты от темна и пашешь, — сурово ответила женщина. Шаройка оглянулся на жену и дочь, стоявших поодаль возле мешка с картошкой, и махнул рукой.

— Э-э, от темна, так от темна... Людей не переспоришь... И я не краду... Нет. На своем работаю. А на лошадь я получил разрешение от Максима Антоновича. — И неожиданно совсем другим голосом — ласковым, дружеским — спросил: — Спит ещё хозяин?

— Спит.

Он поднял глаза на Сынклету Лукиничну с надеждой, что напоминание о сыне смягчит её душу. Но то, что он увидел в её глазах, ледяной волной ударило его по сердцу и породило желание спрятаться, провалиться сквозь землю. Надвигалась гроза... Минута — и слова, точно град, полетели ему прямо в лицо.

— Слушай, Амелька, если ты ещё хоть раз заманишь его к себе выпивать, так и знай — десятому закажешь... Я найду на тебя управу, бессовестный ты человек. Я до райкома дойду, а словам матери везде поверят. Ты за поллитровку хочешь купить разрешение целую ночь на колхозной лошади обрабатывать свой незаконно захваченный гектар? Ты хочешь угощениями привадить его к своей дочке... Ох и поганый же ты человек!

Пока он собирался с мыслями и отваживался поднять глаза, её уже у плетня не было. Сынклета, Лукинична шла переулком к речке, выпрямившись, гордо подняв голову.

Брошенный конь обгрызал молодую яблоню. Увидев это, Шаройка изо всей силы огрел его кнутом, затем отчаянно выругал ни в чем не повинных жену и дочку. Полина заплакала и, швырнув корзинку и сорвав передник, убежала в дом. Участок в саду остался недосеянным.

7

За утро Маша обошла почти все поля бригады и даже, как обычно, заглянула на участок «Воли» — чтоб сравнить. Ранние посевы дружно набирали силу, кустились, густели и были немногим хуже, чем у соседей. Более поздние дали всходы редкие, хилые.

Земля просила дождя.

Маша с болью в душе думала об участках первой и третьей бригад, где сев яровых начали только вчера и будут сеять невесть ещё сколько дней.

Помочь бы им. Но чем? И так из её бригады по приказу Лесковца лучших лошадей перебросили в бригаду Шаройки.

«Нет, надо поговорить с людьми, чтоб за два дня кончить картошку и все-таки им помочь», — решила она и направилась в ту сторону, где были видны колхозники, лошади и повозки. Почти вся её бригада работала на посадке картофеля. Мужчины развозили навоз, сложенный в поле ещё зимой, разбрасывали калийную соль, подвозили картошку, парни помоложе ходили за плугами, а женщины и девчата сажали. Работали дружно, весело — с гомоном и шутками. Её встретили приветливо; кто утром не видел — здоровался, молодежь опять-таки подшучивала:

— Маша, ты нас должна премировать!

— Медалью из картошки, — засмеялась Маня Лобан, низенькая курносая девушка, по прозванию «Коза».

— Сама ты картошка, Коза. Вон и нос на солнце испекся! — подсек её Гришка Грошик, лучший в деревне балалаечник и большой насмешник.

Девушка стыдливо прикрыла косынкой нос. Подошел пожилой колхозник Левон Гайный.

— Ты, Маша, им, чертям, по три трудодня скинь. Они только вокруг девок увиваются.

— А тебе завидно, а? — закричали парни в один голос.

— Он сам с Ганны глаз не сводит.

— Ему женка каждый вечер клок волос вырывает. Вон как облысел.

— Мы ещё ей откроем твои грехи. Погоди.

Левон испуганно оглянулся — далеко ли женка? Хлопцы захохотали.

— Ну и языки, чтоб вам… Маша прошла по участку.

— Навозу мало, мужички.

— Мария Павловна, что ты! Никогда столько не клали.

— Так ведь никогда не боролись за такой урожай… Ой, вижу, подведете вы… А мы слово дали…

— Ни разу не подводили, Маша, и не подведем, можешь быть уверена. Да что мы — сами себе враги, что ли?

— Ого, если б нам вырастить такой урожай! Какой трудодень был бы!

— Вырастим, только давайте больше навоза, особенно там, в низине, — она показала рукой. — Вывезите туда всю навозную жижу из ямы, что у конюшни.

— Не хватает тягла, товарищ бригадир.

По одному подходили мужчины, окружили её.

— А я хотела поговорить с вами насчет того, чтоб завтра закончить.

— Всю картошку? — дед Явмен Лесковец покачал головой. — Не по плечу задачу задаешь, дочка.

— Дедушка, сами же вы говорили, что большевики все могут.

— Говорил и теперь скажу… И оно, конечно, можно, — старик окинул взглядом мужчин, как бы ища поддержки. — Можно бы… Да вот кони… Пристают… Потому ведь это не машины. Трактор и тот вон стоит.

— Надо кормить в борозде, товарищи. Обязательно, — не посоветовала, а потребовала Маша. — Буду проверять. А то вчера жена Устина, вместо того чтоб

понести траву лошадям, отнесла своей корове.

— У Лазовенки жито косят на корм. Специально для того сеяли. Зеленый конвейер, — заметил Петя, Машин брат.

— Да, братки, жито — по колено, раннее. Я увидел, так у меня аж сердце зашлось: такое богатство, а они косят.

— Зато у них кони по гектару вспахивают и коровы по ведру молока дают.

— Однако, чтоб косить такое добро… Жизнь прожил, а не слыхал.

— А что ты слыхал за свою жизнь, дядька Устин? — блеснув глазами, спросил Гришка Грошик.

Устин, маленький человечек с бородавкой на щеке, в зимней шапке, почуял в этом вопросе каверзу и погрозил парню кнутом.

— Так закончим завтра, мужики? — весело спросила Маша.

Несколько человек из тех, что постарше, степенно переглянулись, как бы взглядами решая вопрос. Молодежь снова отвечала шутками:

— Будем стараться, товарищ командир! — Ляжем костьми, а сделаем…

— Девчата подведут. Надо их подтянуть, Маша!

— Очей с нас не сводят…

— С тебя? Ох и красавец! То-то, я гляжу, все они по тебе сохнут…

Андрей Акулич, рыжеватый парень, с густо усыпанным веснушками лицом, смутился и спрятался за спину деда Явмена.

Маша знала, что это не просто шуточки, пустое зубоскальство, это — славный, молодой, задорный ответ

на её вопрос. Она была уверена, что эти любители шуток и насмешек в работе никогда не подведут. Такие, как её брат Петя, как этот смешной Андрей, ночь проведут в поле, а сделают что пообещали. Оттого настроение у нее стало как это солнечное утро — светлое, ясное. Она с наслаждением вдыхала влажный запах вспаханной земли. Ветер, сильный и теплый, рвал у нее с головы косынку. Маша придерживала её рукой, жмурилась от солнца и весело смеялась вместе со всеми.

Возле женщин, которые, воспользовавшись перерывом в работе, тоже собрались в кучку, она задержалась ненадолго. Ей не понравилось, что они с излишним интересом; рассматривали её. Она в душе ругала и Алесю И себя за то, что та сагитировала её, а она, дура, согласилась в рабочий день надеть платье, которое до тех пор носила только в праздники. Сколько теперь среди женщин будет пересудов и догадок! На целый день хватит разговоров. Но потом она решила нарочно каждый день одеваться вот так, по-праздничному. В таком виде она сама себе нравилась.

Отсюда Маша направилась к трактору. Он должен был вспахать площадь под гречиху и уже который день пахал одним загоном участки двух бригад. Но сегодня трактор с самого утра стоял. Маша заметила, что не слышно его ровного гудения, ещё когда только проснулась и вышла из дому. И это беспокоило её все утро, она рвалась поскорей пойти на поле и узнать, в чем дело. Вспахать здесь надо было не откладывая, так как на этом участке не была поднята зябь.

Трактор стоял в низине у болотца, окруженного ольховыми кустами. Немного дальше, на взгорке, виднелись бочки с водой и керосином — место заправки.

Маша подошла незамеченная.

Под моторной частью лежал — видны были одни ноги в синих спортивных тапочках — бригадир тракторной бригады Михаила Примак. Он стучал ключом, свистел и

время от времени нараспев ругался довольно-таки сочными и крепкими словами. Маша чуть-чуть не расхохоталась. Тракторист Адам Мигай, крепкий, кряжистый и молчаливый, что-то старательно заклепывал с другой стороны машины. Увидев его, Маша вспомнила забавный случай. Как-то, ещё в прошлом году, Адам встретил её в Добродеевке и ни с того ни с сего, без каких бы то ни было предварительных разговоров, вдруг предложил: «Выходи за меня замуж, Маша». Сказал и сам смутился.

Обернувшись и увидев девушку, тракторист подошел и молча стал толкать ногой бригадира. — Что там у тебя?

— Вылазь! — крикнул Мигай.

Примак проворно вылез и, нисколько не смутившись, поздоровался:

— А-а, коллега по должности… Доброго утра.

— Добрый день.

— Ох, день-денек! — Он поглядел на солнце и начал вытирать паклей руки.

— Стоим?

— Стоим. Но не говори таким замогильным тоном. Стоим, но не падаем духом. Правильно, Адам? Мы тебя, Маша, не подведем. И ты на нашего гвардейца не обижайся. — Примак кивнул на машину. — Это герой. Дай бог нам с тобой так послужить трудовому народу, как послужил он. Я на нем пахал ещё в тридцать четвертом. А погляди, сколько он наворочал за весну!

Ветер заносил назад пустой рукав его синего замасленного пиджачка. Примак поймал рукав и засунул его в карман.

— А вообще, Маша, ерунда получается. В «Воле» «Натику» уже нечего делать — масштабы малы, а тут, вот — пожалуйста… Я бригадир, командир трех

машин… А какой я к черту командир? Позвонил Крыловичу, чтоб перебросить «НАТИ» в «Партизан» — ничего подобного… Какой-то дурацкий принцип. Ни дьявола не понимаю. То он видеть не; мог Лазовенку, то вдруг стал его лучшим другом и защитником. Хотел сделать это без него, — Лазовенку какая-то муха укусила. Выходила бы ты, Маша, замуж, пусть бы уж они помирились скоре Й…

Адам, который стоял, опершись на колесо, и внимательно слушал бригадира, при этих словах моментально исчез за трактором.

Маша вспыхнула. Никогда ещё и никто стычки между Василем и Максимом не объяснял их отношением к ней. Она разозлилась:

— Не болтай глупостей, Михаила. Скажи лучше, когда трактор пойдет!.

— Трактор пойдет через час. Не больше. Жаль, что ты сегодня такая праздничная, а то помогла бы нам: поднять одну штуку.

— Давай.

— Нет, нет. Не позволю, — он отстранил её рукой, потом взял ключ и начал отвинчивать гайку. — А знаешь, Лазовенка — крылатый человек. Умница! Вот хотя бы его мечта о таком колхозе, в котором работал бы не один какой-нибудь искалеченный «ХТЗ», а целая тракторная бригада, а то и две. Мне бы в такой колхоз! Вот где бы я дал разворот, ей-богу, дал бы! Адам, дали бы?

— Угу! — коротко отозвался тракторист.

— А то одна бригада на два сельсовета! Дай иному колхозу такой корабль, как в «Воле», а ему там и делать нечего. — Он взглянул на Машу и вдруг рассмеялся: — Пригласи меня в сваты, мигом организую…

Она махнула на него косынкой:

— С тобой говорить — пуд соли съесть надо, А я ещё не завтракала.

— Вот это зря... Подгони там Лесковца, чтоб скорей за горючим послал. С сегодняшнего дня будем работать по двадцать часов в сутки.

Председателя колхоза она встретила у его двора. Максим стоял возле землянки и смотрел на свой недостроенный дом. На чистых, тесаных бревнах стен янтарем светились редкие сучки, залитые смолой. Над белой, словно только что тщательно вымытой гонтовой крышей попискивал, поворачиваясь под дуновением ветра, жестяной флюгерок. Слепо глядели в солнечный день пустые проемы окон. Оттого, что два из окон, выходивших на улицу, уже готовы были принять рамы, а в третьем сиротливо торчал только один подоконник, да и тот не совсем ещё подогнанный, как-то особенно чувствовалась несообразность того, что в доме не слышно было стука топоров, голосов рабочих. Кругом в беспорядке валялись бревна, доски, шелевка. Сильно пахло сосной.

Максим стоял, засунув руки в карманы, жмурясь от солнца, и сосал трубку, которая, должно быть, давно уже погасла.

Маша понимала его чувства, и ей стало его жаль.

«Надо ему сказать, что напрасно он разогнал рабочих. Никто ему за дом дурного слова не сказал бы... А вот что к Шаройке наведывается... А в колхозе до поздней осени работы хватит. Так неужто же председателю колхоза из-за этого жить в землянке? Надо будет на правлении поговорить...»

Увидев Машу, Лесковец вынул изо рта трубку и выбил её о голенище. Приветливо улыбнулся.

— Как дела, Маша?

— Кончаем картошку.

— Кончаем?

— Завтра думаю закончить.

— Завтра? — Он искренне удивился. — Шутишь?

— А ты иди погляди сам.

— Молодчина! Никогда не думал, что у тебя такие организаторские способности. — Он только сейчас заметил, что она в новом платье, и внимательно разглядывал её с головы до ног.

Маше даже стало неловко, и она сама невольно взглянула на свои ноги.

— А ты молодеешь.

— А чего мне стареть? — Ей стало весело, и она не сдержала улыбки.

— Да… — Он вздохнул, на лбу у него собрались мелкие морщинки. — Да… А вообще стареем, Маша. Черт его знает, как жизнь летит. Прямо не угонишься…

«Что правда, то правда», — подумала Маша.

— Не можешь всего охватить, делаешь глупости, а потом, — он на мгновение заколебался — говорить ли это последнее слово? — каешься…

Это был шаг к примирению. Но у Маши даже не дрогнуло сердце, только на светлую её радость точно упала тень — в душе снова зашевелились боль и обида за все, что она из-за него пережила.

«Не ты ли это снова мать подсылал?» — подумала она, но тут же отогнала эту мысль: не могла она подозревать в хитрости Сынклету Лукиничну, старуха сказала бы ей правду, как в тот раз, когда её послали от Шаройки. Чтобы не отвечать на главное, Маша задумчиво повторила его слова:

— Жизнь летит. Верно. — И как бы спохватившись, добавила: — Но отстают от жизни только слабые.

Продолжить разговор им помешал Шаройка. Он появился неожиданно. Он всегда появлялся неожиданно, и у Маши уже выработался своеобразный рефлекс на его появление — ощущение настороженности, предчувствие какой-нибудь неприятности.

Шаройка поздоровался и вытер ладонью пот со лба и шеи; у него был такой вид, будто он только что пробежал несколько километров.

— Ну, брат, не люди, а нехристи... Хоть кол на голове теши! Все утро из хаты в хату бегаю, что твой почтальон. Просто разбаловался народ: до восьми спят, до десяти завтракают. Опять Акулька ещё только блинцы печет, — должно, до обеда будет печь топиться.

Максим покраснел, гневно сверкнул глазами и решительно сунул в карман трубку, которую начал было набивать.

— Я ей помогу вытопить! — И двинулся на улицу.

— Максим! — Маша окликнула его таким суровым голосом, что он невольно остановился и, обернувшись, встретил её ещё более суровый взгляд, в котором были осуждение и укор. — Шаройка сводит старые счеты и толкает тебя на глупости. Стыдись!

Она знала, что он может сделать. Был уже один такой случай, когда он, зайдя в хату к хозяйке, которая поздно завозилась у печи, схватил ведро и залил огонь.

Об этом случае, с разными добавлениями, долго рассказывали, подсмеивались. Но у Маши он вызвал не смех, а чувство боли, обиды за человека.

— Э-эх, Марья Павловна, — не произнес, а как-то проскрипел Шаройка.

Тогда и Максим, который было на мгновение растерялся, пришел в себя.

— Ты мне не указывай!

— Вспомни о Гаврилихе! Если ты ещё раз сделаешь такую глупость, я первая….

Маша не окончила, но по голосу и по выражению лица Максим очень хорошо понял, что она тогда сделает, и остановился: переступил с ноги на ногу, сильным, ударом отбросил пустую банку из-под консервов, вытащил из кармана трубку, оглянулся и, потупив глаза, сел на березовую колоду у окна землянки.

Минуту тянулось неловкое молчание. Потом Шаройка тяжело вздохнул.

— Эх, работка, работка, чтоб ей добра не было… От темна дотемна, как тот маятник, ей-богу, как маятник, во все стороны… А в благодарность…

— Какая работа, такая и благодарность. — Маша с ненавистью смотрела на него, никогда ещё она так не возмущалась Шаройкой, как в этот раз. Она еле сдерживалась, чтобы не высказать ему всего, что она о нем думает, что говорят о нем женщины в поле.

Максим решительно постучал трубкой о колоду и командирским голосом приказал:

— Товарищ Кацуба! Передашь сегодня Верблюда, Ясного, Чайку в бригаду Шаройки.

«Опять Шаройке трех лучших лошадей?» Маше даже дышать стало трудно. Она спросила почти шепотом:

— Это почему же?

— Ваша бригада, ты сама говоришь, завтра кончает картошку, а у них — непочатый край…

— А по чьей вине?

— Мы не будем сейчас разбирать, по чьей вине, — Максим повысил голос. — По нашей, общей… Надо думать обо всем колхозе.

— Я думаю обо всем колхозе. Кончим — поработаем и

за них, если Шаройка не мог организовать… А сегодня я лошадей не дам.

— Огнем буду выжигать эти частнические настроения.

— Выжги их сначала у Шаройки и у… себя.

Шаройка молча вздыхал и укоризненно качал головой: как тебе, мол, Маша, не стыдно обижать меня, старого и уважаемого человека?

Максим захлебнулся от злости, но заговорил тише:

— Покуда я председатель, колхозом управляю я. А то у нас и так черт ногу сломит… Каждый хочет быть начальником. Шаройка! Возьмешь лошадей!

— Лошадей я не дам! — решительно, растягивая слова, повторила Маша.

— Правильно, Машенька, — из дверей землянки выглянула Сынклета Лукинична, которая, конечно, слышала весь их разговор. — Не давай! Амелька будет по ночам свою усадьбу обрабатывать… Нахватал и на дочку, и на сына… А потом на чужих лошадях хочет в передовики выйти. Постыдился бы, сынок, — укоризненно сказала она, обращаясь к Максиму.

Тот поглядел на мать и, не найдя что ответить, махнул рукой и поспешно пошел со двора. Шаройка, вздыхая, зашагал следом.

— Барсук, — презрительно прошептала ему вдогонку Сынклета Лукинична.

8

«Газик» быстро проскочил через переезд (дежурная пропустила одну райисполкомовскую машину и закрыла шлагбаум), круто повернул на шоссе, идущее вдоль железной дороги, и сразу же забуксовал, попав в глубокую, разбитую машинами колею, полную густой весенней грязи. Мотор злобно фырчал, колеса

разбрызгивали грязь, и она летела Белову на сапоги. Он придвинулся ближе к шоферу и, обернувшись к Макушенке, сидевшему на заднем сиденье, засмеялся:

— Ты, Прокоп, хитрец. Я думал, ты из скромности туда забрался.

— Как же, буду я под твою грязь садиться.

— Под мою?

— Показатель работы твоего дорожного отдела.
Машина рванулась и снова забуксовала.

— Напрасно ты нападаешь на дорожников. Они немало сделали.

— Но вот эта дорожка под самым, как говорится, носом у райкома и райисполкома — позор и для них, и для нас с тобой. Ты слышал, как колхозники нас поминают, когда подъезжают к этому месту? Советую послушать.

— Не все сразу. Всему свой черед. И так, посмотри, сколько сделано за три года! Вон зерносклад — любо поглядеть! — он показал рукой на длинное кирпичное строение под шиферной крышей. — А в сорок пятом — помнишь? — все хлебопоставки вот в этаком сарайчике помещались.

Секретарь райкома неодобрительно покачал головой.

— Увлекаешься ты, Леонович, своими достижениями. Не забывай: это вредная болезнь.

— Ну, брат, и прибедняться, как ты, не буду. Мы— третий район по области. И нам нет необходимости открывать, выносить на люди наши недостатки, как это сделал ты на областной конференции. Недостатки — они есть у всех. Сами мы, конечно, не должны о них забывать, но...

Машина попала в яму, и Белов стукнулся лбом о переднее стекло. Рассердился на шофера. — Ты что, в первый раз едешь, что ли?

Парень покраснел и поехал медленней, хотя после этой ямы дорога пошла ровная, сухая.

— Перед партией хитрить нельзя, Николай Леонович. На наших ошибках, как и на наших достижениях, должны учиться другие.

Белов, отвернувшись, поморщился. Но Макушенке хорошо было видно его лицо в маленькое круглое зеркальце.

— Ты говоришь так, как будто Белов когда-нибудь хитрил. Я двадцать лет в партии.

Макушенка промолчал, занятый какими-то своими мыслями.

По обе стороны дороги лежала старая вырубка с остатками редких трухлявых пней. Дальше, справа, широкой гладью блестело между ольховых кустов залитое вешней водой болото. Впереди, в каком-нибудь километре, начинался сосняк.

— Вот где наше богатство, Николай Леонович. Надо заставить Крыловича поднять осенью эту целину болотным плугом.

Белов молчал. Машина приближалась к лес.

— А про дорожку ты не забывай и мне напоминай. А то просохнет, и мы опять забудем до осени. Надо в первые же дни, как отсеемся, заняться ею.

Въехали в лесок, и дорога сразу стала песчаной. Мотор снова начал сердито фыркать, стрелять, из-под шин ручьем стекал сухой, как зола, песок.

Белов обернулся, проникновенно посмотрел Макушенке в лицо.

— Послушай, Прокоп Прокопович, я человек простой и люблю рубить сплеча. Твоего выступления на последнем бюро я не понимаю.

На лице секретаря райкома на миг отразилось удивление, он едва заметно пожал плечами и стал поправлять и без того безукоризненно завязанный галстук.

— Ты плечами не пожимай, а скажи по-партийному откровенно: недоволен?..

— Чем? Земельным отделом и отделом колхозного строительства — да. Я ведь сказал на бюро…

— Нет. Вообще… — Белов повернулся к секретарю лицом и показал пальцем на себя.

— Если б было так, как ты думаешь, то уверяю тебя, я не постеснялся бы уже давно сказать об этом во весь голос.

— Тогда за что же ты нас так распесочил? Погоди. Я работаю председателем райисполкома двенадцать лет, с разными секретарями работал и почти со всеми жил дружно…

— Разная бывает дружба, Леонович. Я хочу, чтобы у нас с тобой была настоящая, большевистская дружба.

— Я понимаю. Но знаешь, выработался уже некий этикет. Секретарь и председатель обо всех недостатках, разногласиях договариваются между собой.

Макушенка щелкнул языком, покачал головой.

— Этикет не совсем партийный, Николай Леонович. Однако, если хочешь, пожалуйста, договоримся с глазу на глаз. Но когда дело идет о путях развития района, уж прости, я буду говорить, критиковать любого работника на любом партийном заседании или собрании. И плох тот работник, кто на это обидится.

Белов отвернулся, сел прямо; лицо его приняло обычное выражение — веселого оживления. После долгой паузы сказал:

— Я, Прокоп, за критику никогда не обижаюсь. Солнце

подымалось прямо против них и своими яркими майскими лучами било в лицо, слепило лаза. Здесь, на сухом песке, среди сосен, осыпанных желтым цветом, оно казалось особенно жарким.

— Эх, дождик, — вздохнул Белов, вглядываясь в затянутый туманной полосой край неба. — Подводит, Прокоп Прокопович.

— Да, сухая весна. Надо скорей заканчивать сев.

— Вот именно скорей. А для этого надо штурмовать всеми наличными силами. Вызывать отстающих председателей на бюро и давать им, как говорят, жизни, чтоб прочувствовали и уразумели. Вот я сейчас Рыгоровичу прочищу мозги так, что надолго запомнит…

Белов не видел, с какой усмешкой слушал его секретарь райкома.

— А под вечер доберусь до Дубодела… А тебя я не понимаю. В такое горячее время первый секретарь отправляется в один колхоз. И в какой колхоз? В отстающий? Нет. В колхоз, который выбился в хорошие середняки, за который теперь можно особенно не беспокоиться… Знаешь, Лесковец мне больше нравится, чем этот твой профессор Лазо-венка. Простецкий хлопец, энергичный… Я как-то заезжал к нему, посмотрел и порадовался.

— А тебе не показалось, что он похож на некоторых наших районных товарищей? — хитро усмехаясь, спросил Макушенка. — Тоже энергичные работники, но их нужно держать под контролем и поправлять, а иначе они наломают дров.

Белов незаметно взглянул на шофера, потом повернулся к Макушенке и рассудительно произнес:

— Контролировать, Прокоп Прокопович, нужно всех. Без партийного контроля любой умник может ошибиться.

— Вот я и поеду, поживу, присмотрюсь к молодому

председателю, помогу ему, а там, гляди, и сам научусь чему-нибудь.

— Но в районе без малого сотня колхозов. И если в каждом проводить по три дня…

— Но в районе, Николай Леонович, не один только секретарь. Давай подсчитаем наших руководящих работников! На все колхозы хватит. Одним словом, я вижу, что нам надо будет как-нибудь серьезно поговорить о стиле руководства. Пора начать борьбу против гастрольных наездов.

— Правильно! — согласился Белов. — Но если вообще говорить о стиле, то мне хочется с тобой поспорить. Не все мне нравится и в твоем стиле.

— Вот это и хорошо, — засмеялся Макушенка, довольно потирая руки, — что тебе хочется поспорить.

Машина выехала на высокий взлобок, с которого как на ладони была видна Добродеевка. Там, где кончался сосняк, дорога раздваивалась. Шоссе, с телефонными столбами на обочине, вело в Добродеевку, проселочная, по опушке березовой рощи, — в Лядцы.

— Тебе прямо в «Партизан»? — спросил Белов.

— Нет, заедем к Ладынину. Проведаем старика. — Минуту помолчав, Макушенка прибавил — Жаль, что он заболел в такое горячее время. Был бы он здоров, за один сельсовет можно было бы не беспокоиться.

9

— Мне — помощь? — Маша увидела, как сразу переменился в лице Лесковец. Неестественно вытянулась шея, на которой вдруг вздулись вены — как будто ему стало трудно дышать. Он стоял, опершись ногой о толстое бревно, и курил трубку. Услышав эту неожиданную новость, выхватил трубку изо рта, снял с бревна ногу, выпрямился, не сводя глаз с секретаря райкома.

Макушенка сидел на другом бревне рядом с Лукашом Би-рилой и, казалось, целиком был занят тем, что сворачивал цигарку из самосада, которым угостил его заместитель председателя. Только Маша, стоявшая рядом, видела, как внимательно следит он исподтишка за Лесковцом, и догадывалась, что секретарь понимает его чувства, его душевное состояние не хуже, чем понимала это она.

Может быть, один лишь старый Лукаш встретил это известие безразлично. В ответ на взволнованный вопрос Максима Макушенка, как бы между прочим, не поднимая головы, заметил:

— Не тебе. Колхозу.

Максим перешагнул через бревно, махнул трубкой, засыпав всех табачным пеплом, искрами.

— Не нужна мне такая помощь! Не так помогать надо! Помощь доброго соседа! Лазовенка славу свою умножить хочет!.. — Он, должно быть, хотел выругаться, но вспомнил о Маше, повернулся к ней, со злобной иронией спросил: — Это что… ты просила помощи?

Впервые Маша растерялась под его взглядом и не знала, что ответить. Внезапная мысль, что и в самом деле получается так, будто она выпросила эту помощь, обещанную Лазо-венкой, смутила и даже испугала её. В ином свете видела она теперь свое утреннее посещение Ладынина. Имела ли она право одна, ни с кем не посоветовавшись, не попробовав выправить положение собственными силами, бежать к секретарю парторганизации?

Ведь есть же, в самом деле, какая-то гордость, какой-то своего рода колхозный патриотизм… А вдруг весь колхоз встретит эту помощь так, как вот встретил её председатель?

«Нет, нет, глупости это все! Я обязана была рассказать о наших делах Ладынину. А помощи я не просила. Но

если помогут — скажу спасибо и уверена, что и все так же».

Как бы в поддержку её мысли раздался спокойный голос секретаря райкома:

— Я не понимаю, Лесковец, чего ты горячишься. Тебе помощь не нужна, а колхозу она, возможно, нужна. Ты у колхозников спроси, посоветуйся. Почему ты все решаешь сам?

— Правда, Антонович, — неожиданно отозвался Бирила, — давай посоветуемся с людьми. Помощь соседа — не стыд. Сегодня — они нам, завтра — мы им.

Максим отчаянно махнул рукой и отошел в сторону, к берегу реки, стал над самым обрывом, широко расставив ноги и задумчиво устремив взор в воду.

Бирила вздохнул.

— Эх, молодость!

Макушенка улыбнулся ласково, спокойно, вкусно затянулся дымком цигарки.

— Скорей кончайте сев да беритесь за станцию. Секретарь, Маша и Бирила поднялись и тоже подошли к реке.

— Да... работенки тут, товарищ Макушенка, хватит. Сколько человек работало больше месяца — и, поди ж ты, никаких следов не видать, — говорил Бирила, оглядывая площадку.

— Почему ж! Следы есть.

Они шли по берегу... Заходило солнце. Огромный огненный шар поднялся над добродеевскими липами, вершины которых выглядывали из-за пригорка, и покатился по лугу, по мягкой, золотой от солнечных лучей траве. Алым пламенем горели заречные дубы; в этом удивительном освещении они казались какими-то сказочными богатырями, Деревенские ха-ты,

находившиеся в тени пригорка и соснового леса, выглядели, наоборот, маленькими, прижатыми к земле. А в вышине над ними расстилался бескрайний светлый простор. Было тихо. Не шевелился ни один листок на вербе, ни одна травинка. Воздух был неподвижен, душен, прозрачный над лугом и дымный от пыли над деревней и полем.

Максим догнал их, почти по-военному спросил:

— Я вам не нужен, товарищ Макушенка?

— Пожалуйста... Если у тебя дела — иди, занимайся ими. И вы, товарищи, не стесняйтесь, — обратился он к Маше и Бириле. — Я один здесь поброжу. Красиво у вас.

Макушенка пошел берегом вверх по течению и далеко за деревней в кустах неожиданно наткнулся на Соковитова. Инженер лежал в густой траве, смотрел на воду и задумчиво покусывал травинку.

Макушенка издали потихоньку наблюдал за выражением его лица и подумал с усмешкой: «Бьюсь об заклад, что тебе уезжать отсюда не хочется. Жаль бросать начатое дело. Ла-зовенка был прав. Что же, поможем тебе остаться...»

Он вышел из-за кустов. Соковитов увидел его и встал, чтоб поздороваться.

— А я вас весь день ищу, Сергей Павлович.

— Меня? — удивился Соковитов. — На что я вам? Макушенка, не отвечая на вопрос, предложил сесть, достал папиросы, поднес спичку.

— Красивое место, Сергей Павлович, — он кивком головы показал за речку, где стояли дубы и видна была зелень озимых.

— Место ничего. Но я вот пришел попрощаться... У меня болезнь — быстро и крепко привязываюсь к хорошим людям и красивым местам...

— Значит, уезжаете? Когда?

— Послезавтра. — И, со злостью хлопнув себя по щеке, чтоб убить комара, стал как бы оправдываться: — Уезжаю. Не могу. Не мой это размах. Я такие плотины за неделю строил, а тут… людей сняли… Один только Лазовенка и думает о строительстве. Да при этом, представляете себе, какое у меня положение. Ни определенной должности, ни оклада… Так… инженер-любитель, на иждивении у колхоза…

— Да-а, жаль, — протянул Макушенка.

— Что — жаль?

— Жаль, что вы послезавтра уезжаете. Первый секретарь обкома очень просил, чтобы вы к нему заглянули…

— Я? По какому делу?

— Точно не знаю.

— Хотите задержать? Признайтесь откровенно. Да ведь я на временном учете… Теперь уже никто и ничто меня не задержит. Я упрямый и решаю один раз.

Макушенка усмехнулся.

— Ей-богу, ничего не знаю, дорогой Сергей Павлович. Но жаль…

— Я могу задержаться и съездить.

— Если можете — пожалуйста… Я с вами письмо передам Павлу Степановичу…

Они после этого долго ещё лежали и беседовали о разных вещах — о севе, о международном положении, возмущались «доктриной Трумэна» и кровавыми расправами фашистов в Греции.

Разошлись, когда уже стемнело.

Максим, отойдя от секретаря райкома, направился в

конюшню, быстро оседлал жеребца и тропкой, задами двинулся в сторону Добродеевки. По деревне ехал шагом, а в поле погнал лошадь вскачь. В груди у него кипели непонятные чувства: какая-то сложная смесь оскорбленного самолюбия, обиды, злосги и упрямства и ещё чего-то, чему и названия не найти.

«Помощь. Ничего себе помощь! Засеют десять гектаров, а потом год будут пальцами тыкать: за вас Лазовенка сеял. Ну, дружок, не думал я, что ты хитрее самого черта. Но на мне не проедешь: где сядешь, там и встанешь. Я сыт по горло твоей высокоидейной помощью».

Он ехал с твердым решением поговорить «начистоту», выложить все, что он о нем, Лазовенке, думает, и не попросить, нет, потребовать, чтобы он отказался от своего намерения помочь «Партизану» закончить сев.

Возле сельмага мальчишки сказали ему, что председатель только что прошел за речку, в поле.

Наступала ночь, уже довольно сильно стемнело. Народ давно вернулся с работы, и Максим не понимал, что понадобилось Василю в такой час в поле. Его решимость поколебалась, и даже изрядно. А не унизит ли он себя перед Лазо-венкой этим разговором? А разумно ли то, что он собирается сделать? Не даст ли это повода для новых насмешек и подкопов с его стороны?

Он повернул лошадь назад… Но, доехав до конца сада, передумал и через сад выехал к речке, переехал её вброд. Издалека увидел одинокую фигуру человека, медленно идущего по тропке; светился огонек папиросы.

Максим соскочил с коня, повел его в поводу.

Лазовенка обрадовался Максиму и нисколько не удивился, как будто ожидал его.

— Жаль, что ты приехал, когда уже стемнело, а то я

показал бы тебе наши бураки. Отлично растут. Напрасно ты к нам не заглядываешь, мы в этом году интересные эксперименты проводим. Знаешь, вот сейчас ходил и подсчитывал, что одни бураки и овощи дадут нам возможность покрыть затраты на гидростанцию. Так что можешь не беспокоиться о финансировании. Возьму на себя, как обещал. Давайте только людей. Разозлился я на вас с Гайной, когда вы сорвали народ со строительства. Эх, думаю, черт с вами!..

— И потому решил помочь мне сеять?

— Да-а. Сев вы затянули. Надо все силы мобилизовать.

— Так вот что. Помощь твоя мне не нужна!

— Не нужна? — Василь наклонился ближе, чтобы увидеть выражение его лица. Но в этот миг где-то заржали кони, и жеребец звонко откликнулся, рванув повод. Максим повернулся, ударил его ладонью по морде и ловко вскочил в седло.

— Так что можешь не беспокоиться. Посеем без тебя. Но Василь ухватился за повод, потом за стремя и придержал коня.

— Погоди. Это решение лично твое или правления? Твое, конечно. Гонор и все такое… Так слушай, что я тебе скажу. Брось свой гонор и спроси у людей, хотят они, чтоб им помогли, или нет. Я у своих колхозников спросил. Больше того, парторганизация тоже одобрила мое предложение… За колхоз и за урожай не один ты отвечаешь. Теперь, само собой, слово за колхозниками «Партизана». И пускай их председатель не берет все на себя. Бывай здоров, Лесковец!

Он выпустил повод. Максим, ничего не ответив, повернул коня и поехал медленно, шагом. Василь стоял, глядел ему вслед и какое-то-мгновение был уверен, что он вернется. Ему очень хотелось, чтоб он вернулся. Но скоро очертания лошади и человека растаяли в темноте.

Василь вздохнул.

10

Утром, задолго до восхода солнца, когда над речкой ещё стоит туман и на каждой травинке, на каждом листочке висят тяжелые капли серебряной росы, Василь Лазовенка выходил в поле. Шел по борозде между посевами, по луговым тропкам. И каждый раз у него была определенная цель: Много дней подряд ходил он на пары и до восхода солнца осматривал их: ползал на коленях по мокрой земле и подсчитывал появившиеся за ночь побеги сорняков на квадратном метре. Так определялись сроки обработки паров. Затем, почти таким же образом, он ежедневно осматривал всходы льна, потом огород, площадь которого в этом году ещё увеличилась.

В последние дни внимание его привлекал участок сахарной свеклы. Что ни день наведывался он туда, выкапывал первые, слабые ещё растеньица вместе с землей, приносил домой, внимательно следил за их ростом, записывал свои наблюдения в тетрадку. Но он никогда не делал этого вечером и даже редко когда выходил в такой поздний час в поле. В тот вечер его просто потянуло погулять, побыть одному, помечтать, и на болоте он очутился совершенно случайно.

Встреча и разговор с Лесковцом почему-то приятно взволновали его и ещё подняли и без того хорошее настроение. Между прочим, в колхозе все замечали (да и сам он это чувствовал), как постепенно менялся у него характер. Если год назад он был молчалив, хмур, кроме работы и хлопот по хозяйству, казалось, ничего не знал и знать не хотел, то теперь он стал разговорчивей, любил пошутить, особенно с жен- шинами и девчатами. Это дало женщинам основание для единодушного вывода:

— Ну, председателю нашему пришла пора жениться. Не проморгайте, девчата.

...Василь шел и вспоминал. Мысль о выращивании свеклы зародилась у него, ещё когда он в первый раз побывал у Гайной. Соседи-украинцы сажали свеклу уже много лет и получали недурные для северных районов урожаи. Свекла давала большие деньги, и хитрая Гайная любила при случае похвастаться ею. Из года в год увеличивал колхоз площадь под свеклу. Василь сразу же решил перенять опыт соседей. Члены правления встретили его предложение без особого энтузиазма. Правда, не возражали (они обычно не возражали, когда он предлагал что-нибудь новое), но отнеслись как-то равнодушно.

— Можно посеять на пробу... Но ведь у нас же не украинский чернозем, Василь Минович?

Это замечание бригадира Вячеры удивило Василя.

— В семи километрах от нас растут чудесные бураки... Так неужто у нас не та земля, не тот климат... не те же условия?

Он твердо решил доказать и Гайной, и своим членам правления, и всем, кто в этом сомневается, что свекла с успехом эудет расти и на земле «Воли».

Его замысел поддержали Ладынин и Шишков, особенно горячо агроном. Они вместе в течение зимы перечитали десятки книг по агротехнике, раза два наведались в украинский колхоз, поговорили там с лучшими мастерами по выращиванию свеклы.

С приближением весны стали думать о подборе людей. Василю хотелось поставить во главе этого дела человека, который мог бы загореться новой идеей так же, как он, который сумел бы заинтересовать людей, сделать выращивание сахарной свеклы своей профессией и если не в этом году, то через год, через два вырастить такой урожай, который принес бы славу всему колхозу. Такой человек был, он думал о нем с самого начала. Настя! Но после случая в поле со щитами для снегозадержания ему трудно было с ней разговаривать. Наконец, откинув гордость и все прочие

соображения, он однажды вечером, в мартовскую завируху, дедом Морозом ввалился к ней в хату. И очень всполошил Настю и её родителей: они почему-то решили, что он пришел свататься. А потому, когда он заговорил совсем о другом — о каких-то там бураках, — его встретили довольно неприветливо. И слушать не захотели — ни Настя, ни её отец Иван Рагин, председатель ревизионной комиссии колхоза.

Настя, казалось, готова была накинуться на него с кулаками, лицо её то бледнело, то краснело от гнева и волнения.

— А рожь?

— Да такой урожай ржи, какой взялись вырастить вы, мы должны получить по всему колхозу.

— Должны! Кто это его вырастит? Ты сам, что ли? Не заговаривай мне зубы! Я тебя насквозь вижу. Ты давно мечтаешь все, что я сделала, отдать другим. Больно умен!..

«А что ты такое сделала, задавака чертова?» Василь еле удержался, чтоб не сказать этого вслух.

Её бестактность возмутила отца. Старик сердито стукнул ладонью по столу.

— Настя! Не забывай, с кем говоришь!

— Не забываю! С женихом своим, — со злобной иронией отчеканила она и, засмеявшись, быстро вышла из хаты.

Эта её дерзость смутила и Василя и старого Ивана. Василя она к тому же ещё и обидела.

Выругав себя дураком за этот неуместный визит, он вежливо попрощался с Рагиным, но в душе у него бушевала буря. «Жених! Пускай на тебе черт женится, шалая!»

Шишков хохотал до слез, когда Василь в тот же вечер откровенно рассказал ему о своем разговоре с Настей.

— Знаешь что? Позволь мне с ней поговорить, — весело предложил он.

— Почему я должен позволять? Пожалуйста.

— А вдруг приревнуешь?

— Да ну, отвяжись хоть ты!

Дня через два Шишков провожал Настю из кино, и они долго простояли возле её дома, невзирая на холодный, сырой мартовский ветер. Назавтра все бабы у колодцев говорили об этой новости: «Агроном ухаживает за Настей»;.

А через неделю Шишков сказал Лазовенке, что он собирается съездить к знатным свекловодам на Киевщину.

— Хочу перенять лучший опыт.

— Чудесно! — обрадовался Василь. — Позвоню Макушенке и поеду вместе с тобой.

— Думаешь, мне очень интересно с тобой ехать? Василь от удивления вытаращил глаза.

— У меня есть более приятный напарник, — Шишков как будто смутился.

— Настя?!

— Чему ты так удивляешься? Даже в лице переменился. Я, брат, знаю, как её сагитировать.

— Начинаю верить, что ты её сагитируешь не только бураки выращивать… Что ж, желаю успеха.

Вернувшись из поездки, Настя сама подала заявление в правление о переводе её на свеклу.

Девчата взялись за работу с таким пылом, что председатель колхоза, глядя на них, только радовался и старался даже не очень вмешиваться, поручив агрономическое руководство Шишкову.

…Василь незаметно приблизился к участку свеклы. Торфяная тропка была мягкой, как ковровая дорожка, идти по ней было приятно, даже звук шагов не отвлекал. Легко дышалось, в воздухе веяло прохладой и влагой. Контраст между электрическими огнями деревни и этой болотной глухоманью с дикими ночными звуками действовал на него возбуждающе, наполнял сердце каким-то непонятным восторгом и радостью.

Он заметил впереди белую фигуру, которая двигалась ему навстречу. Он удивился: «Женщина! Какой черт её носит в такое время! И не боится. Смелые стали за войну. Бродит как привидение. На человека суеверного могла бы нагнать страху». У него на миг появилось ребячливое желание: лечь в борозду и напугать эту храбрую женщину. Но он отогнал эту мальчишескую мысль: «Может, у кого корова от стада отбилась».

Женщина не могла уже его не видеть, однако молча, не сбавляя шага, приближалась. Василь узнал Настю и ещё больше удивился.

— Настя?! Ты что тут делаешь?

— А ты?

— Я? Я гуляю.

— И я гуляю.

— Однако… Не совсем подходящее место выбрала ты для прогулки.

— Может, для кого и неподходящее, а для меня лучше нет! Тут моя слава посеяна.

Василь неприязненно подумал: «Ну, ты, кажется, свихнулась на славе».

Настя повернула и пошла рядом, по тропке, оттеснив его в борозду. Она поняла, что ему не очень понравились её слова, и с иронией заговорила о другом:

— Ты, бедный, днем не можешь выбрать время к нам

зайти, так ночью ходишь. Ты приди днем и погляди, какое чудо мы растим.

— Приходил и видел.

— Ну и как? — Она обернулась, толкнув его плечом. — Как будто ничего должны быть бурачки.

— «Как будто!.. Ничего!..» — хмыкнув, перебила его Настя. — Я уже сколько раз бегала потихоньку поглядеть у гайновцев. Наши куда лучше!

— Однако… цыплят по осени считают.

— А я сейчас посчитаю. И не ошибусь! — уверенно за явила она и, помолчав, уже другим, кротким и ласковым голосом прибавила: — Вот завоюю славу себе и тебе.

— Мне слава не нужна, Настя.

— Не нужна? — Она искренне удивилась. — А что тебе нужно?

Василь на миг растерялся, но не потому, что не знал, что ей ответить, а просто раздумывал, как отвечать, всерьез или в шутку. Ответил шутя:

— Хорошая жена.

— Вот как! — удивленно протянула Настя. — И ты никак не найдешь её?

— Нет. Все не попадается.

Она промолчала, только чуть слышно вздохнула.

Василь чувствовал, что встреча с Настей и разговор этот начинают портить ему настроение, и рассердился на Настю: «Чего ей нужно?» Она шла медленно, сбивая рукой росу с высоких стеблей травы:

— Иди, пожалуйста, быстрее. Меня дома ужинать ждут.

Она сразу пошла очень скоро и, пройдя шагов

пятьдесят, вдруг рассмеялась тихо и как-то странно, как может смеяться человек только над собой.

Они вышли к плотине, перешли мост. Из речки глядели звезды, и казалось, что они плескались в воде. В болотце заливались лягушки. А на краю деревни одиноко и печально бренчала балалайка. До самой деревни они больше не сказали друг другу ни слова. Возле школы Настя остановилась, повернулась к Василю.

— Так ты мне ничего и не сказал? Он пожал плечами.

— А что я должен был сказать?

— До сих пор гексахлоран не привезли. Сколько раз говорить надо? Опять волокиту устраиваете, — она говорила злобно, охрипшим голосом.

Он не видел сейчас её лица, но по тому, как она дышала — прерывисто, глубоко, чувствовал, что она сейчас не удержится и скажет что-нибудь оскорбительное. И не ошибся. Она вдруг наклонилась и сквозь стиснутые зубы прошептала:

— Бесстыжие твои глаза, Василь!.. Эх, ты!.. — И после недолгого молчания кинула: — Передай этому своему... «заместителю». Пусть не думает и не надеется. На черта он мне сдался!..

— Зачем же обижать человека?

— А пошли вы все к черту! — Она повернулась и почти бегом кинулась через дорогу в сад.

Василь впервые почувствовал, что ему жаль эту неукротимую девушку.

11

Каждый вечер Василь просил мать, чтобы она разбудила его пораньше. На рассвете она подходила к нему, любовно глядела, как он сладко спит, и жалела

будить, как в те далекие времена, когда он, малышом, пас коров или ходил в школу.

«Пускай ещё немножечко поспит. Что в такую рань делать?» Но тут же будила неумышленно. Василь спал во дворе под навесом. За стеной, в хлеву, стояла корова. Её вздохов и даже мычания он никогда не слышал, но звон первой же струи молока о дно доенки будил его неизменно, независимо от того, когда бы он ни лег и как бы крепко ни спал. Подоив корову, мать выходила из хлева и удивлялась: у крыльца сын обливался холодной водой, брызгая во все стороны.

Она тяжело вздыхала.

— Не спится тебе, сынок. Замучает она тебя, эта работа.

Вон агроном как спит! (Шишков, правда, любил поспать.) А ты… хоть бы разок выспался как следует…

Она каждый раз это говорила, и Василь в ответ только улыбался. Но в то необыкновенное майское утро из хаты, через открытое окно, отозвался отец:

— Эй, старуха! Не сбивай ты его с толку. Ему спать долго не дозволено — он хозяин.

— Хозяин! Иной хозяин ещё дольше спит, — недовольно ворчала мать.

— Плох тот хозяин!. — не унимался Мина Лазовенка, высунув голову из окна.

Это был ещё довольно крепкий старик с аккуратной, белой, как у профессора, бородкой. Он был ранен в первую мировую войну и, как сам говорит, чуть не отдал богу душу в каком-то царском госпитале. Возвращение домой, к семье, работа на земле, которую он получил после революции, затем радостный труд в колхозе исцелили его. Несмотря на свои шестьде сят лет, он был лучшим в деревне косцом, пахарем, неутомим мым подавальщиком у молотилки; эту последнюю работу он особенно любил и уборки урожая ждал, как праздника.

Василь был благодарен отцу за то, что тот никогда не выказывал жалости, не утирал слез, как мать, при виде глубоких шрамов на груди и спине сына, не принуждал побольше отдыхать.

Наоборот, хозяйскими советами, колкими замечаниями, когда что-нибудь делалось не так, он как бы подзадоривал сына, заставлял работать лучше.

Василь собирался пойти ещё раз предупредить бригадиров, чтоб они не опоздали с выездом бригад на работу в Лядцы. Накануне было договорено, что рабочий день там они начнут не позднее, чем у себя, а то и раньше.

Но, увидев отца, он понял, что напоминать никому ни о чем не надо, тем более что раньше он никогда этого не делал, а бригадиры, которые выполняют все задания с почти военной точностью, могут просто обидеться. Вот отец уже давно собрался, и, как видно, с большой охотой.

Прихлебывая из солдатской кружки парное молоко, старый Лазовенкр хитро усмехнулся:

— Ну, сегодня мы покажем лядцевским лодырям, как надо работать.

Василя даже передернуло от этих его слов.

— Ты знаешь, отец, как это называется?

— Что?

— Вот это самое, что ты сказал. Зазнайство.

Старик вытер ладонью усы и бороду, потом смел в эту ладонь хлебные крошки со стола, кинул их в рот.

— Как хочешь называй, а мы свое дело сделаем.

Позавтракав хлебом с молоком, Василь вышел на огород. Тропинкой между огородами и лугом он прошел в другой конец деревни, наблюдая оживление,

царившее уже на колхозном дворе и на улице.

Настроение у него со вчерашнего дня было необыкновенное, все такое же светлое, веселое. Хотелось с кем-нибудь перекинуться словцом. Хорошо бы с каким-нибудь шутником, вроде Примака.

На одном из крайних огородов он увидел склоненную женскую фигуру. Узнал старую Горбылиху.

«Рано бабка на своих грядках ковыряется», — подумал он и, вспомнив один случай, происшедший со старухой, рассмеялся. Было это в то время, когда установили локомобиль и начали проводить электричество в хаты колхозников. Старуха живет одна, сын её погиб на фронте, невестка работает на железной дороге проводницей, а единственный внук учится в городе. Свет ей провели в первый день. Сделали все как следует, ввинтили хорошую лампочку и оставили бабку радоваться, что не придется больше жечь керосиновую лампу, от которой у нее всегда болела голова. Наступил вечер. Незагруженная ещё электростанция дала такой свет, что в маленькой хате стала видна каждая пылинка и паутинка. Бабка сначала порадовалась, но потом почувствовала, что от этого непривычного света у нее начинают слезиться глаза; она еле начистила чугунок картошки. Наконец у нее разболелись не только глаза, но и голова, хуже, чем от керосина. Бабуся, правда с большим огорчением, решила потушить эту удивительную лампу и снова зажечь свою керосиновую. Но как потушить? Колхозные электрики не поставили выключателя и не объяснили ей, что в этом случае надо делать. Она что-то слышала о том, что надо вывинтить лампочку. Попробовала, но лампочка не хотела вывинчиваться, она нагрелась так, что прикоснуться к ней нельзя было. Бабуся долго блуждала по хате, натянув на глаза платок, вздыхала и охала, ругая и председателя и всех «осветителей». А голова у нее трещала и, казалось ей, вот-вот лопнет от этого безжалостного света. «Боженька мой, да столько света на всю деревню хватило бы. А чтоб вам пусто... хозяева неразумные... Должно, нарочно чертовы дети сделали,

чтобы посмеяться над старухой… Хоть разбивай этот ваш пузырь». Наконец после долгих мучений додумалась. Схватила кувшин, осторожно подсунула его под лампочку. Эффект получился неожиданный. Опущенная в кувшин лампочка давала свет только вверх, образуя на потолке яркий круг. Вся остальная хата была в тени, окутанная мягким полумраком. Бабуся даже засмеялась от удовольствия и тут же привязала кувшин в таком положении к шнуру. Утром зашла в хату соседка, а у бабуси вместо лампочки кувшин посреди хаты висит. На неделю хватило смеху всей деревне.

…Василю пришла на ум эта история потому, что, увидев старуху, он вспомнил свой вчерашний разговор с Денисом Романом, главным механиком и электриком колхоза. Роман жаловался, что кое-кто из колхозников начал пользоваться потихоньку разными электрическими приборами: плитками, утюгами, чайниками. Он назвал имена и в их числе Горбы-лиху. Василь удивился:

— Горбылиха? — и засмеялся. — Ну, брат, если Горбылиха полмесяца печь не топит, а все готовит на плитке, так нам с тобой только радоваться надо.

— Невелика радость, Василь Минович. Сами знаете, не хватает энергии. Задыхаемся. Кроме того, не все умеют пользоваться плиткой, часто замыкание устраивают. А эта Горбылиха включит плитку, а сама на улице с бабами балабонит или корову доить идет. Того и гляди пожар устроит… Надо пока запретить, Василь Минович. Вот построим гидростанцию — тогда пожалуйста… Научим всех пользоваться, и жгите на здоровье.

Василь пообещал принять меры.

И вот она перед ним — первая «нарушительница общественного порядка», как назвал её Роман.

— Доброго утра, бабка Аксинья.

Она медленно выпрямилась, посмотрела на него,

приложив ко лбу сухую, морщинистую, испачканную в сырой земле ладонь.

— А-а, Василек, соколик, дай тебе бог здоровьечка. — Они перекинулись несколькими словами. А когда бабуся.

снова наклонилась над своими бурачками, Василь неожиданно пошутил:

— Бабка Аксинья! А плитку?! Плитку выключить забыла?

Бабуся с несвойственной ей быстротой выпрямилась, всплеснула руками и бегом кинулась к хате.

— Ах, батюшки! Опять уйдет!

Но, сделав несколько шагов, обернулась и погрозила ему пальцем.

— Э-э, не шути, сынок, я её сегодня ещё и не втыкала, — и смутилась.

Василь от души расхохотался.

— Выдала, ты себя, бабуля. Сегодня же отнеси плитку Денису Роману, он её спрячет до поры до времени.

— А может, мне можно, Василек? Стара я, тяжело мне хворост из лесу носить...

— Дров мы тебе привезем, бабуля. В любое время и сколько хочешь.

12

Подходя к врачебному участку, Василь ещё издалека увидел Мятельского. У директора школы был очень странный вид. Босой, в нижней рубахе и в брюках от лучшего костюма, он беспокойно топтался возле палисадника. Всклокоченные волосы, бледное лицо с выражением страха и растерянности, нетерпеливые движения — все выдавало его крайнюю

взволнованность. Он поглядывал то на окна квартиры Ладынина, то на школу. Больше он ничего вокруг не замечал. И Василя увидел только тогда, когда тот громко и весело поздоровался.

Мятельский метнулся к нему, схватил за руки.

— Лазовенка!.. Нет, ты рассуди, что это такое… Черт знает, что делается!.. Я не нахожу слов… Так может себя вести только врач с черствой душой, бюрократ… Там — человек… может быть… А он столько времени собирается… Занимается физзарядкой, чистит зубы… О-ох… А в это время, — Мятельский даже застонал и, приблизившись к окну, оклик нул дрожащим голосом: — Игнат Андреевич!

Василь ничего не понимал. Ему было странно, что Мятельский, который всегда уважал Ладынина, вдруг говорит о нем таким тоном.

— Что случилось? Какой человек?

— Нина Алексеевна… Ниночка, — в отчаянии прошептал он и вдруг прислушался. — Тише вы!.. — на лбу у него выступили крупные капли пота. — Кричит?

— А что с ней? — все ещё не мог взять в толк Василь. Мятельский уничтожил его полным презрения взглядом.

— Ро-оды!

Удивительное слово это электрическим током ударило в сердце. Василь почувствовал, как оно сильно забилось, как внезапно волнение Мятельского передалось ему.

«Роды», — и он уже сам осуждал Ладынина за то, что тот так преступно медлит с помощью женщине, которая вот-вот должна стать матерью. Он уже намеревался войти в дом и сказать об этом Ладынину. «Нельзя же так, в самом деле… Критиковать и подгонять других он умеет, а сам… Чистить зубы, когда рядом…»

Но в этот момент Ладынин появился в раскрытых

дверях. Был он в белом халате, из-под которого выглядывал синий галстук и бледно-голубая рубашка. На губах его играла веселая улыбка. Мятельский бросился к нему.

— Товарищ Ладынин!

Игнат Андреевич обнял его за плечи.

— Рыгор Устинович, сохрани боже, чтобы тебя увидели сейчас твои ученики. В таком наряде! А что, собственно говоря, случилось? Ничего особенного. Доброго утра, Минович. Ты что, помогаешь Мятельскому волноваться, что смотришь на меня такими страшными глазами? Безусловно, большое событие… Рождается новый человек. Но зачем же так тревожиться, дорогой Рыгор Устинович? Все идет очень хорошо. Если бы что-нибудь было не так, Ирина Аркадьевна давно бы „меня позвала и я прискакал бы, как говорится, на одной ноге. А ты вдруг не доверяешь такой опытной бабке… Ты знаешь, сколько ребят она приняла за свою жизнь? Около двух ты-сяч, дорогой мой. Вот! — В голосе Игната Андреевича звучала гордость за жену.

Василю стало неловко оттого, что он, забыв об Ирине Аркадьевне, так дурно о нем подумал.

— Дай закурить, Минович!

Но Мятельского, как видно, не убедили спокойные слова Игната Андреевича. Услышав, что тот хочет ещё курить, будущий отец встрепенулся и устремил на Ладынина такой умоляющий взгляд, что доктор сразу же сдался.

— Ну, идем, идем… Что с тобой поделаешь! Учись, Минович, волноваться за жену. Когда-нибудь придется.

Василь пошел следом за ними, он был в плену овладевшего им нового и необычайно сложного чувства. Только после того, как Ладынин скрылся за дверьми директорской квартиры, а они с Мятельским остались стоять под окном, он подумал, что ему не совсем удобно

здесь находиться, и, перейдя улицу, направился в колхозный сад.

Но под липами он остановился. Непонятная сила притягивала его к школе, к Мятельскому, который все ходил возле крыльца, подымался на ступеньки, на мгновение замирал в неподвижности, должно быть прислушиваясь… Возможно, в другое время Василь посмеялся бы над таким волнением обычно очень спокойного, флегматичного директора школы. Но сейчас у него самого как-то странно билось сердце — тревожно и радостно.

Всходило солнце. По небу плыли маленькие золотистые облачка, и можно было подумать, что гнали их первые солнечные лучи, потому что на земле ветра не было. Царила тишина. Алмазами сверкала роса на неподвижных листочках яблонь, на траве, на молодой картофельной ботве. Только липа чуть слышно шелестела, но, может быть, потому, что в гуще её листвы жила птичья семья. Над дорогой летали ласточки.

Василь всем своим существом ощущал неудержимую силу бытия, он видел и слышал, как жадно тянется все к свету, к солнцу, как рождается новая жизнь. Не просто жизнь… В этот миг рождается новый человек — владыка и творец всей красоты земли, всех её богатств. От этого в сердце у него звучал, ширился светлый, торжественный гимн. «Приходи, живи, радуйся, новый товарищ Мятельский! Все это — для тебя!» Он обвел взглядом вокруг и увидел не только то, что было у него перед глазами, — увидел, представил се$е все: густую рожь за садом и сахарную свеклу за рекой, штабеля бревен для гидростанции в Лядцах, бескрайнее море посевов, новые города, дворцы и школы, всю страну со всеми её неисчислимыми богатствами и неудержимым движением вперед, к вершинам человеческого счастья.

И вдруг взгляд его, как бы дойдя до какой-то черты, остановился, и перед ним встало минувшее. Один случай, один эпизод из тех времен, когда шло великое единоборство сил жизни с силами смерти. Многое он

видел за годы войны: сожженные деревни и города, смерть близких друзей, горы трупов, людей, замученных фашистами, страшные печи Майда-нека — но этот маленький эпизод почему-то всплывал в памяти чаще, чем все другие. Было это в сорок четвертом, вот в такое же ясное солнечное утро. Только пора была более поздняя. Василь помнит: рожь, по которой они шли, уже перестояла, почернела. На рассвете его рота вышла на опушку леса. В километре от них горела небольшая литовская деревенька — хат пять. Горели все постройки сразу, пламя взвивалось в небо, а дым падал и плыл над землей, черный и горький, застилал солнце. Возле пожара никого не было видно, но фашистская артиллерия продолжала с какой-то нечеловеческой методичностью бомбардировать одно и то же место. Снаряды разбрасывали пламя, ломали деревья, выворачивали землю. Когда обстрел затих, Василь с группой бойцов ки нулся туда. Нигде — никого, никаких дзотов, никаких признаков, что тут вообще были солдаты. И вдруг он увидел то, что поразило его на всю жизнь. На дороге, между двумя сожженными хатами, лежала девчушка лет пяти, босенькая, в одной ночной сорочке. Оторванная осколком снаряда ручка её была отброшена в сторону, и посинелые пальчики сжимали башмачок… Тельце девочки было ещё теплым. Василь помнит, как он сидел возле нее на земле и… плакал, не стыдясь перед солдатами своих слез. А потом, когда её хоронили, на всю жизнь запомнились ему слова друга и заместителя по полит части Сергея Воронкова, который через несколько дней после этого умер у него на руках, смертельно раненный в бою на прусской границе:.

— Поклянемся, товарищи, что, отвоевав мир, мы никому не позволим отнять его у наших детей…

…Василь стоял, опершись грудью на яблоневую ветвь, в его ушах ещё звучал голос Воронкова.

Тяжелое воспоминание тенью легло на владевшее им светлое, торжественное настроение. Несколько минут толчки сердца были болезненны и гулки. Но

продолжалось это недолго. На крыльцо школы вышел Ладынин. Что-то сказал, засмеялся. Мятельский кинулся к нему, обнял и поспешно бросился в дверь.

Василь с облегчением вздохнул и двинулся через сад в сторону Лядцев.

13

В Лядцах ни одного человека ещё не было на колхозном дворе, когда прибыли колхозники «Воли». Они приехали организованно — колонной, во главе важно шел владыка полей «НАТИ». Рядом с трактористом сидел Михаила Примак. Из руководителей «Воли» никого не было ни впереди колонны, ни в конце её.

Добродеевцы скромно, без выкриков и шуток, проехали через всю деревню и остановились у двора третьей бригады.

Со стороны казалось, что это необыкновенное происшествие никого не взволновало и не встревожило —все было как обычно в такой ранний час. Но на самом деле в Лядцах словно бомба разорвалась.

Почти все мужчины вдруг рассердились на жен за то, что те долго возятся у печки и торопливо, обжигаясь горячей картошкой и оладьями, кончали завтрак. Женщины отставляли из печек горшки, будили старших детей, отдавали им хозяйственные распоряжения.

— А ты куда, мама?

— На работу! Куда же ещё!

Бегали друг к другу, занимали вилы, корзины. Вскоре на улице начали собираться первые группы вышедших на работу людей. Встречались, коротко здоровались и отводили взгляды, как будто были в чем-то виноваты друг перед другом и теперь чувствовали себя неловко.

Переговаривались сдержанно, иногда со злостью. С полночи, должно быть, собирались, чтобы в такую рань

явиться.

— Не знаешь, что ли, добродеевцев? Задаваки!

— Не кривите душой. Все мы отлично знаем, что у себя они не поздней выходят.

— И мы не задерживались. Еще роса не падет, как мы, бывало, уже в поле.

— Ну, чья бы, как говорится, мычала, а ваша б молчала. Не у тебя ли, тетка, председатель хотел печь залить?

— Хотел, да не залил. А тебя, поганец, во время работы сонного к кусту привязали.

Максима Лесковца приезд добродеевцев тоже застал врасплох. Он, правда, не спал и не завтракал. Он купался в речке недалеко от моста. Урчание трактора заставило его выйти на берег. Он увидел колонну и стал быстро одеваться. Руки его — от холодной воды, что ли? — дрожали, и он не мог застегнуть гимнастерку. Равнодушия, с которым он решил было, после разговора с Лазовенкой, встретить помощь, не было и в помине. Он почувствовал, что волнуется, и снова мысленно ругал Лазовенку, считая, что тот нарочно организовал этот «парад», чтобы «насолить» ему, Лесковцу.

Соглашаясь принять помощь, колхозники «Партизана» руководствовались одним желанием: скорее закончить сев. Вероятно, никто не усматривал и не искал в этой помощи каких-нибудь иных мотивов или хитрого умысла со стороны соседей.

Иначе все это представлялось Максиму. Он заранее знал, что добродеевцы покажут лучшую организованность и дисциплину, дадут большие нормы выработки, чем в «Партизане», лучше обработают почву. И все это Лазовенка использует, чтобы наглядно, на примере, показать, какой он, Леско вец, никчемный руководитель. Максим был твердо уверен, что между приездом в колхоз секретаря райкома и этой помощью есть определенная связь. Почему секретарь приехал

именно к нему? И приехал не на денек, как обычно приезжают другие руководители, а расположился так, словно собирается прожить в колхозе неведомо сколько. Скорее всего, это тоже дело рук Лазовенки. И он использует этот приезд! Иначе почему он всю весну молчал и избегал встречи, даже на строительную площадку ходил не через деревню, а берегом? А теперь лезет со своей помощью!

У Максима в душе все кипело.

…На улице он столкнулся с Макушенкой.

Секретарь райкома шел в тот конец деревни, где остановились добродеевцы.

Заметив его и, должно быть, стесняясь встретиться с ним на улице или прийти позже него, мужчины и женщины огородами спешили на колхозный двор. Максим понимал их, по тому что и сам растерялся: секретарь подумает, что он до этих пор спал. Но, поздоровавшись, Макушенка просто спросил:

— Купались? Каждое утро так? Завидую. Ну, идемте, дайте людям работу. Используйте-на тех участках, где у вас прорыв.

У Максима снова вспыхнуло раздражение, и он, не скрывая злобы, ответил:

— У нас везде прорыв. Только и живем что милостями доброго соседа…

Секретарь укоризненно покачал головой:

— Эх, Лесковец, Лесковец! Максим покраснел.

— Откуда в тебе эта болезнь? Все тебе кажется дурным. Лазовенка тебя подсиживает, «топит»… Ладынин ему помогает… Секретарь райкома приехал в колхоз — тебе тоже чудится аллах ведает что! Опомнись, друг!

В первый вечер Макушенка зашел к Лесковцу. Он, собственно говоря, шел не к Максиму, потому что

только что беседовал с ним у речки, он шел к Сынклете Лукиничне, так как считал долгом проведать жену своего партизанского друга.

Сынклета Лукинична была на огороде — варила ужин. В деревне существовал обычай-летом ужин готовить на костре где-нибудь в саду или в конце огорода, чтобы не топить печи на ночь. Быстрее, приятнее и даже вкусней; часто тут же у огня и ужинали.

— Увидев секретаря, Сынклета Лукинична и растерялась и одновременно обрадовалась.

— Простите, Прокоп Прокопович, угощать вас буду здесь, в землянку приглашать не стану.

Макушенка сел на траве. Сынклета Лукинична поспешно пошла к землянке. Темнело. Затихал вечерний шум деревни.

Макушенка задумчиво смотрел на маленькие язычки пламени, осторожно лизавшие чугунок. Два мальчика принесли стол и пару табуреток. Макушенка попросил их:

— Передайте тете Сыле, чтоб она не беспокоилась. Ничего не нужно.

— Ладно. Передадим. Да она не беспокоится, она на стойку цедит из этакой вот бутыли, — один мальчик развел руки.

Секретарь улыбнулся, посмотрел в сторону землянки. В глаза бросился черный дверной проем в белом срубе. Он почувствовал себя виноватым, что семья Антона Лесковца до сих пор живет в землянке. Непростительно, что он не вмешался в это дело. Ему рассказывали, почему Максим снял плотников. Зря снял, из-за самолюбия и ложной скромности.

— Когда же новоселье? — спросил Макушенка, как только Сынклета Лукинична вернулась. Она вздохнула. Он помолчал, наблюдая, как ловко она нарезает сало, потом неожиданно спросил: — Заплатить есть чем?

— Заплатить-то есть, да...

— Завтра я вызову бригаду, которая за пару недель сдаст дом.

Он решил снять часть бригады со строительства здания райкома.

«Если мы какую-нибудь лишнюю недельку пробудем в-старом помещении — ничего страшного не случится, а тут живые люди, семья героя-партизана», — рассудил он.

— У вас и так сколько хлопот, Прокоп Прокопович, а вы ещё будете нам плотников искать, — из вежливости сказала Сынклета Лукинична, но от него не укрылось, что она обрадовалась.

Шумно шипело сало, злобно стало оно трещать и брызгать жиром, когда хозяйка вылила на сковороду яйца. Белок сразу же сделался белым, вздулся пузырями. Яичница аппетитно запахла. Сынклета Лукинична, наклонившись, подкла-дывала под треножник щепки, они загорались сразу, жарко и светло. Макушенка не отводил от огня глаз. Любил он посидеть у костра, им в это время всегда овладевали партизанские воспоминания. Вот и сейчас он видел перед собой Антона Лесковца, слышал его простуженный, но бодрый голос: «Хорошо мы работали до войны, Прокопович, но после нее, думается мне, народ будет работать ещё лучше. Вот я, например... Да меня сейчас допусти к мирному труду — горы переверну. Разве я сейчас так бы руководил колхозом! Да я бы в нем такую жизнь создал, что любо поглядеть было бы! За войну мы её, нашу советскую власть, ещё крепче полюбили, умом и сердцем почувствовали, как много она нам дала, а потому хочется и ей все отдать, что можешь...»

Макушенка почти буквально помнил эти слова. Антон Лесковец говорил их летним вечером, вот у такого же небольшого огонька. Хорошо он умел мечтать о будущем!

Сынклета Лукинична видела, что секретарь задумался и, как бы догадываясь, о чем он думает, молчала, чтоб не помешать.

«Надо Максиму передать эти слова. Вообще, надо будет рассказать ему об отце, он, видимо, мало знает о том, как тэт работал. Хорошо было бы вот здесь, за дружеской беедой...»

— Где же это хозяин так задержался?

— Садитесь к столу, Прокоп Прокопович, не дождемся мы его. Он часто так — ужином завтракает.

— Что ж, дело молодое... Сынклета Лукинична вздохнула.

— Что так тяжко, Лукинцчна?

Не отвечая, она налила в рюмки настойку, подвинула ближе к гостю сковородку с яичницей, тарелку с хлебом.

— Кушайте, Прокоп Прокопович, а то находились за день...

— Не буду ни пить, ни есть, пока вы не сядете вот здесь, возле меня, — он подвинул ближе вторую табуретку.

Женщина села, чуть пригубила чарку и, утерев рот уголком платка, подперла ладонью щеку и заговорила:

— Давно мне хотелось побеседовать с вами, Прокоп Про-копович. Вот вы спрашиваете, чего я так тяжко вздыхаю... Да разве же я вздыхала бы, если бы он, как вы говорите, с ней ночки проводил... Это для материнского сердца радость! Глядишь, скоро и невестка в дом пришла бы... Соскучилась я одна... Да нет у него девчины... Не с ней он время проводит... Один шатается по полю или у Шаройки сидит, приятеля нашел... выпивает с ним. Неспокойно у него на душе, а отчего — не пойму. Вижу я, горит он на работе, болит его сердце, чтоб было сделано так, как у Василя, завидует он Василю, хочется ему, чтоб и наш колхоз

такой был. Но не по-хорошему завидует… Василя считает чуть не врагом, Игната Андреевича избегает, в райком лишний раз заглянуть, посоветоваться боит ся, — как бы не подумали, что сам он ничего не знает, ни на что не годен. А разве ж так можно? Я ведь знаю, как отец его управлял. Райком для него был родней дома родного. Чуть в чем засомневается — сразу в райком едет, бывало.

Сынклета Лукинична умолкла, прислушиваясь к быстрому конскому топоту по плотине и по мосту. Весело заржал жере бец. За речкой на его голос отозвался весь табун.

— Приехал, — почти шепотом, как бы самой себе, сказала мать, но в голосе у нее была радость. — Орла в ночное повел.

Деревня давно уже уснула. Казалось, что вся жизнь переместилась туда, на болото: кричали деркачи, ржали лошади и где-то далеко, на пригорке у сосняка, горел большой костер. На его фоне время от времени мелькали силуэты людей.

Было тихо, ни один листок на груше, под которой стоял стол, не шевелился, но пламя зажженной Сынклетой Лукиничной свечи трепетало, кидалось во все стороны, как от испуга.

Макушенка слушал молча, изредка откусывая хлеб; и кидая вилкой в рот куски яичницы.

— Помогите вы ему, Прокоп Прокопович! — вдруг наклонившись к нему, горячо и быстро зашептала Сынклета Лукинична, как будто испугавшись, что кто-нибудь помешает высказать то главное, из-за чего она и начала этот душевный разговор.

Секретарь райкома вспомнил свою встречу с Ладыниным. Все то, что сказала ему мать о сыне, говорил и секретарь парторганизации.

Ладынин рассказал, что делает парторганизация, чтобы

кипучую энергию этого молодого и невыдержанного коммуниста направить на настоящий путь.

— Мы немало уже сделали, — говорил Игнат Андреевич. — Мне кажется, что сейчас достаточно было бы одного удара, одного какого-нибудь случая, чтобы он сам осознал свои ошибки. А мы поможем ему.

Макушенка твердо верил в старого коммуниста Ладынина, а потому убежденно ответил матери:

— Поможем, Сынклета Лукинична.

Она не поблагодарила, ничего не ответила на его слова, а вдруг начала рассказывать о муже, неторопливо и просто:

— Антон мой, покойник, в молодости тоже был горячая голова. Неспокойный был человек!.. Как вспомню, так даже не верится. Кипело у него на душе, сила лишняя была, а приложить её некуда. Вот он и бунтовал. Чего только не выделывал! Первый забияка был на всю округу. Первый заводила во всех драках. В царское время у нас тут в праздники деревня на деревню стеной ходила, на кулачный бой. Добро-деевка на Лядцы, а чаще всего обе вместе — «хохлов» бить — на киселевцев или гайновцев. Боже ты мой, что творилось! — Сынклета Лукинична, представив, что тогда творилось, даже руками всплеснула. — А Антон мой всегда первым шел… Холостым он тогда был ещё… Однажды его чуть не замертво вынесли, живого места на нем не было. Не утерпела я тогда, кинулась к нему, стала к синякам снег да лед прикладывать. А он очнулся, смеется… С той поры у нас и началось… Через год он сватов прислал. Зимой женился, а весной на заработки ушел, в каменщики. Вернулся другим человеком….. Книжки начал читать.

Макушенка понимал её. Матери так хотелось оправдать сына, доказать, что и он может стать таким же добрым и умным, каким был его отец.

А сын в это время был недалеко. Придя домой, он

увидел в саду под грушей огонек, услышал голоса матери и Маку-шенки и не захотел или не отважился (он и, сам не понимал) подойти. Тихонько забрался на чердак своей новой недо строенной хаты, где стал ночевать, как только потеплело, и лежал там, устремив взгляд в дыру для трубы, сквозь кото-: рую на него смотрели три далекие звездочки.

14

Плотники явились неожиданно и дружно взялись за работу. Максим ничего не знал об их приходе, и пока вернулся с поля, сруб приобрел все черты настоящего дома, не хватало разве только трубы. Плотники, как будто нарочно, в первую очередь подогнали подоконники, вставили новенькие рамы, навесили двери. Издалека трудно было заметить отсутствие стекол, а на трубу мало кто обращал внимание, — и дом выглядел совсем готовым.

Максим, увидев это, так удивился, что, подойдя к зем лянке, не решился зайти в дом, где разговаривали люди, стучали топоры, свистели фуганки. Из трубы землянки тянулся в небо жаркий прозрачный дымок. Мать, раскрасневшаяся, в новом платочке, встретила его на пороге.

— Что это такое, мама? — спросил он.

— Прокоп Прокопович вызвал бригаду, которая райком строит.

«Выпросила», — хотел было он упрекнуть её, но сдержался, глядя на её довольное лицо и побоявшись обидеть старуху мать.

— А доски? — кивнул он головой на груду, лежавшую у входа.

У него не хватало материала на настилку пола, и он, не желая обращаться к Лазовенке, не раз задумывался, где, кроме «Воли», можно бы распилить бревна.

— Василь одолжил, сам привез на машине. А бревна забрал. Распилит.

Максим не то чтобы разозлился, а как-то странно растерялся. Раньше мать ни одного шага не делала, не посоветовавшись с ним. И вдруг… Он воспринял это как своеобразный протест, бунт против него. Стало обидно и больно.

— Ишо, Максимка, глины привезти. Завтра печник придет, — ласково заговорила мать, с тревогой наблюдая, как бледнеет его лицо. Но никакая ласковость уже не могла его удержать.

— У меня все лошади на севе. И мне не до глины.

Мать укоризненно покачала головой и не пожалела его, хотя знала, что ему тяжело.

— Тогда я Василя попрошу. Пускай тебе стыдно будет, — она повернулась и пошла в землянку. — Думаешь, авторитета у тебя прибавится, когда ты глины себе не привезешь и в землянке жить будешь?

Максим, ничего не ответив, тоже повернулся и пошел назад, в поле. Все спуталось у него в голове в эти горячие дни, все чувства сплелись в какой-то темный клубок. Настороженно встретил он появление в колхозе Макушенки, думал, что тот приехал ревизовать его работу, искать ошибки. С раздражением принял помощь Лазовенки, связывая её с приездом секретаря райкома. Но вот уже третий день работали добродеевцы на полях «Партизана», и никакого «подкопа» не было, ни в чем не мог он его обнаружить. А все, что делалось, делалось на пользу колхозу и, значит, в помощь ему, председателю. Секретарь райкома совсем не вмешивался в его повседневные дела. Он все больше ходил один, знакомился с хозяйством, просто и сердечно разговаривал с людьми в поле, на ферме, заходил к колхозникам в хаты, сидел на уроках в школе. На третий вечер сделал доклад о международном положении, закончил его спокойной беседой о делах колхоза, призывал скорее строить гидростанцию и

подумать об осушке болота.

Узнав, что в лавке нет соли и женщины должны бегать за ней в Добродеевку, Макушенка на рассвете вызвал заспанного, перепуганного Гольдина. Через два часа соль была уже в лавке. Лазовенка показался только раз — в первый день работы. Был он приветлив, весел, на прощанье крепко, дружески пожал Максиму руку. Колхозники его сеяли и обрабатывали землю, как на своем собственном поле — добросовестно, старательно. Максим не мог не видеть, что эта неожиданная помощь, пример добродеевцев в работе, пребывание секретаря райкома, его беседы с колхозниками, соревнование между бригадами всколыхнули людей, зажгли энтузиазм. Казалось, другие люди работают в поле. Это даже Шаройка заметил и истолковал по-своему, по-шаройковски:

— Хитрый у нас народ, Максим Антонович. Хитрый, брат, ой хитрый. Гляди, как стараются при секретаре. Работают как черти. При такой работе бригадиру делать нечего, в окошки стучать не приходится…

Максим ничего не ответил.

Скоро кончится сев. Быстрое завершение весенних работ и радовало его и почему-то тревожило. В тот день тревога приутихла, но неожиданно появившиеся плотники, разговор с матерью снова подняли в душе бурю.

Как он должен ко всему этому относиться? Не обращать внимания на чуткость секретаря райкома, на щедрость Лазовенки? Сделать вид, что это его не касается и мало интересует, что все это делается ими для его матери, вдовы партизанского командира Антона Лесковца?

Но Максим понимал, что это было бы более чем глупо — отделять себя от семьи, в которой, по сути, останется тогда одна мать, от светлой памяти отца.

Ему достаточно уже надоела жизнь в землянке. Он избегал даже заходить туда и завидовал, когда

приходилось бьн вать в хороших, уютных хатах. Мысли о своем незаконченном доме иной раз не давали ему уснуть до утра. И вдруг все разрешается так просто и быстро. Через несколько дней он будет в собственной хате, и никто не попрекнет его, что он построил её, использовав свое положение председателя (он очень боялся такого попрека). Да, он не может не быть благодарным и Макушенке и Василю. Но высказать эту благодарность словами он, разумеется, был не в силах.

...Взяв в конюшне лопату, Максим незаметно пробрался в карьер у старой мельницы, где издавна брали глину, спустился в самую глубокую яму и за какой-нибудь час-два выбросил наверх глины не на одну печь, а на добрых три. Привез он её домой вечером, когда уже совсем стемнело.

15

Весь день Ладынин, Макушенка и Максим ходили по полям, осматривали посевы, беседовали с колхозниками. Под вечер они возвращались домой.

Настроение у Максима было скверное, он все никак не мог примириться с тем, что Лазовенка ему помогает, и помогает не на шутку. К тому же ещё пришлось выслушать от Маку-шенки несколько неприятных замечаний, которые он расценивал по-своему — как первый шаг к определенным выводам о нем, неудачном руководителе. Вдобавок он за день очень устал, больше, чем обычно.

День был знойный, пекло, как в июле. И земля была сухая, будто в середине лета. Пыль, тонкая, словно пепел, устилала дорогу, ноги тонули в ней. На черный костюм Макушенки и сапоги Лесковца лег светло-серый налет.

Макушенка поглядел на дымное небо, где не было ни облачка.

— Эх, дождика бы!

— Сегодня должен быть непременно, — уверял Ладынин. — Я всегда безошибочно чувствую его приближение. Ноги гудят.

Возле моста — стойла. На берегу — черный квадрат выбитой скотиной земли. На нем тесно лежали и стояли коровы, некоторые из них вошли в воду и помахивали хвостами, хотя ни мух, ни оводов ещё не было, а комары попрятались от жары.

Среди стада виднелись фигуры женщин с ведрами и подойниками; каждая находила свою корову, поднимала и отгоняла в сторону. Немного дальше, под вербами, у изгороди, отделявшей стойла от посевов, доили колхозных коров. Доярки были в белых косынках и синих передниках. На самом берегу сидела заведующая фермой Клавдя Хацкевич, перед ней, до половины погруженные в воду, стояли бидоны.

— Какой у вас дневной удой? — повернулся Макушенка к Максиму, в морщинках у него под глазами пряталась лукавая усмешка. Максим смутился: все цифры перепутались у него в голове, хотя Клавдя ежедневно бомбардировала его ими. Может быть, потому они и не запоминались, что слишком много она говорила об этих цифрах. Как разойдется на заседании правления, так одним духом сообщит все: и сколько молока давали коровы до войны, и сколько можно было бы иметь этого молока, если б выполняли все её, Клавдины, требования, и каждый раз о соседях — об удоях в «Воле» и у Гайной.

Макушенка укоризненно покачал головой.

— Председателю стыдно не знать таких вещей. Запомни, что это не мелочь — молоко. В колхозе нет мелочей… Ты должен знать продуктивность каждой коровы, не то что… Иначе управлять нельзя. А представь себе то недалекое время, когда у тебя будет сто… двести дойных коров. Что тогда?

«Опять начинается», — Максим вздохнул и вытер со лба пот. Макушенка предложил пройти к стойлам.

«Ну, сейчас она натарахтит — только слушай, — подумал Максим о Клавде, неохотно сбегая следом за Макушенкой с насыпи плотины вниз на луг. — Все на меня свалит, трещотка чертова».

Он вспомнил, как хитро и упорно уговаривал его Шаройка заменить Клавдю кем-нибудь другим. Делал он это всегда после того, как Клавдя доводила председателя до кипения. В такие минуты Максим соглашался со своим советчиком, но потом, поостыв, успокоившись, оставлял по-старому; он понимал, что лучшего заведующего фермой найти трудно. Чувство справедливости превозмогало все остальные.

Клавдя спокойно встала, свернула в трубку самодельную тетрадь из синей бумаги, сунула её в карман. На губах её оставил довольно заметный след химический карандаш, и это фиолетовое пятнышко, так же как и короткий, не по росту, белый халатик, как-то молодило её, делало похожей на девочку-подростка. Но руки она пожала всем смело, просто и не по-женски крепко. А Максиму тайком задиристо подмигнула: «Погоди, вот я тебе сейчас покажу». И правда, как всегда, сразу же повела наступление:

— Удои? Повышаем, товарищ секретарь. День и ночь кормят их мои девчата, — она кивнула в сторону колхозных коров: перед каждой действительно лежала кучка свежей травы. — Все межи пообщипали… Но трудно нам… Выпас дрянной, коровы голодные… А вот наш председатель считает, что ферма — это пустяк…

— Когда это я так считал? — разозлился Максим.

— Всегда… Сколько я тебе доказывала, что у коровы молоко на языке…

— Как у тебя вранье!

— Лесковец! — возмутился Ладынин.

— И просила, и требовала, чтоб для подкормки коров было посеяно хоть что-нибудь, как вон в «Воле». Пускай

до «зеленого конвейера» мы ещё не доросли, но ведь можно было бы хоть четверть этого конвейера сделать…

Макушенка одобрительно кивал головой и улыбался. Улыбнулся на «четверть конвейера» и Ладынин. Но Клавдя говорила все это совершенно серьезно, без тени улыбки.

Доярки с ведрами молока стояли возле коров, прислушивались к беседе, стесняясь подойти. Коровы тоже поворачи вали головы, большими влажными глазами смотрели на незнакомых людей, на свою хозяйку и, как бы понимая, что она защищает их, вздыхали.

— Ты, Максим, все ещё по дедовским законам хочешь жить. Снег — с поля, скотину — в поле, и всем заботам конец. Когда-то батька мой так делал, так, помню, при двух коровах никогда свежего молока не пили, а сметаны и в глаза не видали ни он, ни мы, дети. Сколько раз я тебе говорила, чтоб отделил колхозных коров от общего стада! А ты Шаройку слушаешь…

— Можно подумать, что Шаройка у тебя теля съел, — уже спокойно заметил Максим, не совсем удачно перефразируя поговорку.

— Моим теленком он бы подавился, а вот колхозного не одного съел. Потому и ферма маленькая.

Максим знал, что Клавдю лучше не задевать, потому что она на каждое слово десять ответит, и потому отвернулся, заглянул в бидоны.

— Ни в одном колхозе так к ферме не относятся…

Он не мог этого больше терпеть и, чтобы хоть чем-нибудь отплатить этой въедливой женщине, сказал как бы между прочим:

— Ты бы бидоны лучше помыла. Грязные.

Клавдя поперхнулась на полуслове. Это замечание в присутствии доктора было для нее самой тяжкой

обидой.

— Грязные?

— Эй, девочки! Председатель говорит — бидоны грязные! — пропел позади зычный бас Гаити, его двоюродной сестры, и вмиг все три доярки оказались возле Максима. Закричали в один голос:

— Покажи хоть пятнышко! Где она — эта твоя грязь? Растерявшись от такого натиска, Максим сердито отмахнулся:

— А ну вас к черту!.. — и быстро пошел к дороге, сгоняя с места коров.

А девчата все ещё возмущались:

— Нас на пункте в пример ставят, а он — грязь... Лошади небось не дал, мы на волах возим, и то у нас молоко ни разу не скисло.

Отойдя, Макушенка и Ладынин понимающе переглянулись и рассмеялись.

Максим ждал их у дороги; опершись плечом о ствол ста рой согнутой вербы, он курил, жадно затягиваясь.

— Не уважаешь ты критику, Лесковец, — сказал Макушенка, подходя.

— Какая это к черту критика!

— А интересно, как ты её себе представляешь, критику? — хитро прищурился Ладынин.

— Разъелась на ферме, вот и зыкает, бесится, как корова... Ей... — Он осекся, увидев, как нахмурился секретарь райкома.

У Ладынина брови сошлись в одну линию, он повернулся к Максиму и сурово произнес:

— Ты чего на людей клевещешь? Слушать тошно! Да после таких твоих слов тебя не только она уважать не

будет — вся деревня отвернется...

Максим покраснел и замолчал.

— У нее душа болит за доверенное ей дело, и это надо уметь ценить, поддерживать, а не ставить выше всего свой гонор, свое дрянное самолюбие.

Возмущенный Ладынин перешел на другую сторону дороги.

— Да-а, боишься критики, — продолжал свою мысль Макушенка. — И в этом твое несчастье. Боишься критики — значит боишься людей. Боишься хороших людей, которые болеют о колхозе и искренне желают тебе помочь...

Максим минуту шел молча, опустив голову. Потом повернулся к секретарю райкома и тихо сказал:

— Да, боюсь... И хватит с меня такой критики. Прошу поставить вопрос о перевыборах. Хватит! — И вдруг с яростью крикнул: — К дьяволу такую работу! — и быстро пошел вперед.

Макушенка недоуменно взглянул на Ладынина... — Ничего, успокоится, — уверенно сказал доктор. — Вызови ты нас с ним на бюро, послушай... Только чтоб не было там тех субъектов, которые любой партийный разговор сводят к угрозам отдать под суд..

Через некоторое время Максим сидел в хате у Шаройки за столом, сжав ладонями виски. Перед ним стояли бутылка самогону, тарелки с хлебом, огурцами и ломтями старого тол стого сала. Напротив расположился хозяин, выражение лица у него: было кислое.

— Так, говоришь, кончают сев?

— Кончают, Антонович.

— Ну и пускай кончают... Пускай работают... И руководят пускай Кацуба, Ладынин — кто хочет... А с

меня довольно! Я наруководился!

Шаройка укоризненно покачал головой. — Эх, молодость, молодость! А ещё закаленные, говорят, войну прошли. Легче всего бросить, отступить… Нет, ты свое докажи… Докажи, что ты хозяин не хуже других… — И льстивым голосом продолжал: — Да ты знаешь ли, как любит тебя народ, Антонович? И Лазовенка никогда таким уважением не пользовался…

— Любит? — с явной иронией спросил Максим, но Шаройка не заметил этой иронии.

— Ей-богу, любит… Сына Антона Лесковца да чтоб не любили!.. И ты умей, где надо, отступить, признать свои ошибки… В наше время без этого нельзя… Но там, где надо, будь как сталь!:. Лазовенка хочет все колхозы в один объединить… А ты докажи, что народ не желает этого. В райкоме докажи, напиши в центр…

— И докажу! — вдруг на диво спокойно и уверенно заявил Максим. — Шаройка прямо засиял весь, торопливо налил чарки.

— Правильно! А ты бросать хочешь! Из-за чего? Почему? Бороться надо, как говорится, до победного конца. Выпьем!

Но Максим, как бы что-то вспомнив, отодвинул свою чарку, и совершенно трезвым голосом сообщил:

— По предложению Макушенки комиссия твой приусадебный проверила. Что-то больше гектара намерили, вместо тридцати соток.

Шаройка поставил чарку на стол, и самогонка перелилась через край — рука его заметно дрогнула. Он изменился в лице, зашептал, как заговорщик:

— Не может быть!..

— Все может быть, Шаройка, — все так же спокойно и даже как будто безразлично отвечал Максим. Этот его тон немного успокоил и Шаройку.

— И что? — спросил он уже без дрожи в голосе.

— Думаю, ты сам лучше меня знаешь, что бывает за незаконный захват общественной земли.

Шаройка наклонился над столом, угодливо заглянул Максиму в глаза.

— Ничего особенного не бывает. Но… Максим Антонович, дорогой мой, что-то надо сделать… Это больше неприятностей тебе, чем мне. Мне что, а тебе…

Лесковец, оглянувшись, чтоб убедиться, что в хате никого нет, показал хозяину кукиш.

— А этого ты не видел? Я за твою усадьбу с партбилетом расставаться не желаю. Да и все уже решено: есть приказ гнать тебя из бригадиров, а усадьбу отрезать вместе с посевами.

Шаройка рукавом вытер со лба пот и придвинул ближе к себе тарелку с салом, как бы не желая больше, чтобы Максим ел его, это сало.

16

Закончив сев, колхозники обоих колхозов собрались у молодого соснового леса.

Ладынин и Макушенка решили воспользоваться этим, чтобы поговорить с людьми, провести нечто вроде летучего митинга. Сожалели только, что нет Лесковца.

Нещадно пекло солнце. Сосновый лесок, на опушке кото-рого происходило собрание, дышал горячим ароматом смолы. Колхозники сидели, лежали ничком, на боку, опираясь на локти, в редкой тени молодых сосенок. Запыленные с ног до выгоревших волос бороновальщики — все молодые хлопцы — похожи были на шахтеров, добывающих какого-то необыкновенного цвета уголь. Глаза у хлопцев горели веселыми огоньками и шныряли по сторонам, ища, кого бы задеть, над кем бы пошутить. Однако это не мешало им

внимательно слушать. Присутствие секретаря райкома сдерживало их. Более спокойно и солидно сидели мужчины — пахари и сеятели. Они были не так безжалостно пропылены, у многих на головах красовались вылинявшие военные фуражки. Совсем тихо, скромно, в стороне от парней, сидели девчата. Женщин было мало, они ушли домой, чтоб в обеденный перерыв накормить детей, подоить коров.

Девчата сидели кучкой, прижавшись друг к другу, при крывая подолами платьев запыленные ноги. Но только на первый взгляд казалось, что они спокойны. А если понаблюдать за ними, можно было заметить, что под застенчиво опу-щенными ресницами светились такие же задорные огоньки, как и у парней.

В сосняке фыркали лошади. Они спрятались от жары и, как по команде, мотали головами. Только некоторые из них, более охочие до еды, ходили по полю и щипали траву. На дороге стояли возы, лежали перевернутые вверх зубьями бороны, пускали веселых зайчиков зеркально отполированные землей лемехи плугов.

Народ расселся так, что ораторам приходилось стоять на самом солнцепеке. Василь Лазовенка пошутил по этому по-воду:

— Нет, сегодня любители длинных речей не смогут злоупотреблять нашим терпением. Чаще бы их на такую трибуну выставлять.

Однако собрание затягивалось. Говорили не подолгу, но много было желающих выступить.

Тепло, проникновенно сказал Лазовенка об укреплении дружбы между колхозами, об объединении усилий для того, чтобы сделать оба колхоза-соседа передовыми.

— Колхозы у нас небольшие, и каждый сам по себе никогда не мог бы осуществить, например, строительство гид ростанции. А общими силами мы её — построим! Построим! Есть немало мероприятий, связанных с электрификацией и механизацией

хозяйства, с подъемом урожайности, которые можно выполнить сообща. Например, осушка Голого болота...

Это была его новая идея. Он подробно рассказал, как можно было бы лучше организовать это дело, какие потребуются средства — у него все было уже точно рассчитано — и какие выгоды получат колхозы от осушки. Слушали его внимательно.

Самую короткую речь сказал Михей Вячера.

— Дорогие товарищи колхозники колхоза «Партизан», разрешите вам пожелать, чтобы бы всегда так работали, как работали эти три дня.

— Лучше будем работать! — крикнул откуда-то из сосняка молодой голос. — Не подначивай, старая лиса!

— Мы вас ещё на буксир возьмем!

— Еще вам помогать приедем! Вячера-поклонился.

— Милости просим. Встретим с дорогой душой. Где-то далеко за сосняком глухо загремело.

— Гром! — радостно крикнул кто-то из хлопцев. Прислушались.

— В ушах у вас гром! На станции грохочет...

Но через минуту все уже поняли, что действительно гремит гром. Несколько человек быстро побежали в поле, подальше от опушки, чтобы посмотреть, что делается на го ризонте.

— Туча! — послышались обрадованные голоса. Колхозники заволновались.

— Тише, товарищи! — уговаривал председатель. — Давайте закончим наше собрание. Слово имеет товарищ Ладынин.

— Я коротко, товарищи!

— Почему коротко? Говорите подольше, Игнат

Андреевич. Боимся мы дождя, что ли? Ждем.

Вскоре туча показалась и с другой стороны, над далеким лесом, синевшим там, куда уходила пойма реки.

— Вот кабы они встретились над нами, — переговаривались между собой колхозники, поглядывая в сторону леса, — да полили как следует.

— Ничего не выйдет. Дождик будет над лесом. Лес притягивает влагу, — говорили «теоретики».

А туча все росла и росла. Сначала их было две, верхняя и нижняя. Верхняя — белая, с ровными краями, спокойно и быстро плыла, поднималась все выше по небосводу. Нижняя — темно-синяя, почти черная у горизонта, вставала над самым лесом; казалось, зацепившись за него, она не могла оторваться. По краям она вихрилась причудливыми синими клубами, рвалась вперед и гневно кидала на лес извивающиеся как змеи молнии. Но вот после одной молнии, прорезавшей небо почти у самой земли, туча стремительно рванулась вперед и вскоре догнала свою белую сестру, закрыла её. К земле протянулись длинные косые нити дождя, освещенного лучами солнца.

Люди вздохнули. Сзади, из-за сосняка, приближаясь, гремела вторая туча.

Колхозники не спешили запрягать. Они стояли и следили за удивительной игрой в небе. Туча, которая плыла с запада, закрыла солнце. Сразу же зашумели сосны, прокатилась синяя волна по всходам ячменя в низине.

Упали первые крупные капли, глубоко пробивая пыль. Казалось, по дороге пробежали странные неведомые зверьки и оставили маленькие круглые следочки. Люди притихли, жадно вглядываясь в небо. Крепчал ветер. На миг перестали падать капли.

— Разгонит, — вздохнул кто-то.

Но вот закапало снова. И вдруг блеснула молния, оглушительно ударил гром, и удар этот как бы разорвал тучу: хлынул ливень.

С криком, с гоготом запрягали лошадей, вскакивали на повозки как попало.

Маша с девчатами случайно оказалась в повозке Василя. Он сам правил, весело покрикивая, и откормленный жеребец вмиг обогнал все остальные повозки. А дождь становился все сильнее. За его плотной завесой не было уже видно ни сосняка, ни дубов у речки, ни деревни. Девчата прикрывались корзинами, жались друг к другу. Но через несколько минут платья их насквозь промокли и прилипли к телу. Когда п Одъ-езжали к деревне, гром уже не грохотал, а устало ворчал вдалеке. Дождь немного утих, стал ровнее, но лил все ещё споро.

Девчата на краю деревни соскочили с повозки и огородами побежали каждая к своей хате. Машу Василь подвез к самому крыльцу.

— Бежим в хату, Вася, — пригласила она.

Он закинул вожжи за столбик палисадника и быстро взбежал на крыльцо. На обоих, как говорится, нитки сухой не было, вода стекала с них ручьями.

Маша засмеялась.

— Не смотри на меня. Она отпирала замок.

Василь повернулся лицом к улице.

— Ах, как хорошо спрыснули окончание сева! Какое богатство падает с неба, Маша!

— Это на мое счастье. — Она опять засмеялась и исчезла в сенях.

Он снял кепку, выжал её. Провел ладонями по груди.

Гимнастерка стала точно кожаная, нижняя рубашка прилипла к спине. Но это не было неприятно, наоборот, тело наливалось бодростью. Он жадно вдыхал насыщенный озоном воздух и радостно улыбался, любуясь дождем. По улице текли ручьи. Из дворов выскакивали мальчишки в закатанных по колено штанах, бегали по воде, хохоча и распевая:

Дождик, дождик, припусти!

Растут во поле кусты...

Василь не вникал в смысл слов, хотя когда-то в детстве не раз повторял их. Но и ему хотелось вместе с ними петь — попросить дождь, чтоб лил сильнее и дольше.

— Заходи в дом, Вася.

Он обернулся. Маша стояла в сухом платье, с распущенными мокрыми волосами.

— Надо подождать Игната Андреевича.

— Разве он не узнает твоей лошади?

Василь послушно пошел за ней. Прошел через кухню в комнату и смутился, увидев, что оставляет на чисто вымытом полу мокрые следы.

— Хочешь, Вася, я дам тебе сухую рубашку? Петину.

— Ну, что ты!.. Я сейчас поеду.

— А чего тебе спешить? Посиди. Ты ведь первый раз у нас в гостях.

Она говорила это просто, как близкому человеку, и он даже растерялся, не зная, как быть: отказаться или принять приглашение.

А Маша тем временем достала из сундука черную сатино-1 вую рубашку и протянула ему, и у него не хватило решимо сти отказаться.

Он вышел в кухню, чтобы переодеться. Рубашка была

тесновата, с короткими рукавами, и Василь почувствовал себя в ней совсем юным. Когда он вернулся, Маша приветливо улыбнулась.

— Ну вот, какой ты молоденький! Подожди меня минутку. Она направилась в кухню. Там загремело корыто, ведро, полилась вода. Он открыл дверь.

— Что ты делаешь?

— Сполосну твою гимнастерку и сорочку, У него загорелись уши.

— Ну, что ты! — Он попытался было отнять гимнастерку, но она решительным движением отстранила его.

Случайно взгляд его остановился на её ногах, стройных, красивых, бронзовых от загара. Ему стало неловко, и он поспешно вернулся в комнату, подошел к окну. Сердце его громко стучало. По той стороне улицы прошли Макушенка и Ладынин. Он проводил их взглядом и опомнился только тогда, когда они зашли во двор к Прокопу Лесковцу: ведь он должен был их окликнуть. Не услышал он также, как вошла Маша.

— Ах, какой дождь! Просто счастье!

Она стояла почти рядом, смотрела в окно и ловкими пальцами заплетала косу.

— Если б ты знал, какое у меня настроение! Почему ты хмуришься?

— Я? Наоборот. — Он засмеялся. — У меня тоже замечательное настроение.

— Ты хорошо говорил на собрании.

— Да нет... Хотелось сказать куда лучше... Столько думал...

— В мыслях всегда лучше получается, — согласилась Маша.

И вдруг они, почему-то смутившись, умолкли и долго стояли так, не отводя глаз от окна, за которым шумел дождь.

Потом Маша отошла к столу, достала с полки толстую книгу, раскрыла. Она вынула из книжки листок бумагу взглянула на Василя, неуверенно проговорила:

— Вот… хочу показать тебе… первому. Он прочитал, и глаза его загорелись.

— Молодчина!.. Давно пора. Написать, правда, можно было бы короче.

— Что ты! Как же можно короче! У меня и так очень коротко. Гляди, какая автобиография. Два дня писала и вот столечко написала. Стыдно показать такую автобиографию.

— Глупости! Дело не в этом, Маша. Есть биографии длинные, да путаные. А твоя что вот эта капля дождевой воды. Без пылинки. Сегодня же передай все Ладынину.

Маша вздохнула.

— Боюсь.

— Чего?

— А если не оправдаю? Ты представь, дадут мне люди рекомендацию, я вот в заявлении слово партии даю, как клятву, а потом…

Василь сел за стол, пытливо посмотрел на нее и тихо спросил:

— У кого ты просила рекомендации?

— Ни у кого ещё.

— Я первый поручусь за тебя. Дай бумагу. — Он взял Алесину тетрадку, аккуратно вырвал чистый листок.

Маша стояла по другую сторону стола, как школьница

на экзамене, и не отводила взгляда от его руки, которая старательно выписывала простые, но волнующие слова.

«Знаю Кацубу Марию Павловну...»

Василь поднял голову.

— С каких пор я тебя, Маша, знаю?

В хату шумно вошел Петя, ещё с порога закричал:

— Маша!.. Сухое! — но, увидев Василя, замолк, только удивленно нахмурился, узнав на нем свою рубашку.

Маша отошла к сундуку и стала искать ему белье. Петя занял её место у стола и бесцеремонно заглянул в тетрадь. Прочитав первые слова, молча повернулся и, взяв белье, на цыпочках вышел в кухню.

Дождь не утихал. Все небо было затянуто тучами.

Написав рекомендацию и отдав её Маше, Васлль, встал, пошутил:

— В гостях хорошо, а дома лучше. Пойду позову Ладынина. Они у Прокопа.

Маша проводила его до сеней, держа рекомендацию в руках. На крыльцо она не вышла. Прислонившись к наружной двери, смотрела, как он отвязал лошадь, как ловко вскочил на телегу и быстро переехал через дорогу. И вдруг она почувствовала, что у нее не по-обычному бьется сердце — чаще и громче — и горят щеки. А когда она вернулась в комнату, ей почему-то вспомнились слова, недавно сказанные ею Сынклете Лукиничне: «Он гордый, а я, по-вашему, не гордая? Нет, тетя Сынклета, я тоже гордая...»

В поле, между Лядцами и Добродеевкой, они встретили Соковитова. У инженера был такой вид, как будто он только что вылез из речки, но шел он не спеша. Увидев на повозке Макушенку, засмеялся и закричал:

— Буду с вами ругаться, Прокоп Прокопович! Хитрый

вы человек!

— Что случилось? — Все трое притворились удивленными, хотя и Ладынин и Лазовенка уже знали, с какой целью секретарь райкома направил Соковитова в обком.

— Не хитрите, братцы. Знаю, что вам все было известно раньше, чем мне, — и шутливо представился: — Главный инженер областной конторы «Сельэлектро» Соковитов, Сергей Павлович.

— С чем вас сердечно поздравляем, — с улыбкой пожал ему руку Макушенка.

17

— Волнуешься?

— Волнуюсь, Алеся. Вот, — Маша прижала ладонь к сердцу, как бы пытаясь этим выразить силу своего волнения.

— Я понимаю. Как перед экзаменом. Я перед первым так же волновалась.

— Это куда более ответственный экзамен, сестра. Это экзамен на самое великое звание, какое только есть на земле.

«Экзамен»! Она не раз задумывалась над тем, чем для нее будет прием в партию. А вот Алеся подсказала ей это короткое и почти точное определение!

«Великий экзамен»!

А достаточно ли она к нему подготовлена? Имеет ли она право сдавать такой почетный экзамен? Заслужила ли она это звание?

«Член Всесоюзной Коммунистической партии (больше виков)».

«Нет, сначала кандидат, — подумала она. — Сначала

проверка на работе, в жизни. С завтрашнего вечера начнется этот великий экзамен». Перед ней лежала книга Ленина «Что делать?». Уже много дней она читала эту книгу. На про-тяжении всей зимы она изучала историю партии с комсомольцами, руководила кружком. Её слушатели, в особенности девчата (парни вели себя более сдержанно), не раз восторга-лись её знаниями, и сама она тогда была уверена, что все знает и может ответить на любой вопрос по истории партии. Теперь же все стало иначе. Теперь ей казалось, что она ничего не знает. За это время она прочитала не все, что следовало…

Пока заканчивали сев, на чтение почти не оставалось вре-мени. А в этот последний вечер она ничего не запоминала из того, что читала. Другие мысли приходили в голову — о прочитанном раньше, и она напрягала память, чтобы вспомнить ту или иную дату, событие, ленинское высказывание. А то вдруг ей начинало казаться, что она забыла, каковы обязанности члена партии, и она, потихоньку от самой себя, заглядывала в устав.

Вокруг лампы летали мотыльки, бились о горячее стекло и тоже мешали, отвлекали внимание.

Вздыхала Алеся, сидя над задачами, — готовилась к письменному экзамену по алгебре.

Маша злилась. Чего ей вздыхать? Все равно, если сама не решит, так завтра спросит у Павла, да и на экзамене не постесняется заглянуть в чужую тетрадь. Беззаботный у сестры характер. Легко ей будет жить.

«Разве радость в том, чтоб легко жилось? — задумалась ока. — Моя жизнь была нелегкой. Да и Алесина тоже, зря я на нее поклеп возвожу… Сколько горя мы перенесли!.. До революции такие, как мы, стадовились нищими. А мы вот… Алеся кончит дреять классов, поедет в Москву… — Ей на какой-то миг стало даже завидно, но она с нежностью посмотрела на сестру, склонившуюся над тетрадью, и, как мать, подумала: — Красивая она у меня».

На улице пели девушки.

Маша плотнее закрыла окно, поправила занавеску, но песня все равно залетала в комнату:

По-осею огу-ро-очки
Ни-изко на-ад водо-ою…

— и мелодия её навязчиво звучала в мозгу, овладевала всем существом и возбуждала непреодолимое желание запеть самой. Алеся уже напевала без слов, тихо и нежно. Маша мысленно повторяла за ней:

Сама буду поливать
Частою слезою…

Слова эти заставили её опомниться: слишком уж не гармонировали они с её настроениями, с её мыслями..

— Алеся!

— Не буду, Машенька!

Маша полистала страницы, которые ещё надо было прочитать.

— Когда я это сделаю?

— А ты заставь себя не думать ни о чем другом, — посоветовала Алеся, как будто знала, что у нее на душе. — Чтоб не мешать тебе, я лягу спать.

Маша начала читать главу о дискуссии в партии, о новой экономической политике и новом поражении врагов партии — троцкистов. И вдруг ей показалось, что она читает это впервые, — перед ней разворачивалась страница великой победоносной борьбы партии за счастье простых людей, за её, Машино, счастье. С трибуны десятого, одиннадцатого съездов Ленин видел будущее великого народа, его всемирную победу.

Маша сосредоточилась и читала, не слыша, что делается вокруг.

...На дворе было уже совсем светло, а на столе все ещё горела лампа. Она потушила её, подошла к окну, растворила его и жадно вдохнула прохладный воздух.

Все произошло значительно проще, чем она себе представляла. Но в этой простоте, как она потом поняла, и было все величие и весь глубокий смысл приема в партию.

Игнат Андреевич спокойным, но не совсем обычным голо-сом прочитал её заявление и анкету.

— Вопросы? — коротко спросил Мятельский, председательствовавший на собрании.

— Расскажи биографию, — сказал Костя Радник, котон рого самого только недавно принимали в члены партии.

Маша встала. Но вместе с ней встал Михей Вячера.

— Не надо, Маша. Знаем мы всю твою биографию, на наших глазах выросла. — И, обращаясь ко всем, продол жал: — Вся её жизнь что на ладони у меня. Я на её родинах был. Мы с Павлом Кацубой дружили, вместе гражданскую войну прошли, вместе домой вернулись. Трое нас — Антон Лесковец, — Михей взглянул на Максима, — и мы. Первыми и колхозы организовывали: они с Лесковцом в Лядцах, а мы Фаддеем Романом здесь, у нас.

Вячера минуту помолчал, обвел всех взглядом, как бы прашивая: а то ли он говорит, что нужно? Но, увидев, что ушают его внимательно, тихо продолжал:

— Все помню... Помню, как мать её умерла... Пришли мы с кладбища, на поминки, как водится... Вытерла она слезы и... хозяйка в хате... Многие тогда... — Хотел было он ещё что-то вспомнить, но махнул рукой и начал о другом:-Или возьмем сорок первый год... Помню, сидим с Прокопом Прокоповичем, советуемся, кого нам связными назначить в деревнях, И её, Машу, Антон Лесковец первой назвал. А через какой-нибудь месяц она нам сведения принесла... Пришла босая, а ночью

ударил мороз, снежком присыпало… Я ей утром по лагерю сапоги искал…

Маша как поднялась, так и стояла, прислонившись плечом к стене. Слушала и чувствовала, как все ровнее и ровнее бьется сердце.

— Одним словом, я с радостью дал ей рекомендацию и первый предлагаю — принять единогласно, — неожиданно закончил Михей.

Ладынин улыбнулся этому «принять единогласно», но больше никто, должно быть, не заметил обмолвки, так как никому, верно, и на ум не могло прийти, что можно не голосовать за её прием.

— Садись, Маша, Почему ты стоишь? — ласково сказал Ладынин.

Выступил Василь Лазовенка. Он говорил о её работе в колхозе в послевоенные годы и особенно этой весной.

Когда он кончил, инструктор райкома спросил:

— С Уставом партии ознакомились?

Она снова встала, как на экзамене, ответила коротко:

— Да, — но, подумав, поправилась — Изучила.

— Может, председатель хочет сказать? — кивнул Мятель-ский Максиму Лесковцу.

Максим поднялся, помолчал, прокашлялся, словно гото-вясь к длинной речи, а сказал всего три слова:

— Поддерживаю полностью. Достойна.

Маше даже немного обидно стало, что никто не спросил её, не задал ни одного вопроса по истории партии или по Уставу; хоть бы предложили рассказать об обязанностях члена партии.

Когда голосовали, она не поднимала глаз, ей казалось, что смотреть неловко: а вдруг кто-нибудь не захочет

подать за нее голос?

— Принята единогласно! — объявил Мятельский, и Маша вздрогнула от неожиданных аплодисментов, и снова застучало у нее сердце, загорелись щеки. Она не знала, что надо делать в таких случаях, и ещё ниже опустила голову.

После приема в члены слушали Гольдина. Он говорил долго и хитро: больше о чужих сельпо, чем о своем, — чтобы доказать, что у него всче идет не хуже, чем у других. На деле неполадок в его работе, было немало. Поэтому и решил Ладынин послушать его на закрытом партийном собрании.

Никакие уловки Гольдина не помогли — пробрали его крепко. Обсуждение проходило весело: Вячера, Костя Рад-ник, Лазовенка и Лесковец рассказали немало интересных случаев. Гольдин вытирал пот, ерзал, записывал что-то в блок «нот и вдруг останавливал выступающего:

— Подожди! Совсем это не так. Что ты мне рассказываешь! Правду любить надо! — и серьезно дополнял сказан-ное такими деталями, которые вызывали общий смех. Только Ладынин хмурился: он видел в этом очередную хитрость Гольдина — шуточками отвести от себя критику.

Маше тоже очень хотелось сказать о работе сельпо и в особенности о лавке в Лядцах, но она не отважилась.

Сразу после окончания собрания Максим вышел, вскочил в седло и уехал, ничего не сказав Маше.

Мурашки в тот вечер на собрании не было. И Маша даже обрадовалась, что домой будет идти одна: ей хотелось после такого чрезвычайного события побыть наедине с собой, дать волю чувствам и мечтам. Её не пугало, что был уже час ночи. Чтобы никто не пригласил переночевать или не вызвался проводить, она, пока коммунисты, столпившись вокруг стола, решали с Ладыниным и Байковым разные текущие

вопросы, незаметно вышла и почти бегом, через сад, направилась в сторону Лядцев.

18

Она выходила уже из сада, когда её догнал и заставил остановиться тихий голос:

— Маша!..

Она обернулась.

— Василь!

Он подошел и крепко пожал ей руку.

— Поздравляю, Маша. — От всего сердца. Знаешь, я- второй раз переживаю эту радость — когда меня самого принимали и вот сегодня… за тебя…

— Спасибо, Вася.

Странно, но у нее вдруг пропало желание быть одной. Напротив, теперь ей хотелось идти с ним вместе, рассказать ему о своих переживаниях, поделиться своим счастьем.

Она тихо засмеялась.

— Знаешь, я вышла, и мне показалось, что у меня выросли крылья, что я поднялась и полетела… Как ты меня только догнал?

Он ответил шуткой:

— Должно быть, ну меня тоже крылья выросли. Минуту шли молча, видно, каждый ждал, что заговорит другой.

— А ты это чудесно сказала — о крыльях. Вступая в партию, и в самом деле как будто получаешь крылья для орлиного полета. Скажи, ты думаешь о нашем завтрашнем дне?

— Думаю.

— Мы сегодня с Игнатом Андреевичем ходили и мечтали, какими станут наши края через несколько лет. Какие здесь будут урожаи!

Они вышли в поле. После обильных дождей, ливших с перерывами почти всю неделю, пошли в рост яровые, поднялась чуть ли не по плечо рожь. Высокими стенами сжимала она узкую дорогу. Днем прошел дождь, и земля под ногами была мягкая и влажная. Воздух был насыщен пьянящим ароматом ржаного поля. В небе заночевали низкие, мягкие, кое-где разорванные облака; сквозь просветы заглядывали на землю любопытные звезды. Ночь была безросная, тихая и тоже какая-то мягкая, как земля и небо.

— Ах, какое у вас жито, Василь! — Маша провела рукой по колосьям, и они чуть слышно зашелестели. — Любо поглядеть!

— Жито доброе. Но я показал бы тебе ещё лучшее. Приходи, много интересного увидишь.

— Насти боюсь, — засмеялась Маша. Он тоже рассмеялся.

— Для нее, кажется, кроме свеклы, ничего сейчас не существует... Страшно хочет стать героиней...

Маша вздохнула. Василь удивленно повернулся к ней, но, оглянувшись, понял, в чем дело. Они перешли межу, разделявшую земли их колхозов.

На земле «Партизана» тоже росла рожь, но даже ночью была заметна разница между этой рожью и той, мимо которой они только что прошли.

Василь после короткой паузы сказал: — Боюсь, что наше жито погонит в солому, а колос может быть никудышный.

Маша поняла, что он хочет как-нибудь утешить её, убедить, что у них в колхозе (это был участок не её бригады) рожь тоже неплохая. Конечно, значительно лучше, чем в прошлом году, — она сама это видела. Но

ведь не такая, как в «Воле»!

Беседуя о видах на урожай, о делах в колхозах, они незаметно дошли до Лядцев и, не сговариваясь, повернули не к улице, а на стежку, которая вела задами, мимо огородов. Со стежки свернули на новую дорогу и опять вышли в поле, где на большой площади посеяна была картошка, а в низине — капуста. Они говорили о сенокосе, который вот-вот должен начаться, потом — о строительстве гидростанции, о Сокови тове, в тот день переехавшем в областной центр. Но ни слова не было сказано между ними об их чувствах и отношениях. Маша об этом и не думала. Она так свыклась с тем, что Василь — добрый друг, с которым всегда можно откровенно поговорить, поделиться мыслями, что эта ночная прогулка казалась ей вполне естественной.

Она заметила только, что Василь все время избегает го ворить о Максиме.

«Боится сделать мне больно, — подумала она. — Добрый мой друг, я уже ко всему привыкла, и у меня, кажется, все раны в душе уже зажили. Что бы ты о нем ни сказал — хо рошее или дурное, — ничто уже не тронет меня теперь».

Да, ни о чем не думала она до тех пор, пока не стала прощаться с Василем возле своего огорода.

Он первый показал ей на светлую полоску на востоке:

— Пора спать, Маша.

Тогда она вспомнила, что и прошлую ночь почти не спала.

— Пора.

— Доброй ночи, Маша.

— Доброго утра, Василь, — засмеялась она.

Он задержал её руку, сжал сильнее:

— Маша, встретимся завтра? — Завтра?

— Да. Давай тут же… Ладно?

— Ладно.

— До завтра, Маша, — он выпустил её руку и поспешно ушел.

Она стояла неподвижно и долго-долго глядела ему вслед, пока очертания его не растаяли в сумраке ночи. Глядела почти бездумно.

«Встретимся завтра… Здесь… Ладно? Ладно», — вспомнила его слова, свой неожиданный ответ, и вдруг молнией блеснула мысль — такая яркая, что она разом все осветила. Маша все поняла иа усмехаясь, подумала: «Пожалуй, пришел конец моей девичьей жизни». Но тут же испугалась этой мысли. Оглянулась: вдруг кто-нибудь подслушал? А в душе нее поднялась целая буря. Она сделала шаг и прижалась грудью к изгороди.

«Встретимся завтра… Ладно».

А имеет ли она право на эту встречу? Что скажут люди, Максим?.. Максим? А что он может сказать? Какое он имеет право что-нибудь сказать?

Она прислушалась, как будто хотела услышать некий тайный голос души. Но было тихо, как бывает только на рассвете. Нет, вот он, этот голос, «Он гордый, а я, по-вашему, не гордая? Нет, я тоже гордая». Так что же тогда было все эти шесть лет? Как назвать те её чувства? Неужто в самом деле ничего от них не осталось? Она снова прислушалась.

«Встретимся завтра…»

Вот что теперь осталось! И словами этими полно все её существо.

На мгновение ей показалось, что все это она видит во сне.

Нет, это не сон. Но какая удивительная ночь! Сколько событий произошло в её жизни за одни сутки!

А может быть, ничего ещё и не произошло? Может быть, ему просто хочется так вот, по-товарищески, поговорить? Нет, не просто поговорить ему хочется и не просто так он догнал её сегодня. Она хорошо помнит слова, сказанные им, когда они в гололедицу встретились в поле: «Все-таки я тебя любил… И чувство это старое. Я понял это ещё на фронте… Я вспоминал тебя, и мне становилось легче…» Но почему тогда слова эти не вызвали никакого отклика в её душе? Теперь они полны для нее радостного смысла. Ведь она, как и каждый, имеет право на счастье, самое простое и самое человеческое счастье. Так пусть же оно придет скорее!

Томительно долго тянулся этот день. Казалось, конца ему не будет. Маша за день переделала в три раза больше дела, чем обычно, и все равно ничего не помогало, ничто не сокращало его. Встречаясь с колхозниками, у которых, она знала, были часы, она спрашивала время. Раньше она почти никогда этого не делала. Поэтому заместитель председателя Бирила, к которому она, позабыв, обратилась с этим второй раз, пошутил:

— Вечера ждешь, Маша?

Она вспыхнула, как девочка, не знала, куда глаза девать, куда спрятаться! Хорошо, что они были одни. Старик, как бы читая её мысли, заметил:

— Ничего, ничего, Маша. В жизни (всяко бывает.

Она ужаснулась: неужели знает, неужто кто-нибудь видел их ночью? До самого вечера мучила её эта мысль. А когда стало смеркаться, Маша позабыла о ней и через огород шла смело, не оглядываясь. Встретившись с Василем, предложила пойти в поле.

Сколько они исходили за эту ночь! Обошли чуть не все поля обоих колхозов, все окрестные стежки-дорожки. Как подростки, стеснялись предложить друг другу

посидеть и все ходили и ходили, не чувствуя усталости, не замечая, куда зашли, и, пожалуй, никто из них не мог бы толком рассказать, где они за ночь побывали. Они говорили не умолкая. Говорили обо всем: о колхозных делах, об агрономии, об урожае, о международных событиях, о книгах и людях, вспоминали минувшее, довоенное и военное, веселое и печальное, мечтали — о будущем, но не о своем — о будущем вообще, всех советских людей, обсуждали судьбы своих односельчан. Но избегали упоминать два имени — Максима и Насти.

Об этом Маша вспомнила только после того, как они простились на рассвете. Простились на том же месте. Василь так же задержал её руку в своей и так же, как в первый раз, спросил:

— Встретимся завтра, Маша? Она пошутила:

— Сегодня, Вася, Он засмеялся.

— Правда, сегодня…

Было воскресенье, срочной работы не предвиделось, и она решила выспаться за все три ночи. Несмотря на усталость, — Маша только сейчас её почувствовала, — она долго не могла заснуть. А когда наконец заснула, проспала почти до обеда.

Алеся, едва сестра проснулась, укоризненно покачала головой.

— Где ты была? Опять на собрании? Состарят они тебя, эти собрания. Ах, до чего я не люблю этих длинных заседаний!

Маша счастливо рассмеялась. Она вдруг почувствовала себя на несколько лет моложе. И утром, засыпая, и сейчас она думала о том, что встречи эти точно вторая молодость. Да и не было у нее тогда, много лет назад, таких встреч. С Максимом они обычно встречались на гулянье, танцевали, потом уходили. Уйти старались незаметно, тайком, но это не всегда удавалось. Их

догоняли насмешки и шутки молодежи. Они шли на край деревни, садились где-нибудь на лавочке перед палисадником, в уголке у забора. Сидели, болтали о разных пустяках, редко — об учебе, чаще о хлопцах и девчатах—кто за кем «ухаживает». Иногда бывало так, что они не знали, О чем говорить, не находили слов, и тогда сидели молча, смотрели на звездьи, на луну, слушали, как поют девчата, бренчит вдали балалайка и тихо шумит верба или куст черемухи.

Правда, изредка Максим целовал её. Она застенчиво отворачивалась и тихо просила:

— Не надо, Максим.

А однажды любившая пошутить тетка Параска облила их через забор водой, крикнув:

— Не мешайте спать, ухажеры сопливые!

В другой раз мальчишки-подростки подслушали их любовный разговор и потом несколько дней не давали по улице, пройти.

Но их уже это не смущало, чувства их становились смелее, в последний год они не стеснялись уже показываться на людях вместе, уже и в клубе, когда смотрели спектакль или кинокартину, садились рядом. Но далеко гулять не ходили. Ни разу вот так не вышли и не блуждали до утра.

...Как давно это было!

Маша вздохнула.

И было ли то любовью? Не впервые ли пришла она сейчас?

19

В ту ночь они не пошли далеко: с каждой новой встречей они все меньше стремились уйти подальше от любопытного людского глаза.

Обогнув деревню, они вышли на строительную площадку. После посевной работы на гидростанции возобновились и теперь шли полным ходом.

На площадке приятно пахло нагретой за день сосной и свежевыкопанной землей.

Они сели на бревно, одиноко лежавшее над обрывом, В речке колыхались звезды, будто играли золотые рыбки, в колхозном саду заливался соловей.

Неожиданно Василь крепко обнял её.

— Вот так, Машенька.

Она вздрогнула, почувствовала, как испуганно забилось сердце, и, чтобы как-нибудь успокоиться, тихо предложила, не высвобождаясь из объятий:

— Пойдем, Вася.

Он сразу согласился, встал.

— Хорошо... Пойдем.

Они вышли на тропку, постояли на мосту, облокотись на перила. — Что-то не налаживался у них настоящий разговор, как в прошлые разы. Но Маша понимала, отчего это, и ждала.

Со стороны сосняка послышались молодые голоса, Василь и Маша спустились с плотины вниз, где над самой водой росли вербы, остановились в их тени. Звонкие молодые голоса приближались.

— Алеся! — узнал Василь.

И правда, Алеся и Павел шли из школы, из районного центра, после очередного экзамена, — ...я тебя не понимаю и уверен—ты и сама себя не понимаешь. Начиталась романов и разыгрываешь чеховскую героиню, — голос у юноши был обиженный и растерянный.

Алеся засмеялась.

— В Москву! В Москву, Паша! — слова эти она произнесла с необычайным подъемом и без всякой театральности, естественно и просто. — А тебе перед экзаменом, уважаемый Архимед, следовало бы знать, что Антон Павлович никогда не писал романов.

Юноша не сдавался.

— В Москву! — передразнил он. — Много там таких, как ты. Провалишься — тогда запоешь...

Алеся остановилась, в голосе её послышались гневные нотки:

— Уходи! Не желаю я с тобой идти после этого!

— Алеся! — Голос юноши дрогнул, и это, должно быть, смягчило девушку, они двинулись дальше.

— Провалишься! А я твою противную математику и сдавать не буду. Я на литфак пойду.

— Как будто в Минском университете нет литфака.

— Дорогой мой Архимед! Пойми раз и навсегда...

Голоса отдалялись, и слов уже нельзя было разобрать.

Маша тихо и радостно рассмеялась и как-то совсем нечаянно, незаметно для себя прижалась щекой к плечу Василя.

Он порывисто обнял еег привлек к себе.

— В Москву! Сколько надежды на счастье в её словах!

— И уверенности... Машенька, милая! Василь крепко поцеловал её в губы. Маша подняла руки, обхватила его шею!

— Вася!

Они сидели на опушке березовой рощи. За спиной и

вверху чуть слышно шелестели листвой молодые березки, а впереди — протяни руку и достанешь — стояла высокой, неподвижной стеной рожь. По небу медленно плыла неполная луна, изредка ныряя за облака и снова появляясь; она довольно и лукаво ухмылялась, как бы говоря: «Ну нет, от меня вы нигде не скроетесь». А в роще заливались соловьи. Недаром в деревне эта белая рощица в шутку называлась «соловьиной». Их тут был целый ансамбль, и они то слаженно, точно под палочку дирижера, выводили свои трели, то вдруг заливались поодиночке, соперничая, показывая свою ловкость, талант, удаль. Давно уже Маша так не слушала соловьиного пения — захваченная, завороженная, оглушенная этой простой, знакомой и в то же время чарующей музыкой.

Эта песня звучала гимном её любви, её счастью. Она наполняла её сердце, и оно, казалось, росло и росло в груди. Она боялась вздохнуть, пошевельнуться: голова Василя лежала у нее на коленях. Она знала, что он не спит, но глаза у него закрыты, он, должно быть, так же заворожен соловьиным пением и тем, чем полны их сердца.

При лунном свете она ясно видит его лицо. Как дорога ей каждая его черточка! Какие славные, умные морщинки у него на лбу! Вот она — настоящая любовь, могучее чувство, для которого нет преград, которое все побеждает на своем пути, даже смерть. Такого чувства она ещё не испытывала никогда... А что же было раньше?

Правда, что это бышо—все эти шесть лет?.. Но теперь уже все равно. Теперь уже ничто её не волнует и не смущает, даже то, что скажут женщины, которые так строго осуждали Максима. Да, наконец, что они могут сказать? Она нашла свое счастье... Нет, счастье нашло её...

«Мое счастье!» Она не удержалась—. наклонилась и поцеловала морщинки на лбу Василя, Он обнял её, прижался своей колючей щекой к её лицу.

— Маша! Завтра?

— Дай опомниться, Вася.

— Не дам. Завтра. Я слишком долго ждал этого дня

20

Её тревога, её волнение были замечены женщинами, когда она раздавала наряды на работу. Веселые, шумные, они, как всегда, шутили, подсмеивались друг над дружкой, над нею, своим бригадиром, а больше всего — над мужчинами и молодыми парнями, которые держались особняком, «стреляли» друг у друга курево и делали вид, что не обращают никакого внимания на бабьи насмешки. У Маши пылали щеки и громко стучало сердце. Она забывала, что говорила минуту назад.

— Что-то наш бригадир не в себе, бабьи, — заметила одна из женщин.

Остальные переглянулись.

«Знают, конечно, — подумала Маша, — не может быть, чтобы за столько дней никто нас Не увидел. Но почему молчат?

Лучше бы уж смеялись, подшучивали — тогда ясно было бы, что думают».

— Ты нездорова, Машенька?

У Маши дрогнуло сердце… Никогда ещё она не лгала Сынклете Лукиничне, которая была ей, что родная мать.

— Голова болит.

— Так пошла бы полежала. Необязательно тебе все время бегать по полю. И так у нас в бригаде все идет как следует, да и в других, слава богу, налаживается.

Маша ушла домой. Ей хотелось только одного — чтобы

Алеси уже не было, потому что, если начать переодеваться при сестре, не избежать объяснений.

На дверях висел замок.

Она быстро вошла в дом, старательно умылась, надела свое лучшее платье. Но тут же передумала, сняла его и надела, правда, хорошее, но такое, в котором её уже не раз видели в обычные рабочие дни.

Василь поджидал её возле колхозного сада. На нем был светлый костюм, совершенно новый — Маша его ещё ни разу не видела, — белоснежная рубашка и очень красивый светло-синий галстук. Он оделся будто на большой праздник, и весь светился, как это солнечное утро. Маше стало стыдно, что она надела не самое лучшее, что у нее есть. Но Василь не обратил внимания на её платье. Он крепко сжал обе её руки, потом, оглянувшись, поцеловал их.

— А я глаза проглядел. Даже начал бояться: а вдруг не придешь?

— Ну, что ты, Вася, — виновато улыбнулась она.

— Идем скорей, а то Байков может куда-нибудь сбежать, хотя я и просил его задержаться.

Рядом с ним, плечом к плечу, Маша пошла через сад. Она вдруг почувствовала, что мучительной тревоги, не дававшей ей покоя все утро, как не бывало. Ей стало весело.

Секретарь сельсовета Галя Бондарь, увидев их, разинула рот и от удивления не ответила, когда они с ней поздоровались. Маша засмеялась. Тогда и Галя захохотала.

— Если бы вы знали, что я о вас сейчас подумала, вы бы меня убили.

— На что нам тебя убивать, когда ты нам сейчас нужна, — ответил Василь. — Ты правильно подумала.

— Правильно? — У девушки округлились глаза и вытянулось лицо.

Василь громко постучал в дверь кабинета председателя.

— Входите! Чего там!..

Байков стоял посреди комнаты, с довольным видом потирая контуженную руку.

— Меня, старого воробья, не проведешь. Я взглянул в окно и все понял. С такими лицами приходят только раз в жизни и только в сельсовет. Ну-у, поздравляю и желаю вам такого счастья и такой жизни, каких вы сами себе желаете...

Он обнял Василя, поцеловал Машу и вдруг отвернулся, плечи его дрогнули.

Василь и Маша переглянулись. Они поняли. Дочь Сергея Ивановича, Валя, убитая фашистами, была сверстницей и подругой Маши.

Минуту стояла тишина.

Байков подошел к столу, обернулся.

— Простите старика. — И, пальцами вытерев глаза, крикнул: — Галя! Давай книгу! Я сам вас запишу. И на свадьбе у вас погуляю, как не гулял уже давно. Эх, и погуляю!..

Не было больше и тени стыда, не было волнений и той неловкости перед людьми, которые испытывала Маша все утро. Когда вышли из сельсовета, появилось новое чувство — легкая, приятная грусть, словно жаль было всего, что осталось где-то там, позади. Такое ощущение бывает, когда человек переступает какую-то межу и начинает новую жизнь. Маше даже показалось, что и вокруг все стало немножко иным, чем было несколько минут, назад.

— Теперь давай мать удивим, — сказал Василь, и Маша молча согласилась. Да иначе и нельзя было—:она это

понимала. Теперь было бы уже смешно и нелепо прятаться от людей. Теперь ей и самой хотелось идти рядом с ним, идти, гордясь и им и собой. Пускай смотрят и радуются вместе с ними все, кто желает им счастья. Пускай злятся и осуждают те, кому это не нравится.

Они шли, разговаривая и смеясь. Но в конце сада Маша вдруг остановилась, как будто наткнувшись на какое-то препятствие.

— Вася! Ладынин!

К любой встрече отнеслась бы она сейчас: спокойно, даже, кажется, если б вдруг повстречался им Максим... Но Ладынин... А что, если секретарь осудит её в эту светлую незабываемую минуту? Он может сделать это не словами — одним взглядом.

Ладынин шел по дорожке мимо забора.

— Ну, так что, что Ладынин? — И, поняв её, Василь улыбнулся. — Он знает. Я ему сказал... Еще вчера...

Ладынин увидел их и остановился, поджидая.

Брови его сошлись в одну линию, проложив морщинки на лбу. Взгляд у него был суровый, и у Маши испуганно екнуло сердце. Но через мгновение она поняла, что Игнат Андреевич пытался скрыть улыбку. И не сумел. Она вдруг брызнула, добрая, ласковая, осветив его лицо. Он протянул Маше руку и сказал одно только слово, просто и душевно;

— Поздравляю.

А пожимая руку Василю, прибавил:

— От всего сердца.

Василь кивнул головой в сторону своего дома?

— Зайдемте, Игнат Андреевич?

— Нет, нет. Я знаю, когда надо зайти. Будь спокоен. Кроме того, мне надо ехать… Поджидаю Лесковца… Пожалуйста, — он почтительно уступил им дорогу, и они, отходя, чувствовали на себе его добрый взгляд, и сердца их все больше и больше наполнялись ощущением счастья.

Старая Катерина полола грядки и, как всегда, думала о сыне, вздыхала. Славный у нее сын, уважаемый на весь район. Но для полноты материнского счастья не хватало одного… Неужто и правда нет для него девчины? Нравится ему докторова дочка — сватался бы к ней, не тянул. Старуха была убеждена, что выйти замуж за такого человека, как её сын, величайшее счастье даже для первой красавицы. Правда, в глубине души она предпочла бы, чтоб сын женился на девушке попроще. Но ему разве укажешь? Да, наконец, Лида тоже неплохая девушка. Она и грядки полоть умеет не хуже деревенских, и корову подоит… А выйдет замуж — так, понятно, бросит с мальчишками на коньках кататься да в мяч играть…

— Мама, иди сюда.

Она выпрямилась и увидела сына: он стоял возле забора. Рядом с ним стояла Маша. Но, увидев её, Катерина ничего не заподозрила: мало ли теперь ходит людей, и старых и молодых, к её сыну, тем более что у него в хате колхозная канцелярия, И она спросила;

— А на что я тебе?

— Иди, иди скорей.

Она подошла.

— Мой, мама, руки и жарь яичницу — угощай невестку. Василь сказал это просто, с лукавой усмешкой, и мать сна чала подумала, что он шутит. Но, взглянув на Машу, увидев её смущенную улыбку и стыдливый румянец на щеках, ахнула, даже присела, не зная, что ей делать со своими испачканными влажной землей руками. Потом быстренько вытерла их о передник,

кинулась к Маше, обняла.

— Машечка, родная моя! Недаром я тебя сегодня во сне видела, — и заплакала.

— Не надо, мама, — целуя её, сказала Маша дрогнувшим голосом.

«Мама!» — слово это затронуло в её душе самые нежные струны. Восемь лет ей некому было сказать это самое дорогое слово, и, только вспоминая мать, шептала она его, чаще всего в минуты отчаяния и горя. И вот она произнесла это слово в час радости, обращаясь к живому человеку. От этого ещё светлее стало её счастьем и она почувствовала, что щеки её мокры от слез.

Недолго Маша задержалась у свекрови — только позавтракала. Но этого какого-нибудь часа — не больше — было достаточно, чтобы новость молнией облетела и Добродеевку и Лядцы.

Женщины её бригады пололи лен у самых огородов, в стороне от дороги. Заметив Машу ещё возле сосняка, они все, как одна, оставили работу и, заслонившись ладонями от солнца, стали разглядывать её. Маша поняла, что они все знают, и двинулась к ним. Девчата кинулись ей навстречу. Подбежали, обхватили десятком пар рук» повисли на шее, по» том чуть ли не понесли.

— Поздравляем, Машенька!

— Не поздравлять, а бить надо! Подумать только, от подруг скрывалась!

— А я знала, — подала голос Дуня.

— Знала?

— Знала и молчала.

— Все равно не простим Маше!

— На кого ты нас покидаешь?

— Не пустим мы тебя в «Волю»!

— Не пустим, девочки!

— Пускай Василь к нам идет!

До этой минуты Маша ни разу не подумала, где, в самом деле, она должна будет жить, как будет с её бригадирством. И Василь ни словом об этом не обмолвился.

— Я никуда не уйду, девчата!

Но на её слова никто не обратил внимания. Только кто-то из женщин отозвался:

— Рассказывай! Знаем мы! На крыльях полетишь 1 Женщины вели себя более сдержанно — не обнимали, не целовали, даже особенно не поздравляли, но улыбались дружелюбно, ласково, довольно покачивая головой. Одобряли рассудительно, деловито.

— Молодчина, Маша! Василь—Золотой человек.

— За таким будешь жить, что на теплой печке.

— И на чужих баб он не заглядывается…

— Пускай теперь петух этот попляшет!

— Добрую ты ему дулю поднесла!

Слова эти неприятно задели Машу. Она оглянулась: и увидела Сынклету Лукиничну. Старуха стояла поодаль, в стороне ото всех. Глаза их встретились. Сынклета Лукинична глядела сурово, закусив губу, взгляд её, казалось Маше, говорил: «Не Максима, а меня обидела ты на всю жизнь».

Словно тень легла на светлую Машину радость, тревожно, застучало сердце. Было жалко эту душевную женщину. Захотелось подойти к ней, сказать что-нибудь такое хорошее, ласковое, чтобы от обиды ничего не осталось, чтобы снова возвратились теплые, дружеские

их отношения, как было в прежние времена. Но Сынклета Лукинична, как будто разгадав её намерение, вдруг повернулась и пошла в сторону деревни, сгорбившаяся, одинокая.

Женщины увидели это и сразу притихли, им стало стыдно собственной несдержанности.

Кто-то вздохнул:

— Жалко тетку Сылю.

Ганна Акулич по простоте душевной прибавила:

— Она тебя, Маша, за невестку уже считала. Маша разозлилась: зачем они по-бабьи суются в чужие дела? Но сдержала свой гнев, наклонилась и начала полоть. Женщины тоже молча принялись за работу.

Забавно и шумно реагировала Алеся. Вернувшись из школы и узнав, что сестра вышла замуж, она побежала и разыскала её на лугу. Издалека уже закричала:

— Ну что ты наделала? Маша даже испугалась.

— А что?

— Не могла пять дней подождать!

— Зачем? — удивилась Маша.

— Пока я сдам последний экзамен. А теперь я провалю.

— Почему?

— О тебе думать буду. Маша подошла и обняла её.

— Как раз теперь тебе обо мне думать и не надо.

Много было в тот день в Лядцах разговоров об этом неожиданном замужестве. Говорили при Маше и без нее. Один только человек молчал — Петя. Он не пришел обедать, а явившись вечером, не сказал ни слова. Ходил молчаливый, сердитый, все переворачивая на своем пути, разбил тарелку. Напрасно Алеся

пыталась вызвать его на разговор, на спор, на перебранку. Парень как воды в рот набрал.

Маша понимала чувства брата и жалела его.

21

Двести граммов водки, которые Максим выпил в районной чайной, не подняли его настроения. На душе было очень неспокойно. Это была не обида, не злость, а какое-то мучительное и тяжелое чувство. Пускай бы его ругали, пускай бы, наконец, дали взыскание — было бы, кажется, легче, потому что он был к этому готов, как только узнал, что его будут слушать на бюро райкома. Он ждал самой суровой «разносной» критики. Критика была, но какая-то странная. Два часа члены бюро говорили о его ошибках, говорили спокойно, обдуманно, как бы убеждая, и каждый из них, затрагивая тот или иной вопрос, непременно сравнивал «Партизана» с «Волей», руководство Лесковца с работой Лазовенки. Для Максима это было всего тяжелее, так как все, что они говорили, было суровой правдой, коловшей глаза. И ещё более неловко и тяжело было оттого, что на заседании присутствовал секретарь обкома Павел Степанович, который до войны был секретарем их райкома и много лет работал вместе с отцом, дружил, с ним. Он тоже выступил и начал свое выступление с воспоминаний об Антоне Лесковце, о его работе на посту председателя, его героической смерти.

— ...Признаюсь, товарищи, что я прямо обрадовался, когда мне сказали, что председателем «Партизана» выбран сын Антона Лесковца. Таков закон нашей жизни. Дети становятся на место отцов и достойно продолжают их дело. А потому мне сегодня больно и обидно слышать все то, что здесь говорили о товарище Лесковце. Больно, Максим Антонович!

Максим не поднимал глаз, но чувствовал на себе укоризненный и испытующий взгляд секретаря обкома.

«Сейчас получу сполна», — подумал он. Но секретарь

обкома неожиданно закончил свое выступление тем, что пообещал помочь колхозу достать автомашину. Это ещё больше запутало и усложнило то новое чувство, которое появилось у Максима после выступлений членов бюро.

Усталый, мрачный, разбитый душевно, возвращался он поздно вечером домой. Вдобавок у него разболелась голова, должно быть оттого, что почти ничем не закусил, когда выпил.

Сдав конюху лошадь, он прямо огородами, чтоб ни с кем не встречаться, направился домой. Во дворе остановился удивлённый. В доме было очень светло и топилась печь: отблески пламени играли на оконных стеклах; Но он не стал задумываться о причинах. Торопливо открыл дверь и удивился ещё больше. У печи, со сковородником в руках, стояла высокая красивая женщина.

Максим растерялся. Она приветливо улыбнулась, тихо спросила:

— Максим? — и, не ожидая ответа, повернулась и крикнула — Леша! Встречай!

Максим, забыв обо всем, не поздоровавшись с женщиной, стремительно бросился в комнату.

Брат! Алексей! Семь лет не виделись!

От кровати обернулся низкий коренастый человек с бритой загорелой головой, в расстегнутой шелковой рубашке, широко раскинул руки.

— Максим! Меньшой чертушка!

Они крепко обнялись, закружив друг друга по комнате. Потом Алексей оттолкнул Максима, сам сделал шаг назад.

— Погоди! Дай посмотреть, каким ты стал! Ну-у, брат! Дуб! Женя, Женя! Иди знакомиться!

Из-под одеяла на кровати вылез мальчуган лет полутора, протянул ручки, закричал:

— Мама! Папа! На! На! На!..

— И ты хочешь знакомиться? Давай, давай, — отец подхватил малыша на руки.

Пожимая руку жене брата, Максим быстрым мужским взглядом окинул всю её ладную фигуру. Не без зависти подумал: «Красивую женку отхватил, дьявол куцый».

Женя, как бы прочитав его мысли, шутливо сказала: — Я думала, вы такой же коротышка, как мой муж, а вы вон какой…

— Теперь племянника на, целуй, — Алексей передал сына Максиму. — Игорь Алексеевич Лесковец. Прошу любить и так далее…

Мальчик обхватил Максима за шею, по-детски смешно чмокнул в висок. Малышу не хотелось ложиться спать, и он был рад, что отец взял его из постели и отдал дядьке, у которого, по всему видно, нет никакого намерения заставлять его спать.

— Простите. У меня блин в печке. Женя вернулась на кухню.

Братья остались одни, если не считать Игоря, который чувствовал себя на руках у дяди совсем как дома: бесцеремонно забрался в карман гимнастерки, достал авторучку, вытащил многочисленные квитанции и записки и побросал их на пол. Максим, который, вероятно, первый раз в жизни держал такого малыша, чувствовал себя значительно хуже, не зная, как с ним обращаться. Попытка отца забрать мальчика от Максима встретила решительный отпор.

— Пусти его. Пускай бежит к матери, Разбойник этакий, В дядьку, должно, пошел.

Женя позвала мальчика, и он мигом забыл о Максимовых карманах, соскользнул на пол и затопал к

матери.

Братья ещё раз оглядели друг друга.

Потом Алексей сел за стол; оперся о него грудью, потер ладонями лоснящуюся голову. Взгляд его изменился — стал как-то холоднее, с лица сошла улыбка.

— Значит, слушали на бюро?

Максим сразу насторожился, поняв, что брату о многом уже рассказали. — Да, слушали»

— Ну и что?

— Известно что. Пропесочили как следует. Алексей крутнул головой.

— Пропесочили... Значит, было за что.

— В нашем деле всегда будет за что... Это не то, что у вас...

— Вот как! — удивился Алексей и, поднявшись, прошелся по комнате, широко, по-моряцки, расставляя ноги. Остановился перед Максимом, резко спросил: — Взыскание дали?

— Нет. Ограничились проборкой. — Максим чувствовал, что начинает злиться, и старался говорить как можно спокойнее, мягче, свести этот, неуместный в такое время, как ему казалось, разговор к шутке.

— Зря. Стоило дать за все то, что мне тут о тебе порассказали.

— Кто?

— Кто — неважно. А что — ты сам знаешь, — Алексеи опять прошелся.

Максим подумал уже довольно неприязненно, с раздражением: «Тоже в духовные наставники лезет. Без тебя мало советчиков... Хоть бы такт имел. В первую же минуту с выговором...»

Алексей вздохнул.

— Та-ак одним словом, ерунда получается, дорогой брат… Тебя народ выбрал… И выбрал не потому — пойми это! — что ты, как говорится, звезды с неба хватаешь… Нет! Выбрали в надежде, что сын будет достоин отца…

Максим побледнел.

— И так же твердо, так же разумно будет вести колхоз к богатой, к счастливой жизни…

— И веду!

— Да нет! Выходит, что плохо ведешь… Не оправдываешь доверия народа.

Максим побледнел ещё больше, дрожащими пальцами начал застегивать карман гимнастерки, расстегнутый Игорем.

— Тебе просто наклеветали. Я за полгода сделал для колхоза больше, чем до меня было сделано за четыре года… Я… Я не знаю колхозника, который был бы мной недоволен…

— И ты считаешь заслугой, что тобой доволен Шаройка? Однако и самомнение у тебя! Ух ты! Все сделано тобой? Без народа, без помощи государства, партии? Ерунда! Детские рассуждения… Тобой пока что ни черта не сделано! И ты это должен понять…

— Ох-хо-хо, ничего-то он не понимает, — послышалось за спиной. — Он собственное счастье проворонил.

На пороге стояла мать и очень неласково смотрела на младшего сына. Максима поразил её суровый и осуждающий взгляд.

— Какое там счастье! — отмахнулся он от матери.

— Как это какое? — рассердилась мать. — Машу!

— При чем тут Маша? — удивился Максим.

— Ох, да он ничего не знает! — всплеснула руками мать и с возмущением крикнула: —Что ты вытаращил на меня глаза? Маша вышла замуж! Вот при чем…

Максим даже отшатнулся.

— Маша? Замуж?

— Да! Маша. Замуж, — коротко и сердито ответила мать. Он сделал шаг назад.

— За кого?

— За Василя Лазовенку.

Он сел на скамью, но тут же встал, Алексей исподтишка, с иронической усмешкой наблюдал за ним.

— За Лазовенку? — и снова сел.

Сынклета Лукинична отвернулась, ласково заговорила с невесткой, с внуком. Мальчик звонко засмеялся. Алексей прошелся к двери, заглянул на кухню, что-то сказал. Все это доходило до сознания Максима как сквозь туман, неясно, точно издалека. В голове с бешеной быстротой вертелись слова: «Маша вышла замуж. За Лазовенку. Маша вышла…» Какой-то момент у него было такое ощущение, что слова эти в самом деле вертятся перед глазами, что можно их схватить, остановить… От этого усиливалась головная боль, как будто это они, слова эти, стучали в виски. Алексей повернул от двери, подошел к стене, на которой висели фотографии, долго смотрел на портрет отца, тихо проговорил:

— Да-а, Максим, не так должны мы чтить память Антона Лесковца.

Очень тихо сказал, но слова эти больней всего задели Максима. Он вскочил, сжав кулаки, сделал шаг к брату, заскрипел зубами:

— Ты-ы… Чего ты мне душу переворачиваешь? Хватит с меня бюро! Эх-х, вы-ы! — и, повернувшись, стремительно выбежал из хаты, чуть не сбив с ног малыша.

Уже во дворе, пробегая мимо окон, услышал сердитый голос жены брата:

— Алеша! Что это?.. Сейчас же верни и помиритесь.

— Ничего, пускай проветрится. Ему полезно. От него как от винной бочки…

Последние слова брата ещё сильней обожгли сердце, оскорбили. Максим хлопнул калиткой. Наискось перебежал улицу и только на той стороне опомнился, встретив какую-то женщину, которая с ним поздоровалась. Он умерил шаг, оглянулся по сторонам, назад — не видит ли его кто-нибудь? Возможно, совершенно случайно взгляд его упал на хату Кацубов — он был как раз против нее. То, что он увидел, заставило его остановиться в тени рябины.

Окно, выходившее на улицу, было открыто, и он сквозь занавеску увидел Лазовенку. Тот стоял посреди комнаты, размахивая руками, что-то рассказывал, и, должно быть, веселое, так как Алеся звонко хохотала.

У Максима потемнело в глазах и перехватило дыхание. Волна злобы к Василю захлестнула все его существо, поглотила все другие чувства. Тяжело дыша, он прислонился к забору.

«И чего она хохочет, кукла чертова? Отчего ей так весело? Маша вышла замуж», — он горько усмехнулся. Злоба постепенно начала стихать, уступая место иронии над собой.

«Это позор!..»

И ему стало жалко себя, так жалко, что впервые за много лет соленый комок подкатил к горлу. Он сорвался с места и почти побежал по затененной стороне улицы, мимо хат.

Почему? Почему ему так не везет в жизни? Почему все: люди, дела — оборачивается против него?

Неужели он меньше, чем другие, чем Лазовенка, хочет, чтоб колхоз стал богатым, крепким, чтобы счастливей жилив нем люди? Какие розовые мечты носились перед ним, когда его выбрали председателем и он решил взяться за эту работу! Решил потому, что хотел доказать, что и он не хуже Лазовенки, что и он может в своем колхозе добиться того, чего добился Лазовенка в «Воле». Он был уверен, что стоит ему только стать председателем, как сразу же колхоз не только догонит, но, может, даже и перегонит «Волю». С этой верой он взялся за работу. И разве он щадил себя все это время? Он сам валил деревья в лесу, сам проложил первую борозду, когда начался сев… Он позже всех ложился и раньше вставал, не успевал вовремя пообедать, забывал про свою личную жизнь… Так почему же нет их, этих результатов, таких явственных в «Воле»? Почему все пошло не так, как он думал? Что мешало ему?

Он давно уже оставил позади деревню, вышел в поле; широко шагал, размахивая руками разговаривая сам с собой; вслух.

…И правда, почему все оборачивается против него?

Он хотел быть хорош для колхозников, хотел, чтобы на него не обижались, и потому не спешил перемерять усадьбы, считал мелочью, что человек посеет каких-нибудь там пять соток лишних; народ после войны живет пока бедно, трудов день ещё не очень-то важный. А вышло наоборот: сами колхозники возмутились против незаконного захвата Шаройкой общественной земли.

«В деле руководства мелочей не бывает», — сказал сегодня кто-то на бюро. Он пытался вспомнить, кто это сказал и в какой связи. Но набегали новые мысли» новые вопросы.

Маша…

Он даже остановился на мгновение и вытер ладонью пот со лба. Неужели и это он считает мелочью?

Мысль эта испугала его. Нет! Нет! Он все время её любил. Но и в самом деле получается так, что он считал мелочью разлад, который был между ними. Он думал, что когда он найдет это нужным, когда у него будет время (в самом деле, не мог же он жениться, когда срывалась лесовывозка или весенний сев!), достаточно ему сказать Маше слово, и ока пойдет за ним хоть на край света... Нет, он такие думал, прямо вот так... Но это вытекает, сейчас ему ясно, из всего его поведения. Он так не думал, однако временами заглядывался на других девчат... Лида Ладынина... Официантка из районной чайной... Да и на Полину Шаройку не раз посматривал. Он оглянулся назад... Шаройка!. А не его ли это штуки! Припомнились слова матери: «Он тебя на дочке своей женить хочет. Так пусть и не думает! На порог не пущу!» Он тогда посмеялся. Но теперь... Вся эта Шаройкина свора и правда могла невесть чего наговорить Маше о его посещениях дома Амельки!

Нет, глупости! Не в Шаройке дело, хотя наговорить, безусловно, могли...

Лазовенка! Опять Лазовенка!.. Еще раз он победил... Он тоже любил Машу. Не случайно его мать сватала её сразу же, как сын вернулся из армии. Он, Максим, знал это и не обратил внимания, потому что мерял по себе... Он до сегодняшнего дня не знал цены и силы настоящего чувства. Только сейчас понял он эту силу. Лазовенка!.. У-у!

Ему хотелось выругать Василя самыми грубыми словами, распалить в сердце гнев и ненависть к нему. Но случилось что-то странное. Он вдруг почувствовал, что нет в нем ни гнева, ни ненависти и слова его звучат как-то вяло, беззлобно и даже с оттенком уважения.

Максим остановился и растерянно оглянулся. Страшный и мучительный водоворот нестройных мыслей, который выгнал его из дому, из деревни, заставил забыть все на свете, внезапно утих. Наступило

полное отрезвление, Не стучала больше в висках кровь, не шумело в голове. Он вспомнил брата, его милую жену, их сына, и ему стало стыдно своего поведения, своей грубости. Но он оправдывая себя: «Сам виноват, черт куцый! Сразу начал мораль читать, как будто без тебя некому это делать. Если ты такой умный, так должен был бы понимать, что у человека в такую минуту на душе. Эх, Маша! — болезненно сжалось сердце. — Видно, не сильно ты меня любила… Но я докажу тебе что не такой уж никчемный человек Максим Лесковец. Докажу!»

22

Оглянувшись ещё раз, Максим увидел, что стоит возле добродеевского сада. Надо возвращаться домой. Но опять пришло на память заседание бюро. Вспомнилось, как Макушенка говорил о саде, о том, что в Лядцах за ним плохой уход, нет охраны, что богатый урожай яблок, который мог бы дать немалую прибыль, уничтожается без пользы. Сравнил с садом «Воли». Максим ни разу не задумывался и на приглядывался, в чем же разница между садом его колхоза и здешним, в «Воле».

Теперь ему захотелось посмотреть сад соседа. Он шел и вспоминал другие высказывания на бюро.

«Бунтарь-одиночка!» — шутливо кинул из угла судья Горбунов.

«Самоуверенный человек, который все хочет сделать один, хотя у него для этого не хватает ни знаний, ни опыта, ни умения. Ни с кем не считается, ни у кого не спросит совета», — гневно и резко, резче, чем все остальные, говорил заведующий земельным отделом Шевчук.

«Впечатление такое, что товарищ Лесковец плохо понимает те большие задачи, которые партия ставит перед нами, сельскими коммунистами, руководящими работниками. А понимает он их плохо потому, что не

находит времени для учебы, не учится… И не может, таким образом, правильно ориентироваться… Не всегда умеет отличить то новое, передовое, что нарождается в колхозе и что надо всеми силами поддерживать, от старого, гнилого, мешающего нашему развитию. Не умеет Лесковец прислушиваться к голосу народа… Боится критики… Отрывается от партийной организации… Помощь её воспринимает как желание «разнести» или «присвоить его славу», — такими спокойными словами заключил обсуждение его отчета Прокоп Прокопович Макушенка.

Только сейчас задумался Максим над этими словами и, забыв о саде, не заметил, как дошел до сельпо. В Добродеевке было тихо и темно: электростанция уже прекратила работу. Но в квартире у Ладынина горел свет.

Непонятная сила потянула Максима на этот огонек. Осторожно, словно крадучись, прошел он в тени тополей вдоль сада. Против медпункта остановился. Через настежь открытое окно увидел Ладынина. Доктор стоял у стола с линейкой в руках и наклонял голову то на один бок, то на другой, точно нацеливаясь. Потом зашел с другой стороны, облокотился, о стол, наклонился.

«Чертит что-то, что ли?»—удивился Максим и вдруг почувствовал неудержимое желание поговорить с секретарем, высказать ему все, о чем только что передумал, послушать, что скажет он.

Максим перешел дорогу, приблизился к дому.

Ладынин и в самом деле чертил. Чуть слышно доносилась какая-то приятная музыка — работал приемник.

Максим стал на лавочку и бесшумно перескочил через забор в палисадник. Облокотился на подоконник. Ладынин стоял к нему боком.

— Игнат Андреевич, — шепотом, нерешительно

окликнул он.

— А? — доктор не вздрогнул, даже не сразу поднял голову. И лишь когда провел карандашом линию на большом листе бумаги, прикрепленном к столу кнопками, обернулся. — А-а… Ты что, только из района?

— Да… Не-ет, — смешался Максим. — Прогуливаюсь… — Я вам помешал?..

— Нет. Ничего! Я тоже отдыхаю. Заходи. Только тише! — Игнат Андреевич приложил палец к губам и оглянулся на дверь, ведшую во вторую комнату. — Знаешь что? Лезь лучше в окно. Ничего! Давай помогу, — и он сделал шаг к окну.

Но Максим, не ожидая помощи, подтянулся, на руках и в один миг, очень ловко, очутился в комнате.

Игнат Андреевич одобрительно, с завистью, кивнул головой.

— Упражняешься на турнике?

— Сейчас? Нет. Где там! Не до турника!

— Напрасно. На, садись, — подвинул стул, а сам на цыпочках направился к двери, закрыл плотнее.

Максим стоял, сжимая руками спинку стула, смущенно опустив голову.

— Игнат Андреевич!.. Простите, что я вас тогда в Лядцах оскорбил… И сегодня, что не подождал, чтоб вместе ехать…

Ладынин подошел, посмотрел ему в глаза и вдруг протянул руку.

— Кто старое помянет… Знаешь? Забудем! Да я и не помнил, потому что меня лично ты не оскорбил… Скорее себя… Однако… садись…

Игнат Андреевич был доволен, обрадован. Он

представлял себе, что пережил, передумал Лесковец после заседания бюро. И если он в результате не запил, не загулял (а Ладынин побаивался такого конца), а среди ночи, трезвый и вежливый, явился к секретарю партийной организации, это можно было считать самой большой победой и его, Ладынина, и всей организации, занимающейся воспитанием этого несдержанного человека. Конечно, это только начало перелома характера... Заметив, что Максим остановил заинтересованный взгляд на чертеже, Ладынин подошел к столу, разгладил рукой бумагу.

— Удивляешься? Врач, и вдруг—чертеж. Да видишь ли, какое дело. Прочитал я как-то статью, — он взял в руки лежавший на краю стола медицинский журнал, развернул. — Тут предлагается проект сельского медицинского пункта. Вот и чертёж дан... Прочитал, знаешь, и возмутился. Автор явно живет вчерашним днем, медицинское обслуживание деревни представляет себе, в лучшем случае, по рассказам Чехова. Нет ни малейшей, даже несмелой попытки заглянуть в будущее, в наш завтрашний день. Не знает человек, какими будут Добродеевка и Лядцы завтра. Я написал ответную статью и решил приложить к ней свой проект — проект врача-практика, четверть века работающего в деревне. Кстати, черчение — мое любимое занятие ещё с детства. Вот, пожалуйста, взгляни. Все учел. Даже рентгеновский кабинет.

Он долго и подробно рассказывал о своем проекте, рассказывал так, как будто водил Лесковца по комнатам только что законченного здания, в котором ещё пахнет краской и стружками.

— Вот такой медпункт мы построим в Добродеевке. Чего ты удивляешься? Я уже предпринял определенные шаги для того, чтобы нам запланировали это строительство.

Ладынин забыл о том, что рядом спят, и говорил в полный голос, Максим увидел, как тихо приоткрылась дверь и в комнату заглянула Лида. Сначала она сделала большие глаза, потом подарила Максиму улыбку, от

которой у него на минуту потеплело на сердце, и снова осторожно скрылась. Он взглядом показал Ладынину на дверь. Тот сразу снова понизил голос до шепота:

— Знаешь, очень кстати, что ты зашел. Я сегодня получил посылочку. От фронтового друга, мы вместе в госпитале работали. Армянин, Анастас Сабазяы. Отличный врач и чудесный человек.

Доктор пошарил на полке за книгами и вернулся к столу с бутылкой вина, незаметно вытер с нее пыль.

— Уверен, что ты такой штуки ни разу в жизни не пробовал. Анастас пишет, что это лучшее вино Армении. Врет, наверно, но если хоть половина правды...

Ему хотелось посидеть с Лесковцом, поговорить откровенно, по душам.

Игнат Андреевич рассказывал о своих друзьях, о переписке с ними. Достал из ящика стола пачку писем.

— Вот из Москвы, от Сергеева. А это из сибирской деревушки, от Матушкина. Молодой парень, перед самой войной институт кончил. Мечтатель и поэт. Сам попросился в Сибирь... Была у нас в госпитале Галочка Красина. Маленькая, молчаливая... Раненые её обычно за санитарку принимали и, пока не узнавали, что она врач, дочкой называли. Тоже старика не забыла... И что ты думаешь? Защитила кандидатскую диссертацию... Ах, черт, прямо не верится, что Галочка кандидат. — Ладынин потер руки и тихо засмеялся.

Максим и удивлялся и завидовал тому искреннему увлечению, с каким Ладынин говорил о людях. Рассказывал и радовался за каждого человека, за каждый успех своих фронтовых товарищей.

— Люблю получать письма. И сам люблю писать. Это, знаешь, приятно...

«А я ни с кем не переписываюсь, хотя друзей у меня было немало и сначала я им писал», — подумал Максим

и испугался: а вдруг Ладынин спросит его об этом? Соврать он не сможет, и правду сказать тоже тяжело и неприятно.

«Почему так вышло, что я прервал переписку? Времени не хватает… А разве у доктора его больше? Почему же он находит время?» И разозлился — опять это мучительное «почему»?

— А это от сына.

— У вас сын? — Максим никогда раньше не слышал, что у Ладынина есть сын, столько вечеров он у них провел в доме, и ни разу о нем не было разговора.

— Не удивляйся. Более того, У меня два внука. Сын — инженер-самолетостроитель, сейчас где-то в Германии, жена его в Москве. Я, брат, рано женился, девятнадцати лет. — И он вдруг начал рассказывать о себе: о детстве, об учебе, о своем романе с Ириной Аркадьевной, Об этом он говорил с веселым юмором пожатого человека.

А у Максима снова больно сжалось сердце: разговор затронул свежую рану, И ему тоже захотелось рассказать о своей любви, которая ещё томила, ещё жгла ему грудь…

Но Ладынин продолжал свой рассказ, и у Максима не хватало решимости его перебить. Наконец доктор встал, подошел к открытому окну, жадно вдохнул прохладный воздух.

— Начинает светать. Люблю в такое время погулять в поле.

Ничего на это не ответив, Максим взял бутылку, разлил остатки вина по бокалам и, как бы оправдываясь в своем самоуправстве, тихо проговорил:

— Тяжело мне, Игнат Андреевич.

Ладынин вернулся на свое место, внимательно поглядел на него и ласково сказал:

— Понимаю. Но, знаешь, это хорошо, что тяжело.

— Я ведь любил её.

Ладынин чуть не хлопнул себя по лбу. Ах ты!.. Он думал только об одном — о заседании бюро. Он совсем забыл, что Лесковец пережил сегодня, и, должно быть, уже после заседания, ещё один удар.

Доктор даже немного растерялся, так как не ожидал разговора на эту тему, не ожидал такого признания.

— Ты обвиняешь Машу?

— Я? Нет. Себя.

Ладынин ещё больше смешался. Что ему после этого сказать? Утешать неуместно. Говорить о том, что жизнь отомстила ему за его отношение к людям, за его характер, — ещё раз бить по больному месту? Игнат Андреевич никогда этого себе не позволял. И он задумчиво, как бы обращаясь к самому себе, произнес:

— Да-а, Маша — чудесный человек. Максим горько улыбнулся:

— Вы мне это говорите! — И вдруг выпрямился, взмахнул головой, откидывая назад упавшие на лоб волосы, и, чтобы кончить этот разговор, предложил: — Давайте, Игнат Андреевич, выпьем за её счастье.

— И за твоё, Максим.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Маше приснилось, что она проспала, стадо уже в поле, а под окном мычит Лыска, зовет хозяйку. Открыв глаза, она прислушалась. И правда, по улице шли коровы. Кричал пастух:

— Красуля! Чтоб-тебя волки съели! Мо-отя! Выгоняй! Проспала?

«Проспала», — испуганно подумала Маша, но, вспомнив, где она, улыбнулась. Ей не надо спешить подоить и выгнать Лыску. В первую ночь после свадьбы она может поспать попозднее, тем более что легли они почти на рассвете.

Но спокойствия её хватило ненадолго. Подумала — как там дома? «Алеся, конечно, тоже проспала. Она ведь такая соня. Хорошо, что я попросила Клавдю присмотреть. Эта не проспит. Однако вставать все равно пора. Покуда дойду до Лядцев—и бригада соберется, время будет наряды раздавать». Она взглянула на ходики, монотонно тикавшие на стене, и осторожно, чтоб не разбудить Василя, встала, на цыпочках прошла к окну, где на лавке лежало платье. Взяла его в руки и усмехнулась: придется бежать в Лядцы в свадебном наряде.

«Попросить разве Галю, чтоб сходила и принесла?» Они ночевали в хате у сестры Василя, вдовы, так как у Василя до самого утра продолжалась гулянка, и многие из гостей так и остались там, за столами, а кое-кто, возможно, и под столом.

Но Гали не было; ни она, ни её десятилетняя дочка не ночевали дома — должно быть, пристроились где-нибудь у соседей. Чтобы не плескать водой, Маша осторожно намочила полотенце и обтерла им лицо. Остановилась перед небольшим зеркальцем, висевшим на стене между многочисленными фотографиями в самодельных рамках, стала причесываться.

Она не видела, что Василь тоже проснулся и тайком, улыбаясь, наблюдал за ней.

Приводя себя в порядок, Маша вспоминала события вчерашнего дня. Свадьба была богатая и шумная. Отец Василя, человек честолюбивый и немножко чудаковатый, хотел показать, что женился не кто-нибудь, а председатель лучшего в районе колхоза.

На отличных лошадях, с колокольцами на дугах, увитых разноцветными лентами и цветами, везли её, Машу, из Лядцев.

По настоянию матери, молодых посадили в красном углу на кожухе. Весело пошучивая, Василь охотно выполнял все эти причуды стариков. А Маше было неловко. Она смущалась и не знала, куда девать глаза и руки, куда спрятаться от любопытных взглядов. А взглядов этих было без счета, потом что народу было полно и в хате, и на улице под открытыми окнами.

Был даже момент, когда Маше хотелось заплакать. Особенно тяжело стало, когда она покидала родную хату и увидела, как Алеся тайком утирает слезы. А Петя с самого начала выпил стакан водки, ушел куда-то и больше не показывался весь день. Маше было жаль его, останется он один в большой хате.

Оживилась она и повеселела, когда на свадьбу пришли Ладынины, Мятельские, Банков. Они внесли простое, непосредственное веселье, хорошую душевную шутку. Нина Алексеевна была со своим малышом. Прижимая его к груди и настороженно-недоверчиво поглядывая на суетившихся вокруг людей — как бы не толкнули нечаянно! — она счастливо улыбалась.

Машу не оставляла мысль: приедет ли на свадьбу Максим? Василь специально ездил его приглашать, он пообещал быть. Однако не пришел. Не пришла и Сынклета Лукинична.

...По привычке она заплела волосы в косу, но, вспомнив старый народный обычай, разделила косу на две и уложила их на голове венком. Наклонилась, чтобы взять туфли и выйти. Но в этот миг Василь её окликнул:

— Маша!

Она вздрогнула от неожиданности и быстро обернулась.

— Ты куда? Уже удираешь от мужа? Рано.

Она на мгновение смутилась, потом ответила тоже

шуткой:

— А ты думаешь, что так без конца и будет веселье?

— Но я и не согласен, чтобы оно так скоро кончилось, — серьезно сказал он, приподнялся на локте и открыто посмотрел на жену. — Давай, Маша, вместе подумаем, нужен ли он, этот твой подвиг? В самом деле… Почти до утра шла свадьба. Еще никто из гостей, должно быть, и не проснулся, а молодая в свадебном платье бежит на работу… А так ли уж это необходимо? Это только в книгах—герои, котором ни отдохнуть, ни жениться, ни пообедать как следует некогда, Я вот недавно читал у одного писателя. Вернулся его герой из армии и в первый же вечер отправился на колхозное собрание. А придя поздно ночью, поглядел на спящую на кровати жену и лег на лавочке, по-фронтовому подложив под голову шинельку…

— Выдумал, — засмеялась Маша.

— Не я выдумал, писатель… Смешно, правда? Серьезно, Маша, я думаю, что ничего не случится, если ты сегодня не пойдешь. Управятся без тебя.

— Тебе, Вася, хорошо рассуждать, когда у тебя все сено уже в стогах. А у нас ещё половина — на покосах. Сегодня на Зареченский луг ехать надо. А то раздождится…

— И ты, конечно, тоже собираешься ехать? Да-а… А в доме ещё полно гостей. Проснутся, а молодой нет. Как я себя буду чувствовать? Представь…

Маша подошла, села на край постели, положила руку ему на голову, пальцы её утонули в его взлохмаченных волосах.

— Хорошо, Вася, я понимаю.

Он притянул её к себе, поцеловал, задержал в объятиях, слушая частые удары её сердца. Потом, закинув за голову руки, долго лежал молча, задумчиво вперив взгляд в какую-то точку на потолке.

Маша наблюдала за выражением его лица.

— О чем ты думаешь, Вася?

— О твоей работе. Понимаешь, все это не так просто, как нам казалось… Я думаю о матери… С хлебом-солью встретила она невестку и уверена, что ты навсегда пришла в дом, как это водится испокон веков. И вдруг… Попробуй теперь убеди её, старуху, докажи, что ты там, в чужом, как она скажет, колхозе, нужнее, чем в своем…

Маша встала, отошла к окну, долго глядела на улицу. Крыши хат на той стороне были облиты солнечным светом. Там и сям над трубой подымался прозрачный дымок, У колодца стояли женщины и никак не могли разойтись — все гуторили и гуторили, кидая взгляды на Галину хату. Маша поняла, что говорят о ней, и отступила от окна, села у стола, как будто в гости пришла.

— Послушай, Маша… А может, в самом деле не стоит этого делать? Зачем? — тихо спросил Василь.

Она ответила не сразу.

— Нет, Вася… Я не могу… Во-первых, я дала слово и я хочу сама собрать урожай, который вырастила. А потом вообще, ты же знаешь положение… Все разбегаются из колхоза — кто куда… И вдруг я тоже. Не останется ни одного настоящего бригадира. С кем будет работать Лесковец? Он такого наделает со своим характером, если его не сдерживать… У меня сердце болит за колхоз. Пойми меня…

— Я-то понимаю… Но другие, но мать… Маша подошла и опять присела на кровать.

— Ведь я же просила тебя, Вася, поговорить с матерью до свадьбы… Не думай, что она не поймет. Поймет. И другие тоже…

…На следующее утро они проснулись в одно время уже у себя. Вместе вышли умываться. Мать с подойником в

руках встретила их на крыльце, ласково укорила сына:

— Привык подыматься ни свет ни заря и женке поспать не даешь. Ты спала бы ещё, Машенька. Куда тебе спешить?

Василь пошутил:

— Пускай не привыкает долго спать. Разленится.

— А неужто ж по тебе все должны равняться?

Мать хотела обминуть их и войти в хату, чтобы процедить молоко, но Василь остановил её.

— Послушай, мама… До осени Маша останется бригадиром в «Партизане», и ты должна понять… Так нужно для дела!

Катерина поглядела на невестку и вздохнула.

— Что ж, коли нужно, так нужно… У вас, молодых, все не так, как нам, старикам, хотелось бы. Но вам видней, вы теперь хозяева. Подожди же, Машенька, я завтрак сготовлю.

Маша почувствовала даже нечто вроде разочарования: не ожидала она, что свекровь так быстро все поймет и так просто согласится с тем, что невестка будет бригадиром в чужом колхозе и, конечно, не сможет стать ей настоящей помощницей в её домашних делах.

Но следом за этим первым ощущением нахлынула теплая волна благодарности к этой сердечной женщине. Маша не знала, как выразить свои чувства, и, застенчиво опустив глаза, тихо произнесла:

— Спасибо, мама.

Но мать поняла её по-своему.

— Не за что благодарить. Не у чужих. Не вздумай уйти без завтрака. Умывайся и беги на огород, огурцов набери.

Стало радостно и светло на душе от этого короткого разговора, от простого поручения. Умываясь, Маша смеялась, брызгалась водой.

Потом с наслаждением ходила между росистых гряд, искала огурцы, выбирала самые лучшие — зеленые, свежие, холодные от росы — и чувствовала себя девчушкой, как когда-то в детстве, когда мать вот так же посылала её на огород.

Самые хорошие это минуты у человека — когда он вдруг перенесется в детство! Но это никогда не длится долго.

Миг — и все исчезло, рассыпалось под натиском будничных хлопот, мыслей, переживаний. Так было в то утро и у Маши. Вернулась она в хату, и Василь, совсем этого не желая, испортил её приподнятое настроение. Смеясь, он рассказал о продолжении разговора с матерью.

Подавая на стол, старуха простодушно спросила у сына:

— А как же у Маши будет с трудоднями, сынок? Василь засмеялся.

— Ты, мама, как видно, хочешь, чтобы ей трудодни у нас в колхозе начисляли?

— А как же! Не сравнять наш трудодень с ихним! Маша изменилась в лице, хотя и старалась улыбаться и ничем не выдать своего волнения.

Василь понял, что ему не следовало рассказывать об этом разговоре.

— Не обращай, Маша, внимания на такие мелочи. Разве ты не знаешь стариков? Им всегда хочется, чтобы в их собственных закромах и сундуках было побольше. Стоит ли обижаться?

— Я не обижаюсь… Мать правильно думает… Мне просто больно за колхоз, за его худую славу… И ты её как бы поддерживаешь. Не понимаю я тебя. Ты и

помогаешь, ты же как будто и радуешься, что мы отстаем…

Идя в Лядцы и осматривая по пути посевы, Маша ещё больше расстроилась: посевы «Партизана» были всюду хуже посевов «Воли». Но одновременно она испытывала и другое чувство — гордость за Василя, впервые взглянула на посевы «Воли», как на что-то свое, родное.

К колхозному двору она подходила с какой-то странной робостью. Она не знала, что ей сказать, если Максим будет противиться её желанию остаться бригадиром. Ей очень не хотелось в такой день опять ругаться с ним.

Бригада её была почти в полном сборе; ждали нарядов, как всегда, на дворе: работники постарше — обсуждая события минувшего дня, молодежь — минувшего вечера.

Девчата встретили Машу приветливым шумом, парни — любопытными взглядами, мужчины—шутливыми недомолвками. Маша, краснея, поздоровалась. Не сразу заметила она среди мужчин Максима. Он сидел на телеге, курил, нервно затягиваясь дымом, и глядел на нее не так, как все остальные, все было в этом взгляде, и любование ею, и любопытство, и скрытая ревность.

Поздоровался он чуть ли не последним, когда увидел, что Маша его заметила.

— Добрый день, молодуха. А я думал, что ты и дорогу к нам забыла. Правда, девчата твои меня за это чуть не отколотили.

Маша, готовая к самому худшему, ответила, официально, сухо:

— Я как работала в бригаде, товарищ Лесковец, так и намерена работать.

— Правильно, Маша!

— Ура-а нашему бригадиру!

— Что, председатель, не говорили тебе?

Маша ждала, что Максим или просто рассердится и скажет, что такой бригадир ему не нужен, или (и этого она ждала скорее всего) начнет насмехаться. Но он соскочил с телеги, выбил о голенище трубку, старательно растер ногой пепел и так же сухо ответил:

— Работай. Заменить тебя действительно некем. Особенно в такое время… перед уборкой. Я сам командовал твоей бригадой, пока ты замуж выходила.

Это он сказал зло, чтоб уколоть — она не была на работе всего три дня.

Маша вспыхнула. Но ничего не могла ответить: Максим не просто отдавал распоряжения, он и в самом деле командовал, строго, решительно:

— Мужчин и девчат — на луг. В первую очередь… Женщин — на прополку картофеля! Я поеду на сенокос. Ты останешься вместо меня.

И Маша ничего не смогла ответить: ни возмутиться его неуместной шуткой, ни высказать своего желания ехать вместе со всеми на луг, ибо ни разу ещё не говорил он таким голосом и никогда ещё лицо его не было так сурово.

2

Отряд пробирался по болоту.

Направо и налево, казалось, без конца и без края, расстилался ровный простор рыжей болотной травы.

Болото было безлесное — ни зарослей, ни отдельных кустов, только кое-где, на небольших островках, виднелись низкорослые, хилые сосенки, по большей части суховерхие, точно огненный вихрь опалил их вершины. Но там, куда шел этот необычный отряд, возвышалась темно-синяя стена густого леса.

А отряд и в самом деле был необычный. Шли не геологи, не исследователи недр родной земли, шли люди всех профессий: геологи и летчики, инженеры и ботаники, агрономы и поэты… Будущие… Шли пионеры.

Впереди выступали мальчишки: то ловко перепрыгивали с кочки на кочку, то с трудом передвигали ноги в густой липкой трясине, иногда глубоко проваливались. Дорогу прокладывали Володя Примак и Костя Гоман, они шли рядом, плечо в плечо, держа в руках длинные палки, которыми они прощупывали болотное дно, чтобы как-нибудь случайно не провалиться в «чертов глаз». Напрасно пытались сменить их шедшие следом дружки. Они упорно никому не желали уступить честь провести отряд через это опасное место.

У всех ребят за спиной были дорожные мешки. И хотя поход приближался к концу, мешки были ничуть не менее полны, чем в тот день, когда отряд отправлялся в путь. За время похода они наполнились самыми разнообразными интересными вещами, среди которые первое место занимали два проржавевших автомата и истлевшая сумка с патронами.

Следом шли девочки. Их было меньше, но они растянулись значительно более длинной цепочкой, чем мальчики, которые буквально «наступали на пятки» друг другу. Последними шли руководители отряда — Лида Ладынина и Алеся Кацуба.

Замысел и организация похода целиком принадлежали Лиде. Еще с зимы готовила она своих учеников к этому интересному путешествию по области. Не раз пришлось ей бурно поговорить с заведующим районо, пока она получила необходимые средства.

С отрядом должен был идти физрук школы Патрубейка, но он в последний день неожиданно заболел. Лида отлично понимала происхождение его болезни: ему очень не хотелось уходить в такое время, когда хватало дел дома, по хозяйству, а всего страшнее для него было отправиться в дальний путь под её, Лидиным,

начальством. Вместо него Лида пригласила Алесю. Они подружились на Машиной свадьбе. До тех пор Алеся — школьница — не решалась предлагать свою дружбу учительнице, хотя давно мечтала об этом.

Но теперь, сдав экзамен на аттестат зрелости, она в самом деле почувствовала себя взрослой, осмелела. Лиде тоже нравилась новая подруга — веселая, занятная, умница. В их характерах было много общего.

...Нещадно жгло солнце. Неподвижно застыл душный, насыщенный смрадом болотных испарений воздух. Идти было тяжело. Алеся раскраснелась, глаза её горели, она прерывисто дышала.

— Что с тобой, Алеся? — спросила Лида. Она шла ровно, легко, почти не чувствуя жары.

— Вспомнила — и разволновалась. Брр... Даже не верится сейчас, как это я прошла. Воды тогда было — во!.. Местами — по грудь... И холодная-холодная... — Алеся вздрогнула, — И сейчас холодно делается, как вспомню.

— Через год здесь будет торфяной завод... Ты обо всем этом расскажи детям.

— Не знаю, смогу ли... Интересно, что осталось от лагеря? Вернемся — нужно будет дядьке Михею рассказать, что мы здесь были.

Приближались к лесу, Уже отчетливо можно было различить отдельные деревья: сосны и могучие дубы, стоявшие на самой опушке.

— Ого-го-о! Ребята! Ре-ечка-а-а! — издали долетел радостный голос Володи Примака.

Цепь сразу нарушилась: мальчики побежали, спотыкаясь о кочки, падая.

Передние уже сбрасывали мешки, стягивали с себя рубашки и кидались куда-то вниз.

— Уже купаются, — забеспокоилась Лида. — Не глубоко?

— Нет. Сейчас не глубоко. А тогда дозорные перевезли меня на каком-то бревне.

— Но все-таки — потные, и сразу в воду! А все этот Примак!

Лида пошла так быстро, что Алеся едва за ней поспевала. Но пока они подошли, все мальчишки уже плескались в воде, весело брызгаясь и вскрикивая от удовольствия. Девочки сидели на высоком сухом берегу, в тени дубов, терпеливо ожидая разрешения учительницы.

Лида и Алеся отошли в сторонку и, найдя местечко поглубже, тоже начали раздеваться.

— Ничего не видят твои следопыты, — несколько разочарованно сказала Алеся и показала на одном из дубов необыкновенное гнездо из жердей, прикрытых заржавевшим железом, — целую постройку. — Наблюдательный пункт. Видишь?

Когда все вволю накупались в прохладной воде лесной речки, Лида построила отряд и повела в глубь леса. С трудом пробрались они в гущу ореховых кустов и остановились на небольшой поляне.

Пионеры радостно закричали:

— Лагерь!

— Партизанский лагерь, Лидия Игнатьевна!

Дети были в восторге от такого открытия, им казалось, что наткнулись они на лагерь совершенно случайно.

Лида предложила им сесть и послушать минутку, что им расскажут. Мальчики выполнили её приказание без особой охоты, им не терпелось скорее осмотреть лагерь, остатки землянок, поискать оружие.

— Дети! Не думайте, что мы шли через болото, не имея никакой определенной цели, и случайно пришли в этот лагерь. Нет, я не случайно предложила вам этот трудный маршрут. Дело в том, что пять лет назад через это болото прошла одна девочка, партизанская связная, которой в то время было столько же лет, сколько сейчас многим из вас. Прошла она через болото весной, когда оно считалось непроходимым и когда вода была ледяная…

Ребята все взглянули на Алесю, догадавшись, кто была эта девочка. Алеся смутилась и покраснела.

— Правильно, дети, это была Александра Павловна… Сейчас она сама вам обо всем расскажет.

Алеся рассказала, как весной сорок третьего года им, Маше и ей, связным, передали украинские партизаны, что гитлеровцы готовят карательную экспедицию. Маша была больна, и известие это понесла в отряд Алеся. Подошла, как обычно, со стороны леса и наскочила на немцев; каратели заняли все подступы, все дороги. Тогда она, недолго думая, обошла лес и двинулась через болото, по глубокой ледяной воде.

Рассказывая затем о блокаде — как отряды из нее выходили, как переносили через болото раненых, — Алеся повела пионеров по лагерю, показала остатки землянок, объяснила, где что размещалось: штаб, госпиталь, кухня, мастерская по изготовлению мин. Некоторые землянки хорошо сохранились, особенно те, стены и потолки которых были сделаны из бревен, от других остались только полузасыпанные ямы. В бывший склад боеприпасов можно было ещё войти, и мальчики пополнили свои сокровища гильзами, ржавым автоматным диском и цинковыми ящиками из-под патронов.

Но самой интересной находкой была пушка, стоявшая на краю лагеря, у речки. Правда, кроме ствола и колес, там ничего уже не осталось, но все равно мальчиков от нее было не оторвать.

Потом, когда Лида объявила длительный привал и пионеры с восторгом начали раскладывать вокруг штабной землянки костры и варить обед, воображая себя настоящими партизанами, Алеся долго ещё бродила одна по лагерю На бруствере окопа, в траншеях росли молодые березки и осины, деревца жадно тянулись к солнцу. Алеся показала на них Лиде.

— Вот, смотри... Пройдет ещё несколько лет—и вырастут большие деревья... Знаешь, они кажутся мне памятниками тем, кто погиб за нас с тобой, за их счастье, — Алеся кивнула на пионеров.

Она стояла, прижавшись к старому дубу, словно прикованная к нему, и восторженно смотрела на Лиду. Потом, оторвавшись от дуба, наклонилась, тихо спросила:

— Скажи, у тебя бывает, что чувствуешь, а сказать не умеешь? Хочешь сказать красивые, необыкновенные слова, а говоришь хуже, чем всегда...

Лида подошла, ласково обняла её.

— Бывает. А ты не думай о том, чтоб сказать непременно красиво.

— Я не могу не думать... Я пишу стихи... — Сказала, покраснела, смутилась.

Лида рассмеялась.

Отдохнув, отряд двинулся дальше. Километра три шли по заросшим партизанским тропкам, сквозь нетронутую чащобу. Вышли к хате лесника и оттуда по проторенной лесной дороге с широкими автомобильными колеями направились к памятнику партизанам, погибшим в боях в этом лесу.

Памятник — высокий цементный обелиск — стоял на опушке старого бора, недалеко от деревушки Клены, которая все время оккупации была партизанской. Могучие красавицы сосны шумели над памятником, как будто рассказывая навеки уснувшим героям о том, что

делается вокруг. А соснам с высоты далеко видны просторы родной земли!

Пионеры, подойдя к памятнику, стали читать имена партизан. Первым на мраморной доске было вырезано имя человека, которого все дети хорошо знали и помнили,—

ЛЕСКОВЕЦ АНТОН ЗАХАРОВИЧ

Девочки пошли в поле, стали собирать по межам, по краям посевов цветы и плести венки, чтобы положить их на могилу партизан. Мальчики, которые, казалось, вдруг на несколько лет повзрослели, начали чинить ограду вокруг памятника. Дети уже не шумели, не смеялись, даже переговаривались почти шепотом.

Лида и Алеся стояли у ограды. Алеся долго не отводила взгляда от обелиска, и в карих её глазах затаилась печаль.

— Чудесный был человек Антон Лесковец. Большого сердца. Душевный человек... Помню, как он обрадовался, когда я в первый раз пришла в лагерь. Даже слезу смахнул, а потом засмеялся. «Так это ты, говорит, та самая меньшая Кацубиха, которую я год назад запер в сарае?» Был такой случай. Поймал он нас, трех девчонок, в колхозном саду и запер в сарае. Пригрозил, что и ночевать там будем, с крысами. Катя Акулич, помню, плачет, а я смеюсь и частушки распеваю. Потом он пришел и долго, как взрослым, рассказывал нам, что такое колхозная собственность и как её нужно уважать.

Алеся задумчиво помолчала и вдруг спросила:

— Скажи, почему иногда дети не похожи на отцов?

Лида сразу поняла, кого она имеет в виду, и ответила таким же неожиданным вопросом:

— Значит, по-твоему, Максим совсем нестоящий человек?

— Не знаю. Но не люблю я его, Лида.

— За Машу?

— Нет. Не за Машу, — но за что — не сказала, Лида не стала расспрашивать.

Они повернули и пошли лесом. Но не прошли они и сотни шагов, как навстречу им из молодого березняка выехал верховой. Увидев их, он рывком натянул поводья, даже конь рванулся вбок. В тот же миг они его узнали: Максим!

— Легок на помине, — сказала Алеся спокойно, даже равнодушно, без тени удивления, как будто знала, что они непременно встретят его здесь.

Конь минуту нетерпеливо топтался на месте, как будто всадник раздумывал, ехать ли ему вперед или вернуться… Еще издалека Максим спросил:

— Что вы здесь делаете?

Вопрос прозвучал сурово и неуместно, потому что он не мог не видеть, для чего они пришли сюда на опушку.

Лида молча указала рукой в сторону ребят, чинивших ограду.

Максим спрыгнул с коня и повел его за собой, он явно не рад был, что застал их здесь.

— Идем, Лида, а то девочки наши могут заблудиться, где-нибудь, — сказала Алеся.

— Да, — встрепенулась Лида. — Вы нас извините, Максим Антонович. Подождите нас здесь немножко.

Они отошли в глубь леса.

— Жаль, что мы ему помешали. Пускай бы один, без свидетелей, побыл на могиле отца, пораздумал… Может, в голове посветлело бы…

Лида обняла подругу.

— Алеся, милая, не надо так строго.

Девушка помолчала, подумала и покорно согласилась:

— Не знаю… Я многое ему простила в ту минуту, когда увидела его здесь. Я сама часто хожу на могилу матери. Отца я не помню… Постою, иногда поплачу… А потом, когда уйду, на душе так светло делается и появляется такая жажда жизни… И хочется сделать как можно больше для человека, прожить жизнь с пользой… Помнишь, как у Островского?..

Жизнь, она дается только один раз, и прожить её нужно так… Помнишь, конечно.

Максим молча проводил девушек взглядом. Его смутила и рассердила эта неожиданная встреча. Еще более неловко ему стало, когда он понял, почему они так поспешили уйти от него, — догадались, зачем он приехал.

Да, он хотел побыть на могиле отца один, без свидетелей. Правда, он навещал могилу и раньше: сразу после возвращения из армии приехал сюда вместе с матерью и старшей сестрой.

Но побыть здесь одному — такое желание явилось впервые, и явилось оно неожиданно.

Бригады колхоза кончали уборку сена на лугу у реки, километров за пять отсюда. Сгребали последние ряды, ставили последние стога. Вдруг налетела туча, ударила коротким дождем и испортила не только работу, но и настроение председателю. Сеноуборка затягивалась, и Максим острее, чем когда бы то ни было раньше, переживал это отставание от других колхозов, от «Воли». А тут ещё этот дождь… Всегда идет не там, где просят, а там, где косят…

Он лежал в шалаше один на один со своими мыслями. Возле стога переговаривались мужчины, вспоминали сенокосы прошлых лет. Максим прислушался и узнал голос деда Явмена:

— Покойник Антон, вот мастак был метать стоги. Деду в ответ отозвался кто-то из колхозников:

— А в каком деле он не был мастак?

Эти слова об отце теплой волной залили его душу, вытеснив все другие чувства. Он вспомнил, что здесь недалеко отцовская могила, и почувствовал себя виноватым, что давно туда не наведывался.

Он ехал лесом. Никогда ещё так серьезно и глубоко он не задумывался над теми событиями из жизни отца, которые ему были известны. Нелегкую жизнь прожил Антон Лесковец, но красивую, большую — всегда в борьбе. Максим подумал об этом и вдруг вспомнил, как мать однажды сказала: «Легко тебе жилось, Максим. Ты рос в счастливые годы, был младшим в семье, все тебя баловали…»

Ему хотелось тогда возразить матери: «А война, фронт?» Но он смолчал, вспомнив слова другого человека — Василя Лазовенки, который ещё при первой встрече, слушая его рассказ о фронтовой жизни, сказал: «Легко ты провоевал, друг».

Тогда он подумал, что Василь имеет в виду ранение, и потому, не обижаясь, ответил: «Да, повезло».

Сейчас ему снова припомнились слова матери и слова друга, и он задумался над ними, «Легко прожил, значит, видимо, мало ещё знаю жизнь, самого себя. А жизнь, она не простая и совсем не такая легкая, как это казалось… Нет!»

С того вечера, когда он приехал с бюро райкома и узнал о замужестве Маши, на душе у него все время было как-то тревожно и неспокойно. Он чувствовал, что постепенно меняется его характер, и даже пробовал этому сопротивляться, из гордости желая остаться таким, каким был.

Но сейчас, по пути на могилу отца, он снова все это передумал, по-новому осмыслил и впервые порадовался

происходящим в нем переменам.

С грустным, но светлым чувством приближался он к знакомому обелиску. И вдруг эта встреча…

…Максим оглянулся и увидел ребят. Мальчики стояли поодаль и не сводили с него глаз. Но дети не вызвали у него того неприятного чувства, которое возникло при неожиданной встрече с Алесей и Лидой. Он поздоровался с ребятами и, взяв у одного из них маленький топорик, прибил несколько планок к ограде памятника. Затем, отойдя в сторону, присел на пень, закурил почему-то, впервые не трубку, а папиросу, и сидел долго, склонив голову. Папироса истлела у него в пальцах.

Он пришел в себя, услышав голоса Лиды и Алеси. Они вышли из лесу, за ними неведомо откуда высыпали ребята, окружили лошадь Максима.

— Чем зря разгуливать — пришли бы помогли сгребать сено. Завтра кончим и вместе поедем, — хмуро сказал Максим, как только девушки приблизились к нему.

— Ходим мы не зря, Максим Антонович, а помочь — пожалуйста, поможем с радостью… — ответила Лида и обратилась к школьникам — Правда, ребята?

Они ответили дружно и громко, как солдаты:

— Правда!

3

Никогда ещё Лида не работала с такой охотой, как на этот раз, хотя к физическому труду отец приучил её с детства. И никогда раньше работа не приносила ей столько удовольствия и радости. Её опьянял аромат сухого сена, в ушах звенело от стрекотания кузнечиков, девичьего смеха, а сердце полнилось каким-то неясным, но приятным чувством.

Она работала у стога. Девчата подносили на носилках

копёнки сена, те, что стояли поблизости, более далекие подтягивали на лошадях. Лида сгребала и подавала на стог рассыпанное сено. Плотные копёнки подавал Максим. Он прокалывал копну чуть не насквозь вилами, легко, одним рывком подымал её вверх, ещё легче кидал на стог, весело покрикивал:

— О-оп! Принимай, дед!

Работал он удивительно—ритмично, с вдохновением. Лида невольно любовалась его ловкостью, силой, и её почему-то радовало, что он умеет так работать.

В зеленой майке, загорелый, с руками и лицом, блестевшими от пота, с всклокоченными, запорошенными сеном волосами, он казался ей красивее, чем в лучшем своем костюме.

На стогу стоял, во всем белом, как привидение, дед Явмен Лесковец. Старик ловко принимал граблями сено, равномерно укладывал вокруг себя по краям стога, который быстро рос, подымался к небу. Сначала дед подбадривал подавальщиков:

— Так, так, детки! Поживее давайте! Ах, люблю!.. Люблю такую работу!

Но скоро запротестовал.

— Максим, сынок, не перехватывай. Надорвешься и меня, старика, замучаешь.

Тогда и Лида сказала ему с шутливой строгостью:

— Вы, Лесковец, как будто хвастаетесь своей силой. Бросьте! Кому это нужно!

Он на мгновение застыл с поднятыми вилами, не сводя с нее глаз; потом, опуская вилы, обиженно и разочарованно вздохнул:

— Эх, Лидия Игнатьевна!.. — и набрал сена ещё больше, даже шея кровью налилась.

— Тебе, дед, со стога должно быть виднее, что вон там за рекой тучи собираются. До вечера надо кончить.

Их стог был крайний, в углу между рекой и лесом. В сене попадалось много скошенных дубовых побегов. К югу лес — ольховник и дубняк — все дальше и дальше отходил от реки, и между ними расстилался простор заливного луга. Кое-где, словно часовые, стояли, раскинуз густые ветви, одинокие дубы. В лощинах и по берегам длинного и узкого «старика», перерезавшего луг, рос густой лозняк, черемуха и крушина. Над ним возвышались стога разной формы и размера — пузатые и низкие, островерхие и приплюснутые, с березовыми и дубовыми кольями. Стогов было без счета, они, как войско, рассыпались по лугу и уходили на много километров вдаль — сколько хватал глаз, — подпирая там небосвод. На ближних к «старику» стогах важно стояли аисты, следили за птенцами, которые внизу, на молодой траве, учились охотиться за лягушками.

Там и сям мелькали белые фигуры людей. Больше всего их было под лесом, на сенокосе «Партизана», где одновременно складывали несколько стогов.

Но все остальные стога росли не так быстро, как тот, у которого работали Максим и Лида, Дед Явмен стоял уже высоко, что твой аист, и начинал вершить стог. Лиде больше нечего было здесь делать — её вилы не доставали так высоко, и она пошла подгребать сено на дорожках, по которым носили и волокли копны.

После работы купались. Женщины — за лозняком, где впадавший в речку ручей нанес песку и у берега было мелко. Мужчины раздевались в лесу, под дубами, и с высокого обрыва бросались в воду.

Лида первая вышла на глубокое место, окунулась и поплыла. Девчата на берегу закричали;

— Лидия Игнатьевна!

— Ли-и-да-а!

— Там омут! Назад!

— Плыви назад! Отнесет! Лида! — настойчиво звала Алеся.

И в самом деле, на середине Лида почувствовала, что течение, незаметное у берега, довольно быстро относит её от лозняка. Ей на мгновение стало страшно, припомнились рассказы о судорогах в воде, о водоворотах. Но она скоро перемогла страх и, отдавшись течению, легла на спину, чтобы отдохнуть.

Над ней было ясное вечернее небо, только на западе виднелась стайка розовых тучек. Она загляделась на эти тучки и совсем забыла, что под ней многометровая глубина, что она одна посреди реки, далеко от людей. Но вдруг позади послышался плеск воды. Лида приподняла голову и увидела пловца, быстро догонявшего её. Она узнала Максима. Он стремительно приближался, резко выбрасывая вперед руки, но не фыркая, а только дуя на воду, как если бы она была горячая. Плыл он так же легко и красиво, как и работал. Поравнявшись с ней, он неподвижно распростерся на воде и, казалось, ни один мускул у него не шевелился.

— Ты это что? В Чёрное море захотелось? Плыви к берегу!

Лиде не понравилось, что он обратился к ней на «ты», и она, ничего не ответив, поплыла дальше.

— Лида! — позвал Максим.

Она не откликнулась. Теперь, когда рядом был такой пловец, всякий страх у нее пропал и хотелось заплыть как можно дальше, доказать ему, что и она плавает не хуже. Это было своеобразное удальство, которое толкает человека на самые неожиданные поступки, иной раз героические, иной — нелепые и никому не нужные.

Она совсем не чувствовала усталости. Но течение само

отнесло их к берегу в том месте, где река делает изгиб. Тут был настоящий водоворот, вода закружила их и мимо берега потащила назад. Лида первая вскарабкалась на крутой обрыв. Следом за ней выбрался Максим. Мокрый купальный костюм плотно охватывал её красивую фигуру.

— Лесковец, отвернитесь и бегите вперед. Ну! — Она разозлилась и шагнула к обрыву. — Иначе я должна буду опять лезть в воду. Бегите!

Он неохотно повернулся и не спеша пошел по песчаной тропинке над обрывом.

Из лесных зарослей осторожно выползали сумерки, крались по кустам, между стогов, стороной обходя белый туман над «стариком». На берегу, у дубов, где расположились колхозники, горели костры… В деревне за рекой мычали коровы» гоготали гуси; оттуда тянуло вкусным дымком. Над дорогой, что вела из деревни в далекий лес, за которым зашло солнце, висела пелена пыли — должно быть, прошли машины или стадо.

С того берега парни, переплывшие туда, должно быть разыскивая их, кричали.

— Ма-акси-и-им!

Крик, ударившись о стену леса, летел назад протяжным эхом:

— И-и-им!

Максим сложил рупором ладони и неожиданно громко ответил:

— О-го-го-о! Лида догнала его.

— Не оглядывайтесь, Лесковец, глаза испортите. Бегите бегом! Холодно.

Впереди послышались голоса. Лида узнала голос Алеси и поняла, что девчата тоже пошли их искать. Максим свернул с дорожки и побежал пожней, за стогами и

кустарниками.

После ужина Лида и Алеся уселись на берегу под дубами, поодаль от костров, вокруг которых все ещё весело шумели парни и девчата — шутили, возились, пели. Они долго сидели молча, зачарованные красотой вечера. Из реки на них глядели звездочки, мигали, колыхались. Внизу, под ногами, ластилась к берегу вода, шуршал песок. А над головой чуть слышно шумела листва. Ветра не было, но из-за реки плыл теплый душистый воздух, примешивавший к аромату сухого сена едва уловимый, но такой знакомый запах полей и более сильный запах воды, рыбы, ила. За рекой светились тусклые огоньки деревни, где постепенно стихал вечерний гомон.

На лугу горели большие костры, в их красном свете мелькали фигуры людей. Проносились летучие мыши. Где-то на «старике» крякали утки. Фыркали лошади.

— Какая красота! Эти звуки… Темень… Огоньки… — Алеся после каждого слова делала паузу, произносила их почти шепотом, даже каким-то таинственным шепотом.

Лида не отвечала, ей не хотелось говорить, не хотелось словами нарушить эту необыкновенную торжественность, которой полна была природа.

— В такой вечер, над рекой, мне кажется, каждый поэт. Но красоту эту можно только почувствовать, увидеть, а написать, рассказать о ней… — Алеся, должно быть, хотела сказать «нельзя», но передумала и после долгого молчания с сожалением промолвила: — Наверно, тоже можно, — и тяжело вздохнула, а через мгновение сладко зевнула.

Лида тихонько засмеялась.

— Тебя усыпляет эта красота…

Алеся поняла иронию и обиженно умолкла. У костра весело и громко хохотали. На вершине дуба испуганно

затрепыхалась сонная птица. Лида смотрела на звезды в воде и вспоминала события дня. Зачем она согласилась на предложение Максима работать у одного стога? Зачем плыла с ним рядом и потом бежала по берегу в одном мокром купальном костюме? От этого воспоминания стало неприятно и стыдно.

Она вздрогнула, когда Алеся вдруг спросила:

— Скажи, ты могла бы полюбить такого человека, как Лесковец?

Ей показалось, что она сама задала себе этот неожиданный и коварный вопрос, и испугалась: — Почему ты об этом спрашиваешь?

— Он добивается твоей любви. — Этого ещё мало, Алеся.

— Потому я и спрашиваю.

— Я думаю, что никто не может сказать наперед, полюбит он или не полюбит того или иного человека. Ты, Алеся, не представляешь, что такое любовь…

— Я не представляю? — удивилась Алеся, но тут же покорно согласилась: —Да, я, пожалуй, не знаю, что это такое… А ты любила?

Лида не ответила, потом, наклонившись к подруге, тихо сказала:

— Знаешь что?.. Давай помолчим, помечтаем каждый о своем. Такая ночь!

Они долго сидели молча. Потом Алеся ещё раз зевнула и, потянувшись, встала.

— Идем спать, Лида. Сегодня славно поработали.

— Ты иди, а я посижу ещё немножко. Мне не хочется спать.

Только Алеся отошла — рядом зашуршала под чьими-то

шагами сухая трава.

— Разрешите?

Максим опустился на то же место, где минуту назад сидела Алеся. Лида, молчала. От этого упорного молчания он почувствовал себя так, как тогда зимой, перед тем разговором, воспоминание о котором было самым неприятным из всех его воспоминаний. Он смущенно кашлянул раз, другой… Наконец она повернулась к нему и сухо спросила:

— Признайтесь откровенно, Лесковец, вы ждали, пока уйдет Алеся?

— Почему вы, Лидия Игнатьевна, так дурно обо мне думаете? — спросил он спокойно, даже шутливо.

— Вот видите, вы даже не можете ответить прямо. Он разозлился.

— Откуда я мог знать, уйдет она, ваша Алеся, или уснет у вас на коленях?

В самом деле, не мог же он знать и рассчитывать, что Алеся уйдет спать одна, а она, Лида, останется на берегу. Лида поняла, что он говорит правду, и простила ему непрошеное появление.

На реке нарастал шум парохода; сначала он был далекий и неясный, но теперь уже заглушал все остальные звуки ночи. Пароход неожиданно вынырнул из-за поворота, ярко освещенный. Огни его иллюминаторов переливались в воде, и казалось, под водой плывет какой-то сказочный многоэтажный корабль, неизмеримо больше надводного, настоящего. Пароход, огибая буй, прошел совсем близко от берега, так близко, что на палубе можно было разглядеть людей, услышать их смех.

Запенились волны, сильно и сердито ударили о берег. Шум парохода уже стихал, скрылись его огни, а река все ещё не могла успокоиться.

Максим не знал, с чего начать разговор, и впервые чувствовал себя так скверно в присутствии девушки.

Вдруг из глубины ночной тиши возникла, перелетела реку песня — старая песня о любви, о тоске девушки по любимому, что уехал и «нет его и не будет».

Пели где-то в дальнем конце деревни. Пели стройно, дружно, но особенно пленял слух один чудесный голос. Он подымался выше всех, вел за собой весь хор, наполняя воздух трепещущим серебряным звоном. Казалось, он летел не с земли, а с усыпанного звездами неба, точно песня необыкновенного жаворонка, который повис, трепеща, в воздухе, отчего и голос еrа дрожал и переливался, Песня была знакомая, но слов Максим не помнил, Он прислушался и сказал:

— Чудесно поет!

Зная, что Лида большая любительница пения, он надеялся, что с этого начнется разговор, прекратится мучительное молчание.

Лида точно не слышала его и вдруг запела сама, тихо, вполголоса, но четко произнося слова:

Росла, росла девчинонька,
Росла-подрастала.
Ждала, ждала козаченьку,
Да и плакать стала,

Максим насторожился, потрясенный глубокой печалью, звучавшей в её голосе, когда она пропела последнюю строчку. Голос её задрожал, как будто песня эта была о ней самой.

Плачьте, очи, плачьте, кары,
Такая уж доля…

И ему показалось, что она и в самом деле заплакала. Он тихо окликнул:

— Лида.

Она не отвечала, продолжала петь, но уже без слов, одну мелодию, и нельзя было понять, то ли она не знает конца, то ли слова о том, как мать выбрала другого, не нравились ей.

Смолкла песня за рекой — умолкла и Лида.

Максим снова окликнул её:

— Лидия Игнатьевна!

Она быстро повернулась.

— Послушайте, Лесковец, вы меня простите, но мне не спалось, и я слышала ваш разговор с отцом.

— А-а, — растерянно протянул он.

— Скажите, вы действительно её любили? Максим ответил не сразу.

— Любил.

— Так почему же так вышло? — Не знаю.

— Не знаете? Бедненький… Все знают, один он не знает. А сейчас?

— Что сейчас? — Голос его стал холодным и грубым.

— Любите вы Машу?

Он коротко хмыкнул.

— Сейчас для меня остались одни воспоминания…

— Так скоро?

Максим не ответил. Лида подождала и, не дождавшись ответа, другим, лукаво-ласковым голосом спросила:

— Что же вы хотели мне сказать, Максим Антонович? Но поймать его ей уже не удалось. Он отлично знал её характер и ответил также с иронией, с насмешкой:

— Что у вас великолепный голос и что вам больше подошла бы профессия, актрисы, чем учительницы.

— Благодарю, — Лида поднялась. — Пора спать. Спокойной ночи, — и ушла в ту сторону, где, в ночной темноте ещё тлели красные угли костра.

Максим остался сидеть на берегу»

4

На заседании правления в Добродеевке должен был обсуждаться план уборки урожая, и Маше захотелось послушать, как будут разрешать этот важный вопрос в лучшем колхозе, чтобы перенять опыт и перенести его в свою бригаду, в свой колхоз.

Заседание было многолюдное, как вообще все заседания и собрания в «Воле». Колхозники заполнили просторное помещение новой колхозной конторы, ещё не законченной, с незастекленными рамами, без двери в будущий кабинет председателя, с дырами в полу и потолке в тех местах, где должны быть поставлены печи.

До начала заседания, пока Лазовенка, Ладынин и Шишков, склонившись над столом, о чем-то совещались, было шумно; так бывает всегда, когда собираются люди, связанные общим трудом, общими интересами, до мелочей знающие жизнь друг друга.

Но как только Василь, с карандашом в руке, встал, сразу установилась тишина. Маша с гордостью за него подумала, что у них в колхозе Лесковцу всегда стоит немалых усилий утихомирить людей в начале собрания. Она невольно залюбовалась мужем. Он говорил спокойно и, должно быть, намеренно негромко, — так, что те, кто стоял у дверей, напряженно вытягивали шеи. Однако никто не крикнул «громче», как это обычно бывает, когда у ораторов не хватает голоса. Все слушали молча. Голос Василя постепенно крепчал, старики отнимали ладони от ушей. Он прочитал план подготовки, утвержденный на одном из предыдущих

заседаний, месяца два назад, и коротко рассказал о его выполнении — о ремонте конных жнеек, о строительстве крытых токов, о машинах МТС, которые будут работать на уборке.

— Урожай мы вырастили, товарищи, неплохой.

— Добрый урожай, что там говорить! — перебил его бригадир Вячера.

Василь, оглянувшись на Ладынина, улыбнулся:

— До хорошего урожая нам ещё далеко, товарищи.

— Далеко? Ишь ты!.. А это ты знаешь, что отцам нашим и не снился такой урожай, — возмутился Мина Лазовенка. — Ты скажи, что не всякий год такой удается.

— Не мешай, батя… Вашим отцам не снился, а мы ещё и не такой увидим. И притом выращивать мы его будем в любой год. Но урожай этого года может действительно в масштабе нашего района стать хорошим… — Василь сделал паузу, оглядывая колхозников, — в том случае, если мы соберем его своевременно и без потерь. Хороший урожай зависит не только от хорошего посева, удобрений, присмотра, но и от хорошей уборки. Уборка — дело сезонное, убрал своевременно — выиграл, пропустил время — проиграл. Вот это мы не должны забывать. Ни на минуту, товарищ Гоман, — повторил Василь, повернувшись к бригадиру строительной бригады.

Тот подскочил на месте как ошпаренный:

— Опять Гоман! Везде Гоман!

— Шум и гомон! — крикнул от дверей, какой-то молодой шутник.

Там засмеялись.

Василь постучал по столу карандашом:

— Словом, если через два дня не будет закончена постройка тока в третьей бригаде, и в самом деле будет шум и гомон, уважаемый Иван Иванович. Не забывай о предупреждении, которое мы тебе сделали…

— Прикинь ещё один денек, Василь Минович, — вытирая рукавом лысину, плаксиво попросил Гоман.

От дверей снова прокатился дружный смех.

После выступления председателя отчитывались бригады.

Маша, как только начал говорить Михей Вячера, сразу же насторожилась. Все, что он говорил о подготовке бригады к уборке, очень мало походило на тот отчет, который она готовила для своего правления.

Вячера, по сути, делал доклад. Начал с того, что охарактеризовал весь бригадный массив в целом и каждый участок и культуру в отдельности.

Все у него было подробно и научно обосновано и подсчитано. Он уверенно называл дни когда можно будет начать жать рожь на бугре, ячмень — на торфяниках, пшеницу — за сосняком. В соответствии с этим у него был составлен план уборки, в котором все было рассчитано до мелочей: затрата трудодней на каждую культуру и на каждый рабочий процесс, необходимое количество людей, коней, жнеек, даже серпов, кос и граблей.

Бывший партизанский командир говорил об уборке, как о наступлении, план которого составлен с учетом возможностей каждой боевой единицы, каждого человека и машины. Все в этом плане было предусмотрено — любая неожиданность и случайность.

Слушали Вячеру внимательно. Маша даже ревниво подумала, что более внимательно, чем Василя. Бригадир третьей бригады Артем Городец, молодой парень с болезненным лицом, что-то быстро исправлял в своей толстой тетрадке, спешно перелистывая

странички. Он подносил ко рту химический карандаш, и на губах его все больше и больше расплывалось фиолетовое пятно. Маше тоже захотелось записать главное из плана Вячеры, чтобы завтра по этим заметкам составить такой же план для своей бригады. Она достала из кармана маленькую записную книжку, но, увидев, что несколько человек поглядывают на нее с непонятной усмешкой, застеснялась, повертела книжечку и незаметно спрятала её в рукав.

Вячера критиковал строителей за недоделки на току, кузнеца — за плохой ремонт конных жнеек, предъявлял требования правлению, просил помочь людьми.

— Все здесь, — он постучал пальцами по обложке блокнота, — намечено, так сказать, с запасом мощностей, а вот расчет людей — с максимальной нагрузкой на каждого человека. И если заболеет человек или ещё что-нибудь случится, машина моя может начать давать перебои, — обернулся он к Василю.

Выступали со своими планами и другие бригадиры.

Маше казалось, что планы бригадиров безупречны, что о них ничего уже не скажешь, можно только похвалить, и потому она была удивлена, когда их стали критиковать, выправлять.

Выступали члены правления, сами бригадиры, Байков, Тут же все уточняли, делали перерасчеты, рациональнее расставляли Людей и тягло.

Из уточненных бригадных планов рождался общеколхозный план.

Василь подводил итоги.

— Планы мы составили хорошие. Теперь главное — выполнить их, а это целиком зависит от нас. Людей у нас действительно мало. И нужно, чтобы каждый человек, живущий в деревне, работал.

— Увидим! — прозвучал в тишине скептический возглас

Наташи Гоман.

— Надо организовать школьников, студентов...

— Снять бригаду с гидростанции! — крикнул кто-то из мужчин.

— Конечно! — поддержали его.

— Другие колхозы все равно снимут своих. А нам что, больше всех надо?

— Дело правления, товарищи, но я буду против того, чтобы снимать бригаду с гидростанции на все время уборки, — запротестовал Василь. — Хорошо бы, если б мы могли совсем их не трогать... Ну, если такое дело, так в самое горячее время — на неделю... Не больше!.. Звено свекловодов Рагиной будет работать в третьей бригаде в Кривцах. Седая со своим звеном станет на вывозку хлебопоставок. Почетное задание тебе, Наталия Николаевна!.. В самый короткий срок должны мы рассчитаться с государством...

Василь хотел было уже перейти к обсуждению других дел, как неожиданно поднялась Настя Рагина.

— Разрешите мне, — она энергичным жестом поправила свою цветастую косынку и твердо, подчеркивая каждое слово, произнесла: — Мое звено на уборку не выйдет!

Если б вдруг заговорил сидевший тут немой Цимох, это, верно, удивило бы присутствующих меньше, чем такое заявление.

Все головы повернулись к ней, её разглядывали так, как если бы она только что свалилась с неба. Настя покраснела, смутилась и села.

Колхозники загудели, кто — возмущенно, кто — насмешливо:

— Высказалась!

— Генерал девичьего войска.

— Ты что спряталась? Говори, выкладывай, что это за звено у тебя такое?

— Как твои бураки полоть, так всем колхозом ходили.

— Я вас не просила! — Она снова встала, уже бледная, с лихорадочным блеском в глазах.

— Мы тебя тоже не просим! Может, прикажете в ножки вам поклониться, Анастасия Ивановна? Она не пойдет! Ишь ты какая! — возмущался Михей Вячера.

— Не пойду! Пускай раньше жена председателя пойдет.

Люди сразу притихли и повернулись от нее к столу, за которым, спокойно улыбаясь, стоял Василь Лазовенка. Кое-кто задержал взгляд на Маше, и она почувствовала, что ей вдруг стало душно.

— Жена председателя работает, — заметил кто-то.

— Не видим мы её работы! — закричала Наташа Гоман.

— Где это видано, чтоб вышла колхозница замуж и работала не там, где муж, — послышался от дверей голос пожилой женщины.

Но Наташа не давала рот раскрыть ни сторонникам своим, ни противникам:

— Хороша работа! Муж каждое утро на лошади отвозит, вечером привозит, как барыню какую…

— Выходи и ты за председателя! Тебе завидно? Раздался смех. Шутникам и зубоскалам — отличный случай блеснуть своими талантами.

— А ты знаешь, кто за кого замуж выходил? Может, он за нее?

— Знаем мы эти штучки. Выгодно сразу в двух колхозах быть! Две коровы, две усадьбы…

Слова эти огнем обожгли сердце Маши, стало обидно до слез. Как они могут так обижать Василя, который столько времени, столько сил отдает колхозу? Да он и не думает никогда о своей усадьбе!

Она посмотрела на Василя, он чуть побледнел, но по-прежнему улыбался спокойно, весело. Неужто эта клевета не трогает его, не оскорбляет?

Когда Наташа наконец умолкла, он насмешливо спросил:

— Ну? Кто хочет ещё? Только давайте по порядку. Мгновенно установилась такая тишина, что стало слышно, как бьются о лампочку мотыльки.

Поднялся Иван Рагин, отец Насти, сурово взглянув на дочь:

— Все, что настрекотали тут эти сороки, ерунда, конечно… Ты прости, Василь Минович, и ты, Маша, тоже… Но тут дело такое… слышал я эти разговоры и от людей постарше, особенно от женщин… Не понимают они, почему женка твоя, Василь Минович, работает не в своем колхозе… Разве нам самим не нужна такая работница? Или в «Партизане» без нее никак не обойдутся? — Он оглянулся, как бы ища поддержки, и сел.

Василь обернулся к жене.

— Объясни, Маша…

Но Ладынин его перебил:

— Погоди. Я объясню, — он поднялся, как всегда, немножко чересчур стремительно, но потом сделал длинную паузу, отошел от стола, внимательно вглядываясь в лица людей. — Я понимаю вас… Затронуто ваше самолюбие. Как это, мол, так: нашелся человек, который не пожелал перейти в ваш, лучший, колхоз, а остался в худшем. Да, кое-кому ещё трудно это понять. Трудно потому, что живут они ещё по старой поговорке: рыба ищет где глубже, а человек где

лучше.

Нет, товарищи, передовой советский человек не ищет, где лучше, а строит его, это лучшее, там, где ещё не все хорошо, борется за лучшую жизнь не для себя одного… Товарищи, как видно, забыли, что Мария Павловна — коммунистка и поступила она, как подобает коммунисту, осталась там, где она действительно больше нужна. Партийная организация одобряет её решение.

Старики согласно закивали головами: понимаем, мол, дорогой Игнат Андреевич.

Кто-то даже выкрикнул:

— Правильно! Молодчина, Маша!

Но Маша видела, что Настину команду и большинство женщин не удовлетворило и объяснение Ладынина. Они переглядывались, перемигивались и бросали на нее довольно неприветливые взгляды. Она не рада была, что пришла на заседание. Лучше бы ей всего этого не слышать. Ей было обидно не за себя — за мужа…

Дома она сказала:

— Мне прямо страшно, Вася! Я всегда понимала людей, и они меня понимали. А тут…

— Ну, Настя и её звено — это ещё не все люди… Ты успокойся. И не волнуйся за меня: мой авторитет Насте поколебать трудненько.

Но Маше нелегко было успокоиться. Она росла, окруженная уважением односельчан, никто никогда не мог упрекнуть её в какой-нибудь хитрости или корыстных намерениях. А тут вдруг такое обвинение… И в придачу к этому ей выпало ещё одно испытание.

Странные сложились у нее отношения с Максимом.

После того тяжелого вечера, когда он узнал о её замужестве, и после разговора с Ладыниным он как-то

сразу успокоился, от души пожелал ей счастья, не испытывая ни ревности, ни злобы к Василю. Правда, боясь насмешек, щадя свое самолюбие, он не пошел на свадьбу, а нарочно уехал в этот день в гости к сестре. Даже к Машиному желанию остаться бригадиром он сначала отнесся спокойно.

Но это продолжалось недолго.

Вдруг больно и тревожно заныло сердце. Случилось это после разговора с Лидой на лугу. Странно двоились его чувства, странно, непонятно и мучительно: он хотел думать о Лиде, а думалось о Маше. Несколько раз он видел, как Василь встречает Машу после работы, как они идут полем, весело разговаривая, смеются, иногда целуются, и ему сделалось ещё больнее. Снова вспыхнула ревность.

Однажды он услышал, как разговаривали женщины: — Маша прямо расцвела. Любо поглядеть на молодицу!

Он присмотрелся и сам заметил, что Маша и вправду похорошела, даже как будто помолодела. Это вызвало у него никогда раньше не испытанное по отношению к Маше чувство. Теперь он при встрече не мог отвести глаз от её лица, от пышной груди, от сильных загорелых ног. Это не могло укрыться от любопытных женщин, да и от самой Маши. Взгляды эти оскорбляли её женское достоинство; она терялась, сгорала от стыда и прилагала все усилия, чтобы пореже встречаться с ним. Но он был председателем, а она бригадиром, и им приходилось вместе работать… Это были очень трудные для нее дни. С одной стороны, нарекания колхозниц «Воли», с другой — Максим. И самое тяжелое в этих взаимоотношениях с Максимом было то, что она не могла решиться, стеснялась рассказать об этом Василю. Все чаще и чаще приходила к ней мысль — бросить бригадирство, перейти в «Волю» на скромную работу рядовой колхозницы. Но и это было невозможно: она дала слово бригаде, Ладынину. Как-то она встретила Максима в поле один на один. Маша, увидев его, сперва испуганно отшатнулась, потом разозлилась и возмущенно спросила:

— Что ты таращишь на меня свои бесстыжие глаза? Только сейчас разглядел, что ли?

Он понурил голову и неожиданно с виноватым видом попросил:

— Уходи из колхоза, Маша. Чтоб я тебя не видел. Пойми, тяжело мне.

— Фу, противно на тебя смотреть. Тяжело тебе? А мне вот стало легко. Успокойся и знай — никуда я из колхоза не уйду. А станешь выживать — скажу Ладынину, и тебе придется объясняться на партсобрании.

Только эта угроза несколько утихомирила его. Работала Маша хорошо. Даже, может быть, лучше, чем до замужества: стала ещё активнее, настойчивее, многое перенимала от мужа, и, возможно, поэтому и бригадиры и колхозники прислушивались к её советам больше, чем к советам председателя. Этого не мог не заметить Максим, и, естественно, это тоже вызвало в нем ревность и обиду.

Усложнялись и его взаимоотношения с Шаройкой.

Шаройка, после того как его сняли с бригадирства, затаился, притих, даже на улице редко показывался. На требование Маши выйти на колхозную работу он принес справку от врача районной больницы о том, что у него больное сердце и физическая работа ему не разрешена. Между прочим, справка эта страшно возмутила Ладынина. Выступая на очередном совещании в райздраве, Игнат Андреевич сказал врачу, который её выдал:

— Я не сомневаюсь, Злотников, да и колхозники об этом говорят, что справочка крепко подмазана Шаройкиным маслом. Глядите, чтоб масло это не выступило грязными пятнами на вашем белом халате. Скажу прямо: если мне удастся доказать ваш грязный поступок юридически, разговор наш продолжится в другом месте. Запомните это.

Злотников кричал, клялся, что привлечет Ладынина к судебной ответственности за оскорбление, но вместо этого через неделю перевелся в другой район.

Шаройка вышел на работу на следующий день после того, как узнал, что Маша выходит замуж за Лазовенку. Встречая колхозников, чуть ли не каждому объяснял:

— Думали, Шаройка лодырь какой-нибудь, Шаройка никогда не сторонился и не будет сторониться колхоза. Чуть почувствовал себя лучше — и вот, видите, сразу потянуло на работу. И докажу, что Шаройка не разучился работать. Нет, не разучился… Не разучился, скажу я тебе…

Люди прятали усмешки, тайком лукаво подмигивали друг другу. В самом деле, Шаройка взялся за работу не шутя: на сенокосе каждый день выполнял по две нормы, вызывал на соревнование молодых.

Максим, кивая на него, шутил довольный:

— Оказывается, и Шаройку можно перевоспитать. — И хотя не было у него прежнего уважения к лучшему хозяину в деревне, но иногда он опять с ним советовался, тем более что теперь ничего не решался делать один, без того, чтобы не спросить мнения людей.

Шаройка раболепно угождал председателю и настойчиво приглашал его к себе. Максим твердо решил не поддаваться ни на какие уговоры и не ходить. Несколько раз он отказывался, но однажды поздно вечером Шаройка встретил его возле своего дома и чуть не силком затащил к себе.

— Не обижай старика, Максим Антонович. Дела делами, а старый друг, как говорится… На минуточку… Посидим, покалякаем.

У Максима было дурное настроение, он опять видел, как шли садом Василь и Маша, и ему не хотелось идти домой.

В горнице не было никого, Шаройка, усадив гостя,

сразу же протянул ему письмо.

— Прочитай, Максим Антонович. От сынка, от Феди. Шесть страниц настрочил, что твой писатель. В звании его повысили: майор! — Он с гордостью произнес последнее слово, выбежал на кухню и уже за дверьми ещё раз повторил: — Майор!

Максим не успел прочитать и странички, как из спаленки важно выплыла Полина, ещё сонная, в красивом шелковом халате, с высокой, явно наспех сделанной прической. Она приветливо и якобы стыдливо поздоровалась и села против него на диван.

— Ты меня, Максим, извини, что я в таком виде встречаю гостя.

От нее пахло какими-то крепкими духами. У Максима от этого запаха закружилась голова и почему-то опять вспомнилась Маша, он представил себе, как обнимает и целует её Василь.

Пола халата отвернулась и оголила красивое, белое колено и край сорочки. Максим понимал, что Полина сделала это нарочно, и разозлился, почувствовал себя оскорбленным. Еще больше он обозлился, когда она заговорила, то кокетливо играя глазами, то печально вздыхая. Он ненавидел это кривлянье. И её ненавидел с тех пор, как убедился, что слова матери справедливы. Шаройка действительно давно мечтал женить его на своей дочери и не раз пилил Полину за непредприимчивость: «Не маленькая, слава богу. Не век же тебе в девках сидеть, хоть ты и учительница. Была бы ты уродом, а то такая краля». Но тогда Полина ещё мечтала о большой, настоящей любви — такой, как в романах, да и Машу она уважала, совесть не позволяла становиться на её пути. А теперь, когда Маша замужем… Теперь можно попробовать приворожить его… Бывает, что любовь приходит потом, после сближения… Заодно она отомстила бы Лиде Ладыниной, которая, говорят, стала тоже заглядываться на Максима.

Максим не выдержал — встал и демонстративно отошел к окну, повернулся к ней спиной.

«Ну и дура! На черта ты мне нужна! За кого ты меня принимаешь, фефела ты этакая?»

Шаройка вскочил в комнату с большрй сковородкой в руках, на которой шипела яичница:

— Прошу к столу, Максим Антонович. Опрокинем по маленькой…

— Спасибо. Я не пью, — ответил Максим, повернувшись от окна.

Шаройка взглянул на дочь, увидел её сконфуженное лицо и, зло сверкнув глазами, кинулся к Максиму, заискивающе обнял за плечи:

— Нет, нет, брат Максим, из моей хаты так не уходят. Не пущу! На пороге лягу!..

Полина незаметно скрылась. Они сели за стол. Разговорились о колхозных делах, и Максим успокоился, разговор был интересный.

Говорили об урожае, об уборке, до начала которой оставались считанные дни. Но вдруг Максим опять насторожился: Шаройка завел знакомую песню.

— Да-а, урожай вырос неплохой… Лето славное. Золотое лето. Слава богу, будем с хлебом… Только, Максим Антонович, послушай меня, старого воробья… Не очень ты кидайся на эти эмтээсовские машины. Говорят, ты ругался в районе, что комбайна не дали. На что он тебе? У нас сил хватает… Коли не хватает их — дело другое… Я, брат, когда управлял, глядел вперед. Глядел, брат, глядел… Сегодня у тебя лошадок больше, чем в прославленной «Воле». А это — сила. Лошадка да жатка… Серпок тоже ещё не отжил свое…

Максим положил на стол вилку, выпрямился, сунул руки в карманы:

— Гнилые твои советы, Амелька.

Шаройка вздрогнул, как будто его полоснули плетью по спине, втянул голову в плечи, криво улыбнулся:

— А-а-а? Гнилые, говоришь? Что ж, бывает… Бывает, браток, бывает. Видать, сам начинаю гнить.

— Видать, начинаешь.

Улыбка сошла с Шаройкиного лица, он помрачнел, закусил губу, глаза его загорелись злыми огоньками. Человек самолюбивый, он был мстителен и никогда не прощал обиды.

А Максим, почуяв свою силу, свое превосходство, хотел уколоть его как можно больнее.

— Да, гниешь, Амелька, — он потянул носом. — Гниешь!

— Эх, Максим, Максим, не твои это слова. Чужие слова, — Шаройка тяжело вздохнул, словно ему очень жалко было Максима. — Да я не обижаюсь. Не обижаюсь, браток. Молодость! Выпьем? Не бойся, не воняет, из магазина…

— Выпью. Последнюю… За то, чтоб больше с тобой никогда не пить.

— Не плюй, говорят, в колодец…

— Из гнилого колодца не пьют, Шаройка.

Хозяин замолчал, поняв, что гостя ничем не улестить. Со страхом он увидел перед собой не Максима, а отца его, один Антон Лесковец говорил ему в глаза такие жгучие, как крапива, жестокие слова.

Быстро разлив водку, он поднял рюмку, но Максим выпил не чокнувшись.

Шаройка наклонился и спросил ласковым голосом:

— Давно хотел спросить у тебя… Кацубиха так всё у нас и будет?

— А тебе что? Не нравится?

— Мне? Мне все равно. — Шаройка откусил половину малосольного огурца, громко захрустел им и, проглотив, вдруг заговорил совсем другим тоном, злобно, чуть не шипя — А вообще не нравится. Нет! Потому что не я загниваю, не я… Зря ты напраслину возводишь! У меня душа за колхоз болит, может, больше, чем у тебя. И вижу я больше. А тебя ослепили. Иди, послушай, что люди говорят. Вся деревня звонит, что колхозом теперь руководишь не ты, а Кацубиха. Ну, а Кацубиха — значит, Лазовенка. Вон оно как обернулось! Хе-хе…

Максим спокойно встал, подошел к окну, снял с гвоздя шапку, хлопнул ею о ладонь, чтоб стряхнуть известку.

Шаройка тоже поднялся:

— Так люди говорят, Максим Антонович… Лесковец шагнул к нему и бросил прямо в лицо:

— Так говорит только сукин сын! — и быстро вышел, хлопнув дверью.

На улице он остановился, оглянулся на окна Шаройкиной хаты и засмеялся. На душе вдруг стало легко и весело, как будто он навсегда порвал с неприятным прошлым.

5

Алеся уехала в Москву сдавать экзамены в университет.

Петю правление откомандировало на курсы трактористов и комбайнеров. Дом опустел, и Маша должна была перебраться, в Лядцы, чтоб приглядеть за хозяйством, которое нужно было сберечь для Пети.

В первый вечер, проводив взволнованную Алесю на станцию, она долго ходила по просторной хате, по двору, по огороду и не знала, за что взяться. Стало грустно. Она с нетерпением ждала Василя. Он пришел,

когда уже стемнело, как всегда возбужденный, веселый. Крепко обнял её, поцеловал.

— Вот и разлетелась наша семья, — невесело улыбнулась Маша. — Все сразу.

— Грустно? — понимающе спросил её Василь.

— Грустно и радостно, Вася. Перед ними — такая жизнь! — А перед нами?

— И перед нами, — она ласково прижалась к нему.

— Ну, идем ужинать. Красивая у нас с тобой жизнь. Ночевать будем в Лядцах, обедать — в Добродеевке. Настя опять тарарам подымет, что пьем молочко от двух коров. Чудачка!

Маша легко вздохнула:

— Тебе смешно. А меня это так тогда поразило, что я и сейчас ещё успокоиться не могу. Обидно, что люди не понимают. В наше время… Наши ровесники…

— Ничего, Маша. Не делай ты из ерунды политики. У неё были свои причины, только она ничего умнее придумать не могла. А так, при всех её чудачествах, она славная девушка. Не ревнуешь? Я верю, что она первая будет у нас героиней. С её настойчивостью…

Окна были раскрыты, и в комнату тусклыми матовыми звездами глядела душная ночь. Пахло спелым зерном — запах этот плыл с полей, — геранью и розами, росшими в палисаднике.

Они сидели за столом друг против друга, уставшие за день, но счастливые, довольные тем, что остались наконец наедине. Не спеша ужинали, тихо разговаривали. Им хотелось сидеть так и сидеть. Время летело незаметно. Давно уже затихла деревня, и даже голосов молодежи не было слышно.

— Все спят. Пора и нам, Маша. Завтра мне надо подняться часа в четыре. — Василь завел будильник,

чтоб не проспать. — Надо начать жать до солнца, чтобы к обеду снопы подсохли, а со второй половины дня запустить молотилку. А вообще, промахнулись мы с этими вырубками. Простить себе не могу. Надо было непременно осенью выкорчевать пни… Теперь пустили бы комбайн, жнейки…

— Не все сразу, Вася. Какой ты ненасытный! Никто не знал, что там поспеет раньше…

— Вот это и плохо, Маша, что мы мало ещё знаем. Обязаны были знать.

— Мы в Глинищах сеяли позднее, а поспело там раньше. Вот тебе и законы!

Маша уже постлала постель, закрыла окна, когда вдруг в дверь постучали.

— Кто это так поздно? — удивился Василь. Маша пошла открывать.

Вошли Лесковец и Михаила Примак.

Максим со странным любопытством, торопливо и жадно оглядывал хату. Потом, должно быть почувствовав неуместность своего любопытства, он заметно смутился и попросил извинения:

— Поздно мы вас побеспокоили.

Михаила Примак, не дожидаясь приглашения, уселся за стол и устроился, как дома. Хозяев это не удивило, они знали, что только за столом он мог одной рукой свернуть цигарку. И в самом деле, он сразу же вытащил кисет с махоркой, газету и довольно ловко и быстро скрутил большую цигарку. Василь протянул ему спичку.

— Устроились, хитрецы, как на даче. Вот, Максим, чтоб тебе не спалось, завидуй, не хотел жениться… Живут, как графы в своей загородной вилле. Все условия, чтоб каждый год по дитенку, а, то и по двое… Маша возмутилась:

— Постыдился бы, Михаила! Голова уже седая, а ты… несешь неведомо что.

Примак не унимался.

— У меня душа молодая, Маша… Погоди… А почему ты на меня кричишь? Ты мне каждый раз, как я зайду, поллитровку ставить должна. Без меня вы, злодеи, ещё пять лет бы не поженились. Скажите спасибо…

Василь засмеялся.

— Ну и мастер же ты врать, Миша! Чужие заслуги себе приписываешь.

— Хо! Сказал! А в чем твоя заслуга? Пустое дело, говорил мой батька, нехитрое. Заслуга! Подожди немножко… ты заслужишь… Как начнет тебя эта пила каждый день пилить, так ты от всех заслуг откажешься… А она, брат, может. Культурно, этак, с нажимом, только опилки посыпятся…

Василь любил этого человека, шутившего неизменно, в любых обстоятельствах.

Маша хотела всерьез на него рассердиться, но тоже не могла, — только хмурилась.

Она следила за Максимом и видела, что ему неприятно слушать эти шутки, он, правда, тоже улыбался, но улыбка была какая-то кислая, деланная. Наконец Максим не выдержал и сказал серьезно и решительно:

— Давай о деле, Алексеевич. Людям пора спать.

Примак повернулся к нему, надув щеки, внимательно посмотрел ему в глаза, потом с шумом выпустил изо рта огромный клуб дыма.

— О деле? Ну что ж, давай о деле…

Как видно, Максим ожидал, что говорить будет Примак, но бригадир придвинул к себе газету и склонился над ней.

Тогда Максим повернулся к Лазовенке.

— Слушай, Василь, ты начинаешь жать на вырубках… Комбайн там не пойдет. А у меня поспело на Глинищах. Дай мне на первые два дня комбайн.

Василь пожал плечами.

— Вы меня, друзья, удивляете. Сидит, можно сказать, прямой хозяин комбайна — бригадир МТС, и ты с такой просьбой ко мне. Я имею к комбайну такое же отношение, как и ты.

Примак поднял голову от газеты и погрозил ему пальцем.

— Вася, не прикидывайся младенцем. Ты отлично знаешь, почему мы пришли к тебе. Самовольно комбайн я перебросить не могу. Крылович в Минске… Я говорил по телефону с Масловской, она поддерживает. Но только, если согласуем с тобой… Без твоего согласия никто на это не решится. Комбайн по графику должен в первую очередь работать в «Воле», убрать урожай, на который в районе возлагают большие надежды. И если перекинуть без твоего согласий и вдруг что-нибудь такое, ты же съешь любого. До обкома дойдешь.

Василь встал и задумчиво прошелся по комнате. Маша в волнении следила за ним. Как он решит? Что ответит?

Конечно, ей хотелось, чтобы комбайн поработал у них в колхозе. Это дало бы им возможность оказаться в числе, передовых. Но она понимала, что это может создать условия, при которых «Партизан» первым начнет сдачу хлеба, получит первую квитанцию. При всей преданности своему колхозу она не желала этого, потому что это было бы, по её мнению, несправедливо. Такая честь должна принадлежать тому, кто завоевал её своим трудом. Все говорят, что «Воля» должна занять в этом году первое место по району. Так пускай будет первой во всем!

«Понимает ли это Вася? Думает ли об этом?»

Никогда ещё Маша не была в таком затруднительном положении: за кого подать ей голос, за какой колхоз, оба они стали ей одинаково близки.

Василь остановился перед Примаком.

— А если что-нибудь такое, как-ты говоришь?

— Что? Поломка? Ну, что ты! Новая машина. Сам ни на шаг не отойду. Мне не веришь?

— Смотри! Сорвешь хоть один день уборки — не попадайся на глаза.

— О-о! Что я, не знаю твоего характера!

Максим поднялся, сдержанно и официально поблагодарил:

— Спасибо, Василь Минович. — Участок подготовишь?

— В три часа косари выйдут. Маша, дашь из своей бригады человек трех... Надо бы их сейчас предупредить.

— Я сделаю.

Прощаясь, Максим ещё раз окинул взглядом комнату. На лице его отразилось сложное чувство. Одна Маша заметила это.

Василь, проводив гостей, стоял посреди комнаты и довольно усмехался. Маша подошла, заглянула ему в глаза, как бы желая угадать, о чем он думает.

— Ты учел, что мы можем первые начать сдачу хлеба?

— Учел. И что же?

— Я тебя не понимаю.

— Дело в том, Маша, что я враг этой игры в первую квитанцию. В прошлом году Белов приписал мне за такие мысли чуть не антипартийные взгляды. На бюро ставил вопрос. Хорошо, что Макушенка у нас — светлая

голова. Я утверждал и утверждаю, что главное — вырастить богатый урожай и своевременно без потерь убрать… А государству нужно сдать в точные сроки, как этого требует партия. И не выдумывать игры в первую квитанцию. А то бросают все силы на хлебосдачу, а на поле хлеб гниет, как это было у вас при Шаройке. Сдают все рожью, потому что гречиха ещё цветет, а потом эту же рожь везут назад как ссуду, чтобы посеять озимые. Я в прошлом году писал в ЦК по этому поводу…

— Ложись спать, Вася, — ласково предложила Маша, чтобы его остановить, так как знала, что, заговорив на эту тему, он не скоро успокоится.

— Пожалуй, верно, — согласился он и стал раздеваться. — Знаешь, мне радостно, что он пришел с такой мирной и разумной просьбой. Мне кажется, что это начало нашей новой дружбы.

6

Возле колхозного сада на открытой площадке, залитой глиной, сушили зерно. Максим издали увидел стоявшую в стороне автомашину, людей и, оглянувшись на Ладынина, зашагал так быстро, что Игнат Андреевич едва поспевал за ним.

— Что случилось, Антонович?

— Не выехали! До сих пор не выехали! Вот, пожалуйста, товарищ Ладынин! Попробуй выйти в передовики с таким народом. Я знаю, почему они тянут… Кацуба… — И тут же поправился: — Лазовенка…

На двух площадках толстым слоем было насыпано зерно. Маша с группой девчат из своей бригады перелопачивали его: подбрасывали вверх, и зерна падали золотым дождем.

Маша издали увидела Максима, все поняла, насторожилась, но держала себя спокойно — оперлась на лопату и ждала. Максим, тяжело дыша, остановился поодаль, как бы боясь подойти ближе.

— Почему не повезли? — процедил он сквозь зубы. Маша поздоровалась с Ладыниным и ответила:

— Не примут. Сырое.

Игнат Андреевич зачерпнул пригоршню зерна, пересыпал с ладони на ладонь, взял одно зерно на зуб.

Максим подскочил ближе, тоже схватил горсть зерна.

— Кто сказал, что сырое?

— Я говорю. Не первый год сдаю.

— У тебя что? Лаборатория в кармане? Скажи прямо, по-партийному: ты не хочешь, чтобы мы были первыми… Скажи… Я ведь тебя понимаю, меня не перехитришь, — он покачал головой, голос у него был ровный, даже как будто спокойный, но язвительный и такой напряженный, что, казалось, вот-вот сорвется, перейдет в крик. — Какая это к черту работа, когда руки здесь, а сердце там, — махнул он рукой в сторону Добродеевки.

Маша вспыхнула, покраснела, Насторожились девушки из её бригады.

Максим, верно, и в самом деле раскричался бы и наговорил невесть чего, если бы Ладынин его не остановил.

— Иди, пожалуйста, сюда, Максим Антонович, я скажу тебе что-то, — неожиданно и как бы шутя пригласил его Игнат Андреевич, отходя в сторону. А когда они оказались за машиной, один на один, сурово произнес: — Если ты, неугомонная твоя душа, ещё хоть раз кинешь Маше такой упрек, я буду говорить с тобой иначе. Как не стыдно! Когда ты, наконец, научишься понимать людей?

— Погорячился, — неожиданно виновато сознался Максим. — Погорячился. Гляди же!

Ладынин попрощался и пошел в деревню к больным.

Максим ходил вокруг тока, молчаливый, хмурый, придирчиво осматривал все, потом пошел к стоявшему в саду амбару. Когда он через несколько минут вернулся назад, девчата поспешно насыпали зерно в мешки и грузили в машину.

— Я повезу, — спокойно сказала ему Маша. — Но если не примут — пеняй на себя.

Зерно не приняли. На складе «Заготзерно» шутили:

— Хотели первыми. Напрасно спешили, уже четыре колхоза сдали.

Но среди этих четырех не было «Воли», и это задело Машу больше, чем то, что их зерно не приняли.

Она оставила девчат досушивать зерно на складе, хотя у нее и было недоброе желание привезти его обратно — Лесковцу. Верх взял хозяйский расчет. С тяжелым чувством возвращалась она домой. Она понимала вздорность своих огорчений: необязательно же во всем «Воля» должна быть первой! Да, наконец, и сам Василь ведь говорил, что он против игры в первую квитанцию.

Но Маше все равно было обидно: почему сдают худшие колхозы и не мог сдать Лазовенка, лучший председатель в районе?

И вдруг из-за поворота дороги вылетели навстречу машины — три грузовика, наполненные мешками. Над первым развевался красный флаг. Она узнала машину «Воли» и увидела в кабине мужа. Шофер свернул в сторону, давая дорогу. Маша толкнула его.

— Не останавливайся!

Шофер кинул на нее удивленный взгляд, рванул машину. Василь тоже узнал её, замахал рукой, остановил свой грузовик.

Она услышала, как Василь крикнул «Маша!» и, оглянувшись, увидела, что он стоит на дороге и удивленно смотрит вслед. Тогда она поняла, как ему

неловко перед своими людьми, перед девчатами, которые её, конечно, узнали, и разозлилась на себя, чуть не заплакала от огорчения.

«Как девчонка... Срам... Добродеевцы бог знает что подумают. Почему я не остановилась?» Она сама не понимала своего поступка. Не понимала, почему ей было стыдно встретиться с Василем.

Шофер Степан Лавренбвич, молодой и молчаливый паренек, относившийся к ней с большим уважением, проехав несколько километров, осторожно спросил:

— Что, поругались уже? Маша ответила шуткой:

— Нет, собираюсь поругаться.

Степан долго молчал и только возле самых Лядцев сделал глубокомысленный вывод:

— Все вы такие... женщины... Непонятные. «Непонятные... Правда что непонятные», — несколько раз в этот день вспоминала Маша его слова.

7

Она не пошла больше ни на ток, ни в поле: она плохо себя чувствовала. Еще утром ей было нехорошо, и она боялась: не захворала ли? Днем стало как будто лучше, и она забыла обо всем, увлекшись сушкой и подготовкой к сдаче первого зерна. Теперь, после поездки в район, опять стало тяжело на сердце, разболелась голова. Она понимала, что дело не только в том, что она переволновалась. Было ещё что-то, что вызывало это беспокойство, но что — она не знала. Она попробовала заглушить его работой. Постирала белье, вымыла пол, хотя совсем недавно его мыла, подмела во дворе, убрала каждый уголок, как перед праздником. Но она никогда не возвращалась домой так рано: уже и работы больше не находилось, а солнце только ещё зашло за хаты. Правда, осталось ещё одно дело — приготовить ужин, но топить печь в такую пору, когда люди ещё на работе, было неловко. Маша решила

испечь блины. Открыла дежу, вдохнула приятный, кислый запах квашни и вдруг почувствовала, что ей страшно хочется… квасу. Холодного, крепкого хлебного квасу. Она долго стояла неподвижно, мысленно наслаждаясь этим чудесным питьем. Счастливая улыбка как-то необыкновенно осветила не только её лицо, но и все существо, казалось, женщина в один миг расцвела, как цветок. А желание напиться квасу не проходило. Она выпила простокваши, развела блины, а запах кваса, его кисло-сладкий вкус все больше и больше дразнили её. В поисках дела она вышла на огород и увидела издалека Сынклету Лукиничну. Старуха копошилась у себя на грядах. Маша после замужества как-то стеснялась её и избегала встреч, да и Сынклета Лукинична, столкнувшись случайно, кивала не очень приветливо.

Маша долго колебалась и наконец не выдержала, потому что хорошо знала, что у нее должен быть квас. Она незаметно подошла к забору, несмело поздоровалась. Сынклета Лукинична с усилием выпрямила спину (она копала картошку-скороспелку), проницательно посмотрела на Машу, затаила непонятную усмешку — чуть шевельнулись морщинки в углах рта, но на приветствие ответила ласково.

— Добрый день, Машенька. Ты сегодня какая-то… светленькая.

— Тетя Сыля, дайте кружку квасу, если у вас есть, — попросила Маша и сама испугалась: как неожиданно все получилось!

— Квасу? — Сынклета Лукинична сначала как будто не поняла, потом лицо её вдруг смягчилось, подобрело, материнской лаской засветились глаза. Она засуетилась, стала торопливо вытирать о фартук руки. — Квасу?.. Машенька, милая… Погоди минуточку, побегу принесу. Садись вот тут, на мешок…

Она принесла полный кувшин пахучего пенистого квасу. Маша пила прямо из кувшина. Пила жадно, не переводя дыхания. Две янтарные струйки бежали по

щекам, по шее, стекали на кофточку.

— Хватит, глупая! — Сынклета Лукинична отобрала у нее кувшин.

Маша засмеялась.

Сыяклета Лукинична поставила кувшин в борозду и неожиданно обняла её, привлекла к себе:

— Славная ты моя!..

Минутку они, обнявшись, молча сидели на меже. Маша, осторожно освобождаясь из объятий, спросила:

— Вы на меня не сердитесь, тетя Сыля?

— За что я буду на тебя сердиться? За то, что ты счастье свое нашла?

Поезд приходил на рассвете, когда чуть начинала светлеть полоска на востоке. Еще не проснулся станционный поселок и даже в конторе «Заготзерно» не горел свет. Только возле склада — длинного кирпичного строения, вытянувшегося вдоль пути, — и у вагонов, стоявших против него, переговаривались люди и немного подальше разводил пары маневровый паровоз. Алеся проводила взглядом красный огонек последнего вагона, оглянулась и увидела, что вышла она одна. На платформе больше никого не было, только к зданию станции плыл зеленый фонарик дежурного, фигура его чуть вырисовывалась в предутренней тьме. Алеся на миг заколебалась, раздумывая, что делать — идти или подождать, пока рассветет. Но, поглядев на восток, потом почему-то на верхушки высоких тополей, пиками упиравшихся в небо, она продела косынку в ручку чемодана, вскинула его на плечо и решительно перешла полотно. И тут, возле горы шлака, она неожиданно встретилась с Павлом Кацубой. Увидела его — и удивилась.

— Ты тоже этим поездом приехал?

— Нет. Я пришел тебя встречать.

— Меня? А как ты узнал, что я сегодня приеду?

— Я приходил и вчера и позавчера… Три раза…

— Три раза?.. — Алеся опустила чемодан, довольно сильно стукнув им о землю, и, порывисто протянув ему обе руки, тихо и ласково поздоровалась:

— Доброго утра, Паша… Он крепко сжал её руки.

— Доброго утра, Алеся. Сдала?

— Сдала. Сдала. Паша! Сдала, мой славный рыцарь, — и она, не помня себя от радости, от счастья, которое не покидало её всю дорогу от Москвы и ещё больше, ещё светлее стало сейчас, в эту минуту, сжала ладонями голову Павла и крепко поцеловала в губы. И сама страшно смутилась. И его смутила. Забыв о вещах, она быстро пошла по дорожке, покусывая уголок косынки. Павел поднял чемодан и молча пошел следом. Долго Алеся не оглядывалась. Она злилась на себя и даже на него, а за что — не знала. Ей хотелось, как прежде, смеяться, шутить; раньше она никогда его не стеснялась: подтрунивала, заставляла выполнять все свои желания и капризы. Она знала, что он её любит, и сама в глубине души испытывала нечто не совсем обычное, но относилась к этому беззаботно, шутливо, несерьезно. И вот это утро, его неожиданное появление и ещё более неожиданный поцелуй все изменили. Алеся почувствовала, что она больше не может, не имеет права вести себя по отношению к нему так, как прежде. И, возможно, потому и злилась.

Но постепенно она замедлила шаг и наконец оглянулась, поджидая его. Когда Павел приблизился, виновато улыбнулась.

— Тебе тяжело? Давай я понесу.

— Ну, что ты! Нисколечко не тяжело, — запротестовал он, хотя лоб у него был мокрый.

— Я там накупила всякой всячины… Дойдем до сосняка, выломаем палку и понесем вдвоем. Хорошо? Какие у

тебя новости? Тебя, конечно, зачислили без экзаменов?

— Нет, был конкурс. Сдавали математику. Я сдал на «отлично», первым кончил письменную.

Она с гордостью посмотрела на него и тоже похвасталась:

— Я тоже хорошо выдержала… Даже самой не верится, что я так много знаю.

Они вышли на дорогу и шли уже не друг за другом, а рядом.

Шли и чувствовали себя неловко оттого, что не знали, о чем говорить. Никогда раньше этого не бывало: у них всегда находились темы для бесконечных разговоров по пути от районного центра до Лядцев. Только когда они в самом деле, по требованию Алеси, выломали палку и понесли чемодан вдвоем, он робко не то спросил, не то сказал:

— Алеся, мы будем переписываться?

Она удивилась и даже как будто возмутилась: к чему он задает такие нелепые вопросы?

— А как же иначе! Мы ведь с детства дружим…

— Я тебе каждый день писать буду.

Она ответила не сразу, они молча прошли добрую сотню метров. Было душно. На сухой траве — ни росинки. Неподвижно застыла листва на березках, росших вдоль дороги и уже, как золотыми каплями, расцвеченных первыми желтыми листочками.

— В первый год Максим писал Маше каждый день, — сдержанно, со вздохом произнесла Алеся, как бы сама себе.

Павел даже остановился, вздрогнул, лицо его залилось краской.

— Я не Максим, Алеся! Ты меня ещё плохо знаешь. Я тебе докажу, какой я! Ты увидишь!.. — Голос его задрожал.

Алеся, понимая, почему так разволновался её друг, ласково попросила:

— Прости, Паша. Это я так... Машу вспомнила, соскучилась я по ней.

День вступал в свои права решительно, быстро. Уже рассвело, и восток горел ярким пунцовым пламенем.

В Добродеевке гудела молотилка. Они вышли из сосняка я увидели за добродеевским садом столб пыли, немного подальше дымила «силовая». Такой же столб пыли поднимался и над Лядцами.

Дни стояли знойные. Редкое лето бывает такая жара в середине августа. Даже ночью было душно, вода в речке не успевала остыть, не было по утрам туманов в низинах.

Кончили уборку. Сдавали последние тонны зерна государству. По предложению Маши молотилка работала круглые сутки. В ночную смену стали люди из Машиной бригады, по большей части парни и девчата, не связанные домашним хозяйством. Работали дружно, в короткие перерывы отдыхали весело: смеялись, дурачились, прятались в соломе, парни посмелее тайком целовали за скирдами девчат.

Но в эту ночь передышек почти не устраивали. Молотили пшеницу с лучшего участка. Участок этот был гордостью всей бригады и в особенности Маши. Здесь они показали, как много может уродить земля, если на ней провести весь комплекс агротехнических мероприятий. Однако сколько собрано пшеницы с гектара — считали по-разному, и потому молодежи не терпелось скорее закончить молотьбу и выяснить точно. Но не только потому работали так вдохновенно и слаженно: приятно было молотить такую пшеницу. Золотое при желтом свете фонарей, необычайно

крупное зерно непрерывным потоком лилось из приемника. Девчата едва поспевали уносить полные мешки и подвешивать пустые. Маша не выдержала и всю ночь проработала сама: сначала подавала тяжелые снопы барабанщику, ей хотелось их все передержать в своих руках. Но после перерыва Сынклета Лукинична (единственная пожилая женщина среди работавших) заставила её бросить эту работу и стать на более легкую — отгребать полову.

Ровно гудела молотилка, глотая сноп за снопом. Ритмично похлопывал ремень, ведущий от маховика трактора. Тракторист Адам Мигай был, казалось, единственным человеком, который работал в эту ночь без напряжения, не проливая пота, как все остальные. Он ходил от трактора к молотилке, вслушивался в ритм мотора и изредка командовал, обращаясь к барабанщику:

— Недогружаешь. Больше давай! — или, когда тот вдруг закладывал слишком большую порцию и молотилка начинала злобно реветь, кричал: — Не слышишь, что ли?

— Слышу, слышу! Не первый год! — но голос доходил только до подавальщиц, стоявших по обе стороны мостика.

Барабанщик — Рыгор Лесковец — возвышался над всеми, как капитан корабля. Был он не намного старше остальных парней, но на молотилке работал и в самом деле не первый год.

Он обижался на замечания тракториста, хотя и сам чувствовал, что иногда сбивается с ритма — никогда ещё ему не приходилось иметь дело с такой пшеницей. Он не скрывал своего восхищения и, когда Мигай долго не отпускал замечаний, весело покрикивал:

— Эх и пшеничка!

Увлеклись работой так, что и не заметили, как был подан последний сноп. Молотилка вдруг, как бы

вырвавшись на свободу, загудела легко, с металлическим звоном.

Мигай быстро выключил трактор. Воцарилась непривычная тишина. За деревней всходило солнце. Оно уже позолотило вершины дубов за речкой, старых лип на улице и берез на шляху. В деревне мычали коровы, скрипели колодезные журавли, переговаривались хозяйки.

— Кончили! — крикнул кто-то, и это послужило как бы сигналом: все вдруг собрались вместе и, должно быть, только сейчас почувствовав, как они устали, повалились на солому. Однако никто не забыл о главном: чуть не в один голос закричали:

— Леша! Вези скорей!

— Да скажи кладовщику, чтоб он вешал побыстрее. Люди ждут.

— А то он, верно, спит там в амбаре.

— Некогда ему было спать. Все допытывался, скоро ли кончим.

В это время к току подошли Алеся и Павел. Предложила зайти на ток Алеся, узнав, что работает Машина бригада. Павел немножко стеснялся, но он теперь готов был идти за ней хоть на край света.

Девчата увидели Алесю, кинулись к ней, тесно обступили, стали здороваться. Маша едва пробилась к сестре, обняла.

Никто не спрашивал, сдала ли она приемные экзамены в университет. И так все поняли, как только увидели её. Алесю поздравляли, обнимали.

— Молодчина, Саша. Ты у нас всегда впереди!

— Счастливая ты, Алеся, — с завистью вздыхали подруги, учившиеся с ней вместе в семилетке.

Алесе в эту необыкновенную минуту хотелось поблагодарить Машу за свое счастье. Это Маша дала ей возможность окончить десятилетку, это она чуть не силком заставила её продолжать учебу, когда в тяжелый год Алеся хотела бросить школу. Но, очутившись на людях, она не знала, как выразить сестре свою благодарность. Ей не давали слова сказать, засыпали вопросами, да и Маша уже стояла поодаль, не сводя с нее глаз и по-матерински ласково улыбаясь.

Павел нерешительно подошел к парням, все ещё боясь намеков и насмешек. Но только один Гришка Грошик, самый злой шутник, тихо и как будто даже серьезно сказал:

— Поставь, Паша, крест на своей любви. В Москве она найдет и не такого, как ты, тихоня.

— В тихом омуте черти водятся, — ни к кому не обращаясь, произнес Рыгор Лесковец, с наслаждением нюхая табак (курить на току было запрещено) и чихая.

— А тихая вода гребли рвет, — дружески подмигнул Павлу обычно молчаливый Федя Лобан, высокий, нескладный парень с вечно облупленным носом, который он умел очень смешно морщить.

Девчата в это время продолжали наседать на Алесю.

— Да рассказывай ты скорей. Чего ты смотришь по сторонам, точно десять лет Лядцев не видела?

— Ну, какая она, Москва? Рассказывай, пожалуйста, все-все.

Алеся на минуту закрыла глаза, как бы для того, чтобы ещё раз представить Москву, вспомнить все, что она там видела. Потом тряхнула головой, окинула всех быстрым взглядом, засмеялась.

— Не могу, девочки… Вот закрою глаза, и стоит она вся передо мной: улицы, метро, Кремль, Москва-река, университет наш… А рассказать не умею, не знаю — с чего начать…

— А ты по порядку… Как приехали, куда ходили…

— Ну, приехали мы с Ниной Беловой… У дяди её остановились… К дяде её трамваем ехали с вокзала. Потом поехали в университет… В метро… Ой, девочки, если б вы видели, что это за чудо — метро!

Она долго, подробно, с детским восторгом рассказывала о метро: про каждую станцию, про эскалаторы, о том, какое ощущение возникает, когда поднимаешься или опускаешься, про поезда: «…едешь — только огоньки в туннеле поблескивают, мимо окон толстые провода летят, а по вагону ветерок гуляет»…

Поднялось солнце, залило золотыми лучами скирды, а молодежь не расходилась, слушала Алесю.

Пригнали лошадей с ночного, и колхозный двор наполнился топотом и криком. За садом послышался громкий голос Максима — он кого-то пробирал.

Но и на это хлопцы — любители по любому повопустить шутку — не обратили внимания, забыли они и про усталость, про тяжелый ночной труд.

— …А в тот день, когда сдали последний экзамен, пошли мы на Красную площадь всей группой, все, кто вместе сдавал. Вечером пошли, когда Москва вся в огнях, а Красную площадь прожекторы освещают… На Спасской башне каждые четверть часа куранты бьют… Подошел седенький старичок в теплом пиджаке, в сапогах, как дед Кацуба… За руку девчушку ведет лет семи… Издалека снял шапку, а подошел ближе, низко поклонился Мавзолею. Потом пришла какая-то французская делегация… Один француз сказал своим товарищам: «Мы — дети Ленина». Отошли и тихо, вполголоса, запели «Мы — дети Ленина». Стояли мы в тот вечер на Красной площади до тех пор, пока куранты не пробили двенадцать… А потом до самого рассвета по Москве ходили…

Неизвестно, сколько бы ещё рассказывала Алеся, если бы не вернулся Алеша Примак, возивший зерно в

амбар. Он ещё издалека закричал:

— А ну, отгадайте: сколько?

И слушатели впервые отвлеклись от Алесиного рассказа, начали угадывать, сколько дала с гектара эта необыкновенная, выращенная ими пшеница:

— Шестнадцать! — Двадцать!

— Семнадцать!

— Никто не угадал! Двадцать один и три десятых. Во! Качать бригадира!

Маша замахала руками, отступая к скирде:

— Ну, ну, не дурите!

Алеся подскочила и крепко обняла сестру.

8

Миновало лето — горячая пора работ, промелькнули дни, о каждом из которых говорят, что он кормит год. На поле осталась одна картошка. Но за нее Лесковец был спокоен: копали её хорошо, больше людей выходило на работу, налаживалась дисциплина. Вообще, колхоз хотя и медленно, но крепко становился на ноги. Это радовало Максима, а главное — делало рассудительнее и самокритичнее. Он наконец убедился, что недостаточно одних его добрых намерений, недостаточно самому работать, надо уметь поднять, организовать людей. А это тоже не под силу одному. Его последняя попытка во время уборки урожая любыми средствами перегнать Лазовенку кончилась провалом. Он не мог ни убрать раньше «Воли», ни сдать поставки государству. «Партизан» вышел в передовые в севе озимых. В августе МТС подучила новые тракторы, и в колхозе теперь работал мощный «НАТИ». Больше половины площади под озимые было засеяно тракторной сеялкой. Адам Мигай, которому передали новый трактор, занял первое место по МТС. А

довольный Михайла Примак пообещал:

— Я тебе теперь, Антонович, вздеру под зябь все, даже те пустыри, где не сеялось с сорок первого года. Засевай, только потом управляйся.

Сев озимых прошел сравнительно гладко, особенно если не считать стычек Максима с Машей из-за агротехники — норм высева, удобрений. Как-то в споре они наговорили друг другу неприятных вещей. А потом Маша спокойно сказала ему:

— Максим, если хочешь руководить колхозом, почитай литературу по агротехнике. Как другу тебе советую. Нельзя сейчас без этого руководить, пойми ты, чудак этакий!..

«Как другу», — это его разозлило. — Нашлась советчица!.. И без тебя знаю, да попробуй почитай, когда так вертишь-ся… Тебе легко говорить!»

Но, успокоившись, он задумался над её словами. «А почему ей легко? Нет, и ей нелегко. Однако она читает, успевает все-таки. И Лазовенка продолжает учиться заочно».

Отношение его к Маше менялось. Он перестал окидывать её оскорбительными взглядами. Постепенно ослабевало и чувство ревности, злобы к Василю, хотя изредка оно и вспыхивало вновь, в особенности когда кто-нибудь из руководителей начинал сравнивать, противопоставлять их работу.

Начались дожди. Долгие и скучные осенние дожди. Дождь на три дня остановил почти все работы, загнал людей в хаты. Застряв дома, Максим решил взяться за чтение. Прочитал газеты за много дней, взял книгу по агротехнике, просмотрел несколько глав и впервые почувствовал интерес к этой скучной, как ему раньше казалось, литературе.

Сынклета Лукинична наблюдала за сыном, удивлялась и радовалась, по дому ходила на цыпочках, чтоб ему не

помешать. На четвертый день дождь утих, только изредка отдельные тучки, которые все ещё безостановочно плыли по небу, сеяли изморось.

Максим прошелся по колхозному двору, побывал в конюшнях, коровниках, в амбаре и увидел там такое количество недостатков, нарушений, какое никогда раньше не замечал, как будто дождь поднял их все на поверхность. Это испортило ему настроение. Подлила масла в огонь заведующая фермой Клавдя Хацкевич своими бесконечными требованиями одно сделать, другое переделать, третье достать, четвертое привезти. Раньше он просто отмахивался от нее, но теперь вдруг увидел, что все её требования справедливы, и от этого разозлился ещё больше.

«Фермы у нас самый отсталый участок. Надо будет и в самом деле попросить Гайную, чтобы продала нам породистых коров».

Вернулся домой, попробовал читать — не читалось. На дворе разгулялся ветер, и было слышно, как шумели под окном два молодых клена. Они роняли на землю желтые листья, ветер гнал их по улице.

«Быстро выросли, — подумал Максим о кленах. — Мать посадила их вместо старых, сгоревших в сорок третьем. Те сажал отец ещё мальчиком, вместе с дедом, с прадедом моим… Летит время…»

Вспомнились слова Клавди: «Ты бы спросил у людей, как батька твой ферму любил… Какие у нас коровы были до войны… А сейчас разве это коровы? Другая коза больше молока дает…»

От клена оторвался лист, прилип к стеклу.

«Почти зеленый ещё, должно быть, дождем сбило».

Максим повернулся к окну спиной, чтобы не смотреть на улицу, на клены. Все равно не читалось. Оторвался от мыслей о хозяйстве — стал думать о Лиде, об их отношениях. Сколько времени прошло, а он ничего не

знает о том, как она к нему относится, и даже спросить не решается. Вот вчера, когда он вечером, несмотря на дождь, пошел к Ладыниным, Лида встретила его так холодно, насмешливо, что он счел за лучшее как можно скорее попрощаться. На душе остался неприятный осадок.

По двору мимо окон прошел Шаройка.

Максим встряхнулся, недовольно подумал: «Черт его несет… И минуты побыть одному нельзя».

Встретил Шаройку не очень приветливо, хотя тот зашел оживленный, веселый, как заходят к лучшему другу.

Максим сразу сбил с него веселое настроение коротким вопросом:

— Вернулся?

Шаройки долго, что-то больше месяца, не было дома, ездил к сыну в Горький.

— Вернулся, Антонович.

— Когда уже кончилась работа в колхозе, так?

— Антонович! Два минимума имею, даже с гаком, с гаком… Какие могут быть нарекания?

— Минимумы!! Пока бригадиром был?

— И после работал, сколько здоровье позволяло. Работал, брат.

— Здоровье! Здоровья у тебя на троих хватит. Шаройка неестественно закашлял, как бы желая показать, что здоровье у него и в самом деле слабое.

Он сидел на табурете против стола, сворачивал цигарку, рассыпая по полу табак.

— Обижаешь ты меня, Антонович, — и тяжело вздохнул. — Обижаешь, брат, а за что — не понимаю… Что я тебе сделал? Душа в душу жили. Хлеб-соль делили…

У Максима эти слова перевернули все нутро, ему казалось, что у него даже заклокотало в груди. Он покраснел, поднялся из-за стола, уставился взглядом на Шаройку. Тот опустил глаза, слюнил цигарку, делая вид, что не замечает его волнения.

Но Максим сдержался.

— Зачем пришел?

Шаройка чиркнул спичкой, закурил.

— Дозволь, Антонович, соломы взять, яму накрыть.

— На днях раздадим на трудодни.

— Бабы картошку из хаты в яму перенесли, теперь, понимаешь, хоть неси назад.

— Ладно. Возьми. Из незавершенной скирды, — и подумал: «Черт с тобой! Не надоедай только, без тебя тошно».

А когда Шаройка вышел, Максим спохватился, выругал себя: «Сколько раз мне уже за это доставалось! Нельзя раздавать колхозное добро, как свое собственное, как это делал Шаройка. Не выписав, не оформив через бухгалтерию… «Возьми». А кто знает, сколько такому хапуге вздумается взять? Он способен целый воз перетащить… А там, глядя на него, ещё кто-нибудь захочет… Непременно скажут: если Ша-ройке можно, почему нам нельзя? Нужно пойти запретить».

Однако гордость, самолюбие не позволили ему это сделать, и настроение у него стало ещё хуже.

Шаройка поленился дергать солому снизу и взобрался на скирду, развернул верхний мокрый пласт. Сбросить его он не решился, а набрать необходимое количество сухой соломы оказалось нелегким делом. Все равно пришлось выдергивать по пучку.

Работал и ворчал:

— Хозяева! Не могли завершить, полскирды промочило.

Он не видел остальных, хорошо укрытых скирд, порядка на току, какого при нем никогда не было. Он старался видеть только дурное и, когда находил его, злорадствовал: «Ага, нахозяйничали без Шаройки».

Внизу, под скирдами, ходили колхозные гуси, важно переваливались с ноги на ногу, искали зерна. Шаройка сбросил солому, они стали её разгребать. Он замахал руками, кинул в них соломой, но гуси только красиво выгибали шеи и продолжали свое дело.

Шаройка разозлился:

— Чтоб вас волки съели! Кшш! Пошли прочь, дьяволы!

Гуси отвечали дружным гоготом — все разом, как будто смеялись над ним. На горе, Шаройка увидел в соломе палку — половину расколотой ручки от веялки. Схватил её, швырнул изо всей силы. Палка ударила гусыню по голове, и та упала, задергала ногами. Остальные, закричав, вподлет кинулись в сад, где паслось все стадо. Гусыня не поднималась.

Шаройка испуганно оглянулся. Вокруг не было ни души. Он торопливо соскочил вниз, озираясь, как вор, засунул убитую гусыню под скирду, прикрыл соломой. Свою солому увязал вожжами, вскинул на плечи, прошел шагов десять, остановился, сбросил тяжелую ношу, ещё раз оглянулся. «Пропадет, если никто не наткнется. А тяжелая, жирная, килограммов пять чистого веса будет. А если найдут?.. Шум подымут… Допытываться начнут… Кто был сегодня на току? Амелька был…» Он даже вспотел от этой мысли.

«Лучше, чтоб никаких следов. Пока досчитаются… Их уже за сотню перевалило… Не обеднеет колхоз от одной гуски. Все равно не одну съедят начальники. Слава богу, знаем, как это делается».

Еще несколько дней назад Лесковец вдруг надумал сбрить усы, которыми он раньше так гордился. Но это

оказалось нелегко: каждый раз, когда он подходил к зеркалу, ему становилось жаль усов, и он откладывал свое намерение. И вот теперь он твердо решил сделать это.

Но только он пристроился, направил на ремне бритву и начал намыливать щеки, как в хату, задыхаясь, влетел Федя Примак, младший сын бригадира тракторной бригады.

— Дядя Максим! Амелька убил колхозного гусака, спрятал в солому и несет домой!

Максим от изумления остолбенел.

— Какой Амелька?

— Шаройка! Давайте скорей, вы его перейметe, он через Кацубов двор идет!

Максим вскочил, на ходу ладонью стер мыло и, в неподпоясанной гимнастерке, выбежал следом за Федей на улицу.

Шаройка вышел со двора Кацубов и переходил улицу с объемистой охапкой соломы за спиной.

Максим бегом догнал его.

— Погоди, Амелька!

Тот обернулся, и лицо его сразу побелело.

— Развяжи солому!

У Шаройки жалостно передернулись губы; казалось, он вот-вот заплачет.

— Максим Антонович...

— Развяжи солому, сукин сын! — закричал Лесковец и рванул за вожжи, дернул охапку так, что солома полетела по ветру, а гусыня плюхнулась на землю.

Максим наклонился, поднял её за ноги, поднес

Шаройке под самый нос.

— Что это такое, Амельян Денисович, а?

Шаройка молчал. У него нервно подергивались веки и дрожали руки, и сам он весь сгорбился, в одно мгновение постарел на много лет.

— Что это такое, я спрашиваю? — повысил голос Максим.

Минуту назад на улице было пусто. Теперь, неведомо откуда, появился народ. Бежали дети, женщины, перекидывались вопросами.

— Что там, Галя?

— Амельку поймали.

— Кого?

— Гусака словили!

Хохот. Пронзительный свист мальчишек, звонкий крик:

— Гу-са-ак!

— Шаройка — гусак!

— А я думала, горит где-нибудь, — смеялась за спиной у Максима Раиса, невестка Явмена Кацубы, — ан нет… Это дядьке Амельке гусятинки захотелось…

— Чего смеетесь, балаболки? Человек, может, давно не пробовал её. Сколько уж, как с председателей сняли!.. Понимать надо! — Голос у Грошика был как будто серьезный, сочувственный, а звучал язвительно.

Шаройка, не подымая головы, стоял, уставив глаза на солому, которую ворошил под ногами ветер.

«И правда смешно, — подумал Максим. — Самый крепкий хозяин в деревне, а до чего дожил!» И ему тоже захотелось пошутить:

— Вот что, Амельян Денисович, на, брат, твоего гуся и неси его в канпеляоию. Там разберемся.

Шаройка вздрогнул всем телом, повернулся и медленно поплелся к своему дому, едва волоча ноги, словно к ним подвесили пудовые гири. Жена его, Ганна, выглянула из калитки, открыла её настежь и сама спряталась, стыдясь показаться на люди.

На какую-то минуту установилась тишина.

И вдруг Федя Примак, сложив рупором ладони, крикнул на всю улицу:

— Гу-уса-ак!

9

— Погоди, я доктору скажу! Он с тобой поговорит!

— А ты сходи к доктору, он тебе все объяснит, напишет, куда нужно.

Человека постороннего могли бы удивить такие угрозы или советы, услышать которые зачастую можно было и в Лядцах, и в Добродеевке, и в Радниках. Но свои знали, что их доктор — не просто доктор, он — секретарь партийной организации. А потому шли к нему не только лечить простуду и физические недуги, а и с недугом душевным, с жалобой, приходили за советом и просто за теплым человеческим словом. И всем Игнат Андреевич помогал; разрешал самые разнообразные вопросы, развязывал самые сложные узлы. И для каждого находил он теплое слово. Случались, конечно, просьбы, которые он не мог выполнить сам. В таком случае он давал совет, куда обратиться, писал депутатам, в высшие органы. А если нужно было, прямо и сурово говорил человеку, что жалоба его, требование или претензия незаконны и не имеют никаких оснований. Иной раз даже как следует пробирал жалобщика.

Но вот с такими просьбами к нему ещё не обращались

ни разу.

Он вел амбулаторный прием. Очередей у него почти никогда не бывало, люди болели редко. Игнат Андреевич этим гордился, и когда один неумный инспектор сделал ему замечание, что у него мало зарегистрировано амбулаторных больных, он возмутился страшно.

Пришла Настя Рагина перевязать палец, Игнат Андреевич хотел было поручить это своей помощнице, фельдшерице Раисе Васильевне, но, взглянув на Настю, понял, что не из-за этой маленькой ранки на руке пришла она. Он промыл ей палец, не спеша перевязал, спросил между прочим;

— Ну, как ваша свекла?

У девушки лицо просияло.

— Копаем. Не успевают отвозить. Вчера Тайная была, удивлялась, охала, взявшись за бока, ругала Лазовенку… Говорила, что наши бураки лучше, чем у них.

— Бураки у вас хорошие. Мне говорил Макушенка, что вы, кажется, вырастили рекордный для Белоруссии урожай…

Настя, не поднимая глаз, скромно улыбнулась.

— В будущем году лучший вырастим!

— Иначе и быть не может.

Девушка поднялась, поблагодарила за перевязку, оглянулась на фельдшерицу. Та поняла, что у пациентки есть ещё разговор с доктором, и поспешно вышла в другую комнату. Не впервой ей видеть эти взгляды!

— Ну, будьте здоровы, Игнат Андреевич, — попрощалась Настя, сделала шаг к двери, однако не уходила, нерешительно комкая уголок платка.

— Ты мне что-то хотела сказать, Настя?

— Хотела, Игнат Андреевич. — Она подошла к столу, понизила голос почти до шепота: — Игнат Андреевич, если, может, на орден будут подавать, очень вас прошу — меня не включайте. Не надо.

У Ладынина поползли вверх лохматые брови.

— Почему?

— Так. Не заслужила я. Только не говорите никому, что я просила. И ещё, Игнат Андреевич, простите, что я тогда наговорила на правлении про Лазовенку и Машу. Не подумала… До свиданья, Игнат Андреевич, — и быстро вышла.

Давно уже старый сельский врач, которому известны были все тайны деревенской жизни, знавший душу крестьянина, как свою собственную, не был так удивлен. Он вскочил и, взлохматив пальцами свои седые волосы, с укором подумал: «Это тебе, товарищ Ладынин, урок. Век живи—век учись распознавать людей. А ты на лучшую звеньевую махнул рукой, поверил, что она «на славе свихнулась». Нет, не в славе, как видно, дело… Как я не понял, что так работать, как работала она, может только человек, серьезно задумывающийся над целью и смыслом своего труда, над жизнью вообще. Однако чем вызвана такая странная просьба? Вот и ломай теперь голову, товарищ секретарь, если проглядел человека!..»

Ладынин долго не мог успокоиться. Забыл он о Насте и о её просьбе только тогда, когда в амбулаторию привезли тяжело больного мальчика из Радников. Мальчуган корчился и стонал от боли в животе. Игнат Андреевич поставил диагноз — аппендицит и сам пошёл к Лазовенке, попросил машину, чтоб скорей доставить ребенка в районную больницу. Машина возила картофель, и Василь задумчиво почесал затылок.

Игнат Андреевич наклонился над столом, положил на

руку Василя свою.

— Василь Минович, нельзя, дорогой мой, раздумывать, когда речь идет о жизни человека. Если я боюсь посылать на лошади, значит, случай серьезный.

В этот же день обратились к нему ещё с одной странной просьбой, правда, не такой загадочной, как Настина.

Старая женщина вошла в амбулаторию решительно, с воинственным выражением на раскрасневшемся, должно быть от быстрой ходьбы, лице. Ладынин взглянул на нее и понял, что это тоже не больная; подумал, что, наверно, пришла с жалобой на какого-нибудь финагента. Жалоб на неправильное обложение сельхозналогом было очень много.

Игнат Андреевич, вежливо пригласив её присесть, спросил:

— Из Лядцев?

— Из Лядцев, товарищ Ладынин… Ивана Мурашки мать буду.

Игнат Андреевич поставил на стол бутылочку с лекарством, которую разглядывал на свет, повернулся к женщине, взяв в руки фонендоскоп.

— Итак. Слушаю вас. Что болит?

— Не больная я, доктор. Сердце вот только болит. С жалобой я к вам, товарищ Ладынин. Только вы мне можете помочь, потому — он же партийный, Иван мой. Вас он должен послушаться, никого больше не слушает — ни мать, ни отца… Хоть ты ему кол на голове теши… Приворожила она его, не иначе как приворожила. У нее и мать ворожея была…

— Погодите, — остановил её Ладынин. — О ком вы говорите?

— Да Клавдя Хацкевич, заведующая фермой… Это ж подумать только, что делается… Хлопец ещё дитя,

можно сказать, только из армии вернулся, один сын у родителей. Вся надежда была, что женится, хорошую молодицу в хату приведет… А она? На шесть лет старше, у нее вон дочка в четвертый класс ходит… Разве она ему пара?.. Приворожила, не иначе. Да ещё и выхваляется… «Не пойду, говорит, к этой Калбучихе». Это она меня так называет… Он к ней в примаки собирается, как будто своей хаты у него нет… Срам какой, боженька милостивый. Страшно подумать! Помогите, товарищ Ладынин, поговорите вы с ним хорошенько, пригрозите по партийной линии…

Игнат Андреевич, с трудом сдерживая улыбку, глубокомысленно поглаживал наконечником фонендоскопа бровь. Просьба эта его даже несколько смутила, он не знал, что ответить, чтобы успокоить женщину.

— Поговорить я поговорю. Но если она и вправду приворожила… Боюсь, что не поможет тогда никакой разговор.

— Так вы не только с ним, вы и с ней поговорите. Пристыдите её. Как ей не зазорно жизнь хлопцу разбивать? Подумала б она своей дурьей головой: разве же она ему пара? У нее дочка невестой скоро будет.

— Ладно, поговорю и с ней, — пообещал Игнат Андреевич и, выпроводив женщину, рассмеялся, весело потирая руки.

«Чудная ты женщина. Встала тут передо мной, как из прошлого века, насмешила… Поговорю, да не так, как ты хочешь… Надо выяснить, всерьез у них это или… И если всерьез — уж тогда прошу извинить меня, уважаемая Кал-бучиха, или как там тебя, не выполню я твоей просьбы…»

На следующий день, придя в Лядцы, Ладынин направился к Клавде домой. Переступил порог, поздоровался и даже на миг остановился, приятно пораженный. В хате было, как перед большим праздником, выбелено, каждая вещица сверкала

чистотой и стояла на своем месте. Хозяйка, тоже ка кая-то необычная, в праздничном платье, увидев его, засуетилась: схватила чистое полотенце, вытерла им до блеска вымытую и оттертую кирпичом табуретку.

— Проходите, Игнат Андреевич, садитесь, — и покраснела, как девочка.

Доктор окинул её пытливым взглядом. Она опустила глаза.

— Вот вы какая… Клавдия Кузьминична! А помните наш первый разговор у вас в хате?

— Помню, Игнат Андреевич.

— Вот я и гляжу. Видно, недаром мне одна женщина сказала, что вы ворожея.

Клавдя рывком подняла голову, сверкнула глазами.

— Калбучиха? Приходила, значит? И, конечно, наговорила на меня?

— Нет. Сказала только, что вы жизнь её сыночку разбиваете… что вы бабушка, а он ещё дитя совсем…

Клавдя беззвучно рассмеялась: заколыхалась под шелковой блузкой её красивая полная грудь.

— Так и сказала — дитя?

— Так и сказала: бедненький мальчик.

Она вдруг присела по другую сторону стола, подперла ладонью щеку и, грустно вздохнув, промолвила:

— Не улестить мне её.

Игнат Андреевич минутку помолчал, разглядывая горшки с цветами на окнах и скамейку. Потом встал, положил ей руку на плечо.

— Посмотрите на меня, Клавдия Кузьминична, — и, когда она взглянула ему в глаза, тихо спросил: —

Любишь?

Она отвечала громко, весело, задорно тряхнув головой:

— Вы разве тоже меня старушкой считаете? Я ещё так полюбить могу!

— А он?

— Он? Он первый мне сказал…

— Серьезно это? Веришь ему?

Она снова опустила голову, опять покраснела и долго молчала.

— Я дитя его под сердцем ношу… — произнесла она шепотом и словно сама испугалась: до этих пор никто, кроме них двоих, не был посвящен в тайну их любви. Игнат Андреевич понял это и тоже смутился: нахмурил брови, кашлянул в кулак и взял в руки свой чемоданчик.

— Ну, коли так, то остается только пожелать вам счастья. А Калбучиху как-нибудь улестим… Простите, Клавдия Кузьминична, что вмешался в вашу жизнь.

— Что вы, Игнат Андреевич… Вы простите… Я рада, вы меня прямо успокоили. Посидите ещё… я вас медком угощу.

— Нет, нет…

Она проводила его до порога и тогда тихо сказала:

— А за нас вы не беспокойтесь. Мы сегодня в сельсовет идем. Поджидаю вот… его…

— Ну, в таком случае — давай бог ноги, а то ещё и по загривку достанется, — пошутил Ладынин.

10

— Ну, как он? — спросил Ладынин, кивнув на дом Ша-

ройки, когда они с Лесковцом проходили мимо.

— Гусак? — Максим засмеялся. — Не вылезает из хаты. Говорят, болен. Симулирует, конечно, суда боится. Мальчишки ему житья не дают. Видите, раньше времени вторые рамы вставил, чтобы не слышно было. А то кто ни пройдет мимо — непременно крикнет на всю деревню: «Гусак!» А мне, откро венно вам признаюсь, уже неприятно и горько это слышать. Все-таки, что ни говори, а Шаройка был Шаройка… Лучший хозяин в деревне, отец двух офицеров Советской Армии, двух учительниц… Прямо не укладывается в голове: как человек дошел до этого?

Максим повернулся к секретарю, ожидая, что он ответит, но Игнат Андреевич только неопределенно протянул:

— М-да-а…

После продолжительного молчания спросил:

— Так, говоришь, жалко?

— Кого?

— Шаройку.

— А-а… Не то что жалко, а все-таки… Уважаемый человек…

Они присели на скамеечку у колхозной канцелярии. На дворе было тихо и тепло. Не по-осеннему ярко светило солнце. Напротив, в палисаднике, цвели пышные астры, а вверху, под крышей, пламенно горели гроздья рябины. В небесной синеве плыла белая паутина «бабьего лета». Паутина висела на рябине, на липах, стлалась по крыше. Воздух был как стекло, прозрачный и звонкий Далеко За деревней слышались детские голоса: возвращались из Добродеевки школьники.

— Уважаемый человек! Гм, — хмыкнув, тряхнул головой Ладынин и вдруг сурово сказал: — Нельзя, товарищ Лесковец, уважать человека, который запускает руку в

колхозный карман! Ты удивляешься: как мог до этого дойти лучший хозяин, отец учительницы и так далее?.. А я тебе скажу: это закономерно! И если бы мы с тобой были лучшие диалектики, мы должны были бы предвидеть такой конец. Конечно, этот лучший хозяин никогда не сделал бы ничего подобного в отношении частной собственности своего соседа, твоей или моей собственности. Допустим, что он убил этого гуся случайно, как говорят некоторые. Но если б этот гусь был лично твой… Даже не гусь, а какой-нибудь цыпленок несчастный!.. Уверяю, он принес бы его к тебе, извинился бы, даже запла тил, и слова не сказавши. Но это был гусь колхозный, общественный… А на колхозное Шаройка смотрел как на ничье, как прежде на лес смотрели: «Дрова красть не грех, это божье». Шаройка не считал за кражу, когда брал гусей и поросят, будучи председателем, когда брал хлеб — все, что вздумается. Это было в порядке вещей. Шаройка не посчитал за кражу захват полугектара колхозной земли. А это было гораздо более крупное преступление!.. Хуже всего то, что и мы, по сути, не посчитали это за кражу. Шаройке пришел конец, его пригвоздили к позорному столбу, когда против его очередной кражи восстали все колхозники, весь коллектив. Максим сидел наклонившись и задумчиво чертил веточкой на песке какие-то замысловатые узоры. Всё, что говорил Ладынин, было в какой-то степени укором и ему, и он это понимал..

Игнат Андреевич закурил наконец папиросу, которую долго, забыв о ней, мял в пальцах, и со вкусом затянулся.

11

Строительство гидростанции шло медленно. За лето сделали только половину того, что было запланировано. Насыпали часть земляной плотины, прорыли канал для отвода воды, заготовили лесоматериалы; это взял на себя Лазовенка и выполнил точно и в срок. Начали строить основную, деревянную часть плотины. Но это была самая трудная, самая непродуктивная работа.

Нужно было забить сотни свай, бесчисленное количество шпунта, а техника у них была дедовская: ручная лебедка и «баба». Сваи часто ломались, раскалывались, их приходилось вытаскивать обратно. За день забивали три-четыре сваи: девчата (а их на строительстве было большинство) не желали крутить лебедку, люди одного колхоза старались поскорее уступить эту работу соседям. На строительстве не было инициативной ударной группы. Лазовенка посылал туда лучших людей и считал, что они должны поднять, повести за собой остальных. Но он ошибался: колхозники «Воли» работали добросовестно, даже старательно, как они вообще привыкли за последние два года работать, но без огонька, без порыва. Ладынин первый заметил это и сказал Василю:

— Слабо мы подготовили людей морально. Добродеевцы, например, знаешь как рассуждают? У нас, мол, свет есть, циркулярка работает, да и молотилку электричество тянуло… Нам спешить некуда. Пускай остальные больше заботятся, им нужнее.

А другие заботились ещё меньше. Флегматичный Радник как-то сказал: «Ничего, построим. Крепче будет стоять, если дольше делается».

Пока шли летние полевые работы, особенно уборка урожая, Лазовенка скрепя сердце мирился с такими темпами строительства. Хорошо ещё, что оно не остановилось совсем!

Только Маше иногда жаловался:

— Зимой мне клуб спать не давал, а теперь гидростанция. Как ускорить строительство? Посоветуй мне, подскажи.

— Людей мало, Вася, — тихо вздыхала Маша.

Василь сердился:

— Ерунда! Ты тоже заражаешься настроениями

Радника. Я найду людей, дай только закончить уборку.

Действительно, как только с поля свезли последний сноп, Лазовенка сразу же, как говорится, начал «звонить во все колокола». Попросил Ладынина поставить вопрос о строительстве на партийном собрании, сам провел во всех селах собрания комсомольцев, созвал заседание межколхозного совета.

Лесковец, слушая его гневное выступление, пожал плечами.

— Даем тебе, Лазовенка, все, что можем. Выше пупа не подскочишь. Все строители наши в Минске да Гомеле. Иди возьми их!

Лазовенка пришел в негодование:

— В этом, видно, и горе: ты считаешь, что мне даешь, а не сам строишь гидростанцию — для своего колхоза, для своей деревни. И наконец, что ты даешь? Каждый день присылаешь новых людей. И каких людей? Лишних, которым не хватает работы в колхозе. Обычно это старики, инвалиды, а главным образом — лодыри, которые ходят, только бы им начислили трудодни. Учета работы там почти не ведется, норм люди не знают, что сделал — то и ладно. Так дальше нельзя! Нужны постоянные бригады, постоянные люди во главе с бригадиром. Нужен опытный руководитель! Наконец, предлагаю объявить месячник. Главное, чтобы во время месячника работали на строительстве автомашины. Все! «Воли», «Партизана», ваша, Катерина Васильевна! Соковитов обещал подкинуть одну машину… Это даст возможность до зимы закончить земляные работы.

К удивлению Василя, первой поддержала его Гайная. Он даже усомнился в искренности её слов.

«Демагогию разводит, старая лиса».

Но на следующий же день убедился, что Гайная — хозяйка своего слова. Она выполнила все, что пообещала, и даже больше: прислала постоянную

бригаду, машину, нашла хорошего мастера по забивке свай — старого строителя мостов.

Маша присутствовала на заседании совета и, вернувшись домой, сказала Василю:

— Я сама, Вася, подберу и поведу бригаду. А то боюсь, как бы Лесковец не ограничился обещаниями. С ним это частенько случается.

— Ты поведешь бригаду? А полевую?

— Я не за бригадира... Не пугайся... Бригадир там будет само собой. Я просто так, как ты говоришь, — для координации.

Василь отложил в сторону газету, которую читал, с ласковым укором посмотрел на жену. Она стояла против открытой двери в кухню, вытирала тарелку.

— Вместо того чтобы совсем освободиться, ты ещё нагру жаешь себя работой.

Она подошла, поставила тарелку на стол, оперлась на его плечо, тихо спросила:

— Почему тебе вдруг вздумалось, чтоб я бросила бригаду? Ты ведь знаешь, что сейчас бросить мне ещё труднее, чем тогда, сначала.

— Знаю. Но посуди, что у нас за жизнь. Где наш дом?

— Раньше ты говорил другое — красивая жизнь.

— Красивая-то красивая. Но как будет, когда появится он? Боюсь, что все равно тебе придется бросить рано или поздно.

— Не бойся, Вася. Я не боюсь. У меня хватит помошников.

— Упорная ты.

— Нет, не упорная. Обыкновенная, Вася.

На заседании правления Лесковец, огласив состав постоянной строительной бригады, уверенно заявил: — Я думаю, утвердим. Все ясно.

Но поднялась Маша и предложила совсем других людей. Максим не то удивился, не то возмутился:

— Лучших работников? Интересно. А кто будет работать в колхозе?

— А строительство не колхозное, по-твоему? Что ты опять девчонок посылаешь? Кстати, у нас ни один мужчина не ходит картошку копать, а других работ сейчас не так много И притом я большую часть людей предлагаю из своей бригады.

Члены правления согласились с Машей, приняли её предложение.

Максим не очень возражал, не настаивал на своем, но сидел после этого мрачный, не вынимал изо рта трубки. Он в душе согласен был с Машей, но все-таки его задело, что прав-ление поддержало её, а не его.

«Скоро дойдет до того, что она и в самом деле начнет колхозом руководить». Ему хотелось думать о Маше с неприязнью, но он чувствовал, что не может, — в глубине души росло восхищение ею. «Да, иметь такую жену — этому можно позавидовать». Он тяжело вздохнул.

Павел Степанович, секретарь обкома, и Макушенка заехали прямо на строительство гидростанции. Долго ходили по стройплощадке, перепрыгивали через груды земли, через брёвна, переходя по хлипким кладкам речку и канал. Неискушенному глазу показалось бы, что все здесь накидано и разбросано без всякого порядка, что здесь ещё дела непочатый край. Но Павел Степанович перевидал на своем веку немало строек и прекрасно мог отличать рабочее нагромождение материала от беспорядка. Ему на строительстве понравилось. Кончался месячник, объявленный межколхозным советом. За это время было сделано

почти столько же, сколько за все лето. Бригады колхозов соревновались между собой (Маша и Лида Ладынина, ставшая агитатором строительства, организовали это соревнование) и работали дружно, слаженно. Лида как раз была на площадке, когда приехали секретарь обкома и Макушенка, и испуганный неожиданным появлением начальства Денис Гоман, назначенный после отъезда Соковитова прорабом, попросил её встретить секретарей и побеседовать с ними. «А то я двух слов не свяжу», — откровенно признался он. Лида встретила, как полагается, поздоровалась, не называя себя, и сразу же, как хороший экскурсовод, начала рассказывать о строительстве. Денис Гоман ходил следом и одобрительно кивал головой. Секретарь обкома послушал несколько минут, с удивлением взглянул на Маку-шенку и вдруг спросил у Лиды:

— А вы, собственно говоря, кто? Инженер?

— Нет. Учительница. Агитатор. — Агитатор?

— Дочь Ладынина — Лидия Игнатьевна, — с опозданием представил её Макушенка.

— То-то я слышу знакомые интонации.

Лида немножко смутилась и, как бы рассердившись на себя, стала говорить о недостатках, тормозящих строительство. У Дениса Романа округлились глаза, он начал подавать ей таинственные знаки, дергать за рукав: молчи, мол, что ты делаешь?

— …Обидно, товарищ секретарь, смотреть на такую работу. В век атомной энергии мы забиваем сваи вон какой машиной, ею пользовались ещё древние египтяне… Каждый день я слышу и читаю: «Сельэлектро», «Сельэлектро»… А что она делает, эта организация, не понимаю. Кроме инженеров, которые составляли проект, да нашего Соковитова, никого я не видела из этого «Сельэлектро»…

Павел Степанович с уважением взглянул на девушку.

Улыбнулся.

— Что ж… Правильная критика. Ничего не скажешь. Смело адресуйте её обкому. Признаю, товарищи, плохая у нас контора «Сельэлектро», слабо мы обеспечили её механизмами. Вы знаете, сколько мы по области строим только сельских гидростанций? Восемь. Да тепловые станции… Конечно, тем, кто станет строить через год-два, будет значительно легче… Появятся у нас и бульдозеры, и экскаваторы, и само-свалы. Все будет, товарищи! Да и у вас, вижу, не так плохо с механизацией — четыре автомашины работают…

Секретаря обступили колхозники, внимательно слушали, задавали вопросы. Долго он беседовал с ними, рассказывал, какую огромную помощь оказывают колхозам республики Центральный Комитет и советское правительство.

Лесковцу дали знать, что на строительстве секретарь об-кома, и он, заглянув домой и попросив мать приготовить обед, скинул ватник, надел новую шинель, туго, по-военному, подпоясался ремнем и поспешил на гидростанцию. Никогда он не терялся, когда в колхоз приезжали районные или об-ластные руководители. К некоторым даже относился с иронией: глядите, мол, записывайте, такая уж у вас работа, не вы первые, не вы последние. А тут растерялся и даже перетрусил. Что скажет Павел Степанович о колхозе, о нем самом? По дороге он забежал к своему заместителю Бириле, приказал ему немедленно слетать на колхозный двор и навести там «идеальный порядок».

На строительство он попал уже к тому времени, когда секретарь обкома прощался с колхозниками.

— Что ж, — появился хозяин, — посмотрим все хозяйств во, — сказал Павел Степанович, пожимая ему руку.

Максим так растерялся, что забыл поздороваться с Лидой, которая стояла немного поодаль, возле девчат. Она не обиделась, но, поняв его душевное состояние,

удивилась и даже немного разочаровалась: «Так вот ты какой… паникер… Не ожидала».

Улучив момент, когда они шли между штабелей бревен и Максим отстал, она сказала ему:

— Ну, держитесь, товарищ Лесковец! Тут сказали, что вы долго срывали строительство, не давали людей.

— Кто сказал?

— Я сказала, — и исчезла за штабелем, тихо рассмеявшись.

Ходили долго. Осматривали все: сад, конюшни, коровники, гумно, кузницу, заходили в хаты к колхозникам. Познакомились с бухгалтерией, заглянули в табели выработки трудодней. И везде Павел Степанович делал замечания, критиковал и тут же советовал, как сделать лучше. Максима удивляла его способность сразу все видеть. Многое из того, что увидел секретарь, он, председатель, никогда не замечал. Максим краснел, смущался, пока не убедился, что в целом колхоз Павлу Степановичу нравится. Это открытие обрадовало его. Он сразу осмелел, вернулась привычная уверенность. Пригласил секретарей к себе домой.

— Зайдем. Непременно зайдем. Как здоровье Сынклеты Лукиничны? Черничная настойка и сейчас, верно, есть? Помню, она всегда ею угощала, в любое время года, — сказал Павел Степанович.

Макушенка улыбнулся, вспомнив свое последнее посещение.

Сынклета Лукинична прослезилась, здороваясь с Павлом Степановичем, вспомнила, как он приходил вместе с Антоном. Минутная грусть сменилась радостью: она взглянула на Максима и увидела в нем отца — спокойного, уверенного хозяина.

Павел Степанович внимательно, с шутливой придирчивостью осмотрел хату и с ещё большим

интересом полистал книги, которые лежали на столе, на подоконниках, на табу-: рете у кровати.

— Читаешь?

— Читаю.

— Этажерку надо сделать или полки. К книге с уважением следует относиться. — Секретарь обкома ещё раз прошелся по хате, остановился у порога, окинул все взглядом. — Ну что ж, все как полагается. Одного только не хватает.

Максим насторожился. Мать тоже остановилась на полдороге к столу с тарелкой в руке. Глаза Павла Степановича смеялись.

— Молодой хозяйки не хватает.

Сынклета Лукинична тихонько вздохнула и, поставив тарелку, поспешно вышла на кухню.

Максим покраснел и серьезно ответил:

— Будет со временем, Павел Степанович.

12

Осмотр клуба начали с небольшого уютного фойе, украшенного портретами, плакатами, праздничной стенной газетой, занимавшей самый широкий простенок между окнами.

Молодежь толпилась перед газетой, смеялась над меткими карикатурами на Ивана Гомана, на Радника, на Гольдина. Мужчины постарше щупали подоконники, крашенные масляной краской стены, одобрительно кивали головой. И все, и молодые и старые, в восхищении останавливались при входе в зал, залитый ярким светом множества лампочек над сценой, — лампочками был обрамлен большой портрет Ленина.

В этот же вечер было и открытие клуба, впервые в нем собрался народ. И хотя многие из этих людей бывали

здесь ежедневно во время постройки, сами его строили, они осматривали создание своих рук с любопытством и удовлетворением.

Костя Радник, заведующий новым клубом, как хозяин встречал гостей и был исключительно вежлив, как никогда раньше. Особенно подчеркнуто вежлив он был с гостями из других деревень.

В фойе разговаривали, здоровались, поздравляли друг друга с праздником, а Костю — с новым клубом.

Торжественное заседание открыл Байков. Он заметно волновался, посматривал в бумажку, чтоб не запутаться. Слушали его затаив дыхание, словно боясь пропустить какое-то чрезвычайное сообщение. В зале было тесно, мест не хватало, и много народу стояло в проходе.

Настю Рагину впервые выбрали в президиум. Она поднялась на Сцену в числе последних и должна была сесть во втором ряду бок б бок с Василем, так как остальные места были уже заняты. Она не знала, как держаться, куда руки девать. Сотни глаз смотрели из зала, и ей казалось, что все они смотрят на нее. В первом ряду сидела Маша и тоже посматривала в её сторону. Маша была в красивом темно-зеленом шерстяном платье. Настя слышала, как перед заседанием перешептывались женщины: «Василь одевает свою, точно королеву». И правда, Маша выглядела, пожалуй, красивее всех. Но Настя ей не завидовала, не было больше в её сердце мучительного чувства ревности. Она не решалась повернуть голову, посмотреть на Василя. «А вдруг Маша подумает, что я нарочно села рядом? Почему её не выбрали в президиум? Пускай бы лучше она здесь сидела». Насте давно хочется откровенно, по душам поговорить, с Машей, попросить прощения и сказать, что она рада её счастью и искренне желает дружить с ней. Пускай Маша знает, что она совсем не такая, как о ней думают. Тогда она просто хотела добиться любви Василя. Но если он полюбил другую, если они счастливы, то и пусть. Она, Настя, тоже найдет свое счастье. Она

начала ходить в девятый класс вечерней школы, кончит десятилетку, поступит в институт.

К трибуне подошел Мятельский, предложил почетный президиум. Поднялась могучая человеческая волна, ударила громом рукоплесканий. Насте теперь ещё лучше видны были лица людей, освещенных светом электрических лампочек. Встав, люди словно приблизились к сцене. Ближе всех к ней, Насте, была теперь Маша. Она аплодировала, высоко подняв руки. Взгляды их встретились, Маша улыбнулась ей доброй, ласковой улыбкой. И сердце Насти наполнилось восторженной нежностью к Маше и ко всем людям.

Ладынин делал доклад. Говорил он, как всегда, спокойно, убедительно, почти не заглядывая в тезисы, лежавшие на трибуне, подкрепляя отдельные положения речи живыми и близкими примерами. За неделю до праздника Игнат Андреевич побывал в Минске. Там он не только занимался своим делом, но и встретился со многими из знакомых, друзей — с врачами, инженерами, партийными работниками, осмотрел все новостройки, познакомился с генеральным планом реконструкции столицы. Человек любознательный и энергичный, он вникал во все области богатой и разнообразной жизни и обо всем этом рассказывал сейчас людям.

— Посмотрим, товарищи, что дал Октябрь крестьянству. Мы не будем далеко ходить за примерами. Взглянем на жизнь нашего сельсовета, наших колхозов, на свою собственную, товарищи, жизнь. Пусть люди постарше, мои ровесники, вспомнят путь от Октября семнадцатого года до сегодняшнего дня. Это путь от подневольного рабского труда на пана Ластовского до радостной колхозной работы, от нищеты — к настоящей человеческой жизни… Это путь от лучины до этих вот лампочек, которые наш народ называет лампочками Ильича, потому что засветил их для народа великий Ленин. Это путь от нищенской лиры до радио в каждой хате, до репродукторов, которые гремят на всю округу… Путь от корчмы Залмана до этого вот светлого и

просторного клуба.

Старики в зале переглянулись, покачали головами: все знает, даже Залмана вспомнил, о котором все давным-давно забыли.

Рядом с Василем, по другую сторону, сидел Пилип Радник, председатель «Звезды». Сидя в президиуме, он непрестанно вертел головой во все стороны, любовался клубом. Наконец повернулся к Василю, прошептал:

— Да, Минович, приятно посидеть в таком клубе. Правда? Василь иронически улыбнулся.

— Приятно. Особенно тому, кто строил его.

— Все сердишься, что отказались помочь.

— Нет. Как видишь, сами осилили…

— Да, брат, ничего не скажешь: молодец ты.

Говоря одостижениях колхозов, Игнат Андреевич называл лучших людей: бригадиров, звеньевых, рядовых колхозников, чьим трудом славны эти достижения. Назвал Машу, Настю Рагину, Клавдю Хацкевич, Ивана Лесковца, Гашу Лесковец, Ганну Лесковец… Многих Лесковцов, многих людей из «Партизана».

Максим чувствовал себя обиженным: его имени Ладынин не назвал.

«Упрямый старик. В такой день, на таком собрании и то поскупился на доброе слово. Выходит, народ работал, а председатель гулял».

Но Ладынин сказал и о них — о нем и Василе, хорошо сказал, тепло, когда говорил о росте в деревне новой интеллигенции, новой культурной силы.

Пилип Радник, вздохнув, обратился к Максиму:

— Значит, интеллигент? Что ж, с виду подходишь. — Радник осмотрел его с ног до головы критическим

взглядом. — Только ругаешься ты здорово… Я раз слышал, как ты хлопцев своих крыл возле Кустарного. Одно удовольствие!

Максим испуганно оглянулся — не слышит ли кто? Впервые ему стало стыдно того, что он иной раз в сердцах употребляет чересчур крепкое слово.

«Старый хорь! Всегда испортит настроение… Однако надо будет последить за собой. В самом деле неудобно…»

Радник не унимался.

— Шутки шутками, а дорога у вас, хлопцы, широкая. Ой широкая! Мне бы сейчас ваши годы, я бы, может, кого-нибудь и позади оставил, на буксир взял бы. Зря вы выдумали, что Радник от жизни в кусты прячется.

Радник не умел говорить шепотом, он все бубнил, точно бобы пересыпал. Байков повернулся, погрозил ему карандашом.

— Много, товарищи, мы сделали за послевоенные годы! — продолжал между тем Ладынин. — Но разве мы можем довольствоваться этими успехами? Разумеется, нет. Разве может нас удовлетворить урожайность наших полей, в особенности в «Партизане» и «Звезде»? Вы знаете эти цифры: даже в нынешнем, наиболее благоприятном году они низки. А наши фермы? Вот — «Воля», лучший наш колхоз, и то там мало ещё коров, случается — план увеличения поголовья выполняется за счет бычков, а от быка, как известно, не дождешься молока. В других колхозах коров и того меньше, а продуктивность их — прямо стыдно сказать. В «Звезде», например, ни одна корова не дотянула до тысячи литров. Так, товарищ Радник?

Пилип Радник заерзал на месте, но подтвердил:

— Должно, так.

В зале засмеялись.

Ладынин много говорил о недостатках и о том, что следует предпринять, чтобы как можно быстрее поднять хозяйство колхозов и благосостояние колхозников.

— Обидно думать, товарищи, что трудодень у нас ещё так немного весит, что ещё не в каждой хате есть сало, что немало ещё у нас людей бедных. За какие-нибудь три года, прошедшие после войны, всего, конечно, не охватишь, не переделаешь: слишком много у нас было ран, но мы твердо уверены, что завтра будем жить лучше, чем сегодня, ибо путь, которым мы идем, единственно правильный — путь колхозный. И ведет нас по этому пути великая партия, партия коммунистов.

Выступили школьники, показали партизанскую пьесу. Играли по-детски наивно, с суфлером, который сидел за сценой и слова которого долетали до зрителей раньше, чем их успевали повторить актеры. Но присутствующие чрезвычайно бурно реагировали на события, происходившие в пьесе. Негодовали при виде фашистов и изменников, аплодировали, встречали радостными криками появление партизан, мальчиков и девочек в странной, не по росту, одежде, с самодельными автоматами на шее и гранатами на боку. Казалось, что люди не пьесу смотрят, а переживают все это в действительности, как переживали несколько лет назад. У Михея Вячеры даже слезы в глазах стояли.

Младшие школьники читали стихи о Родине, о героях войны. В устах детей слова стихотворений приобретали какую-то особую привлекательность, особую силу воздействия на чувства слушателей.

Потом выступал колхозный хор под руководством Нины Мятельской. Правда, на сцене она не дирижировала, а пела вместе со всеми. Хороший голос у жены директора школы, но напрасно Лида уговаривала её выступить как-нибудь с сольным номером. Нина Алексеевна по застенчивости никак не могла на это решиться, хотя ей и хотелось испытать свои силы.

С сольными номерами выступали Лида и Наташа Гоман.

Нина Алексеевна обнаружила у этой некрасивой девушки не обыкновенные вокальные способности.

Весело проходил предпраздничный вечер в новом клубе. Даже когда начались танцы, народу ненамного убавилось. Косте Раднику пришлось приложить немало усилий и изобретательности, чтобы вынести и разместить в фойе скамейки и очистить место для танцев. Старики расположились на сцене, чтобы поглядеть, как будет танцевать молодежь. Только Ладынин и Мятельский исчезли, они сидели в библиотеке за партией в шахматы.

— Ну хорошо, все это хорошо, дорогой Игнат Андреевич, а дальше что? — приговаривал после каждого хода противника директор школы.

Ладынин тихонько, без слов, мурлыкал то веселую, то печальную мелодию, в зависимости от того, какой ход делал «уважаемый Рыгор Устинович». Вокруг их столика толпилось человек десять «болельщиков», и каждый из них считал своим долгом подавать одному из игроков советы, подсказывать ходы.

Максим весь вечер танцевал с Лидой. Он слышал, как восторженно шептались о них женщины: «Вот пара, так пара, точно родились друг для друга», и любовался ею и собой. В душе у него все росло предчувствие, что вечер этот станет самым счастливым в его жизни. Лида была с ним, как никогда, приветлива, ласкова, не смеялась, не подшучивала, как обычно. Во время танцев разговаривала серьезно, и ему казалось, что она как будто чем-то опечалена.

Баянист Костя Бульбешка склонил голову к баяну, ловко пробежал пальцами по ладам снизу вверх, лениво растянул мехи и заиграл что-то грустное. Молодежь насторожилась, но Костя вдруг тряхнул головой, откинул со лба свой белесый чуб, притопнул ногой и ахнул веселую плясовую. В круг, гикнув, выскочил Сашка Лазовенка, за ним, словно передразнивая кого-то, выплыл кряжистый, кривоногий тракторист Явмен Шукайло. Михаила Примак не мог видеть, как тот

кривляется, «позорит механизаторскую честь», и, оттолкнув Явмена плечом, выскочил в круг сам.

В молодости Михайла был лучшим плясуном во всем сельсовете, активным участником художественной самодеятельности. Но давали себя знать тяжелые ранения, и он, быстро утомившись, стал вызывать Машу. Она попыталась спрятаться за женщин, но её легонько вытолкнули на середину. Она прошлась вдоль людской стены, отыскивая, перед кем бы остановиться. Взгляд её упал на Лиду. Та знала о Машиной беременности и сразу же сменила её. Но как только она вышла, Сашка и Примак спрятались в толпе, один по юношеской застенчивости, другой — боясь, как бы Лида не вызвала его на соревнование. Костя Радник закричал:

— Шире круг! Шире круг!

И круг расширился, стоявшие попятились, прижались к стенам.

Лида выхватила платочек, взмахнула им над головой, закружилась необыкновенно легко и грациозно, прошла по кругу и вдруг махнула платочком Максиму. Он не спеша расстегнул воротник кителя и, когда она подошла во второй раз, громко топнул ногой, откинувшись назад всем телом. Лида шаловливо отступала, как бы поддразнивая, заманивая его: «Догони! Поймай!» Он подскочил, присел, облетел вокруг нее и пошел выбивать такую чечетку, что стекла зазвенели. Лида быстро закружилась, помахивая платочком. Проворнее забегали пальцы баяниста по перламутровым клавишам, ниже склонилась голова, снова упали на лоб волосы.

Началась своеобразная борьба трех упорных, сильных характеров. Кто кого, кто не выдержит, сдаст? Но никто не хотел уступать. Окружающие подзадоривали.

— Максим! Смотри не поддавайся, постой за мужскую честь!

— Ай да молодчина Лида! Вот это девушка! Что ваш Максим!

— Костя! Шпарь шибче!

Баянист все набирал и набирал темп, выжимал из своего инструмента все, что мог; баян уже прямо захлебывался. И все быстрее и быстрее летал по кругу Максим, то приседая, то вертясь на одной, ноге, то высоко подпрыгивая. Все стремительнее кружилась Лида, поднимая платьем ветер.

Зрители притихли, заинтересованные и удивленные. Задние становились на скамейки, на подоконники, нажимали на стоявших впереди, казалось, вот-вот разорвется живое кольцо, помешает танцорам. Но Максим летал с такой быстротой, что страшно было переступить границу круга — собьет с ног.

Прошла минута, вторая, пять минут… И неизвестно, сколько бы ещё продолжался этот танец, если бы не Маша. У нее вдруг закружилась голова от этого сумасшедшего мелькав ния, она наклонилась и положила руку на мехи баяна:

— Что вы делаете? Баян умолк.

Максим и Лида остановились, растерянно оглянулись. Они даже не очень запыхались, им зааплодировали. Максим подошел, склонился… и поцеловал ей руку.

Женщины удивленно ахнули. Кто-то из молодых засмеялся.

Лида исчезла. Максим долго разыскивал её; девчата подсказали ему, что она в помещении радиоузла. Небольшую комнатку эту первоначально намечали для кружков, и находилась она за сценой. Кости Радник держал её на замке и никого туда не пускал. На дверях даже висела дощечка: «Посторонним вход воспрещается». Но на этот раз комната была открыта, в замочной скважине торчал ключ.

Лида сидела на табуретке, опершись локтями на

длинный стол, на котором стоял большой блестящий приемник. Она задумчиво глядела на шкалу настройки со множеством названий городов и, должно быть, не слышала, как он вошел. В комнате было тихо. Костя выключил динамик.

Максим, ещё пьяный от танца, подошел, взял её руки, сжал их. Она поднялась, стала перед ним, лицом к лицу, попросила:

— Пусти руки, Максим. Больно.

— Больно? А мне больней. Во сто раз больней, не рукам, сердцу. Ты это знаешь!

— Зачем ты говоришь об этом мне, я не доктор. Обратись к отцу. — Однако рук не отнимала.

— Лида! Нельзя так шутить!

— А как можно? — Глаза её опять засмеялись, но не весело, как обычно.

— Я не могу… Я хочу знать… Я должен знать… Мы не дети, Лида, мы взрослые люди, мы должны называть вещи своими именами. Я люблю тебя, как не любил ещё ни разу в жизни…

— Ни разу в жизни? — Она выхватила свои руки, спрятала их за спину, отступила на шаг и прислонилась к теплой печке. — Ни разу в жизни! Именно потому, что я уже не ребенок, я не верю тебе, когда ты говоришь такие громкие слова…

— Лида!

— Не верю! Не могу поверить… Я не понимаю тебя, да и сам ты, как видно, себя не понимаешь. Мне страшно… Я вспоминаю Машу…

— Что страшно? — У Максима задрожал голос, напоминание о Маше вывело его из равновесия.

— Страшно быть с тобой. — И Лида быстро вышла, оста

вив его в растерянности.

Но он сразу опомнился, когда услышал, как в дверях щелкнул замок. Кинулся к двери — она была заперта. Громко прошептал с мольбой и угрозой:

— Лида!

Она приглушенно засмеялась. По сцене простучали её каблучки. Стук отдалился, слился с шумом в зале, с шорохом множества ног, с голосистым напевом баяна.

Разъяренный Максим бегал по комнатке — три шага от двери до стены, до единственного окна с двойными рамами. Представив себе, как ему придется объяснять все Косте Раднику, он застонал от отчаяния. Злость, обида захлестнули все остальные чувства, унесли его праздничное настроение, его надежду на счастливый исход разговора с Лидой. Вот он — счастливый разговор! Он мог стерпеть от нее все, любые слова, любые капризы, но так неуместно, так по-детски шутить… Ему даже самому смешно стало. И а самом деле, только Лида могла такое выдумать. Он почувствовал, что даже вспотел от волнения, вытер платком лицо, огляделся. Увидел на столе графин с водой — понял, как оказалась здесь Лида; попросила у Кости ключ и пришла напиться. Максим схватил графин, залпом выпил всю воду. И тут вспомнил, что Лида в первый раз сегодня сказала ему «ты». Утешил себя этим и решил молча дожидаться, когда Костя придет выключать узел. Лидины чудачества Косте известны, и, если его попросить по-хорошему, он никому не расскажет. Только бы он пришёл один!

13

Лида подошла к окну, сжав ладонями виски, прислонилась горячим лбом к холодному стеклу. Мороз заткал стекла чудесным серебряным узором. За окном разгулялась метель, сыпал колючий снег, шуршал по стене. В трубе завывал ветер. Ранняя в этом году зима. Ранняя и суровая. Уже больше месяца лежит снег, на

улицах, на огородах намело высокие сугробы.

Родители давно уже спали, давно погасло электричество. Лида писала при лампе. На столе были разбросаны исписан-ные листочки.

...Её знали в Databaseевке как веселую, беззаботную, жизнерадостную девушку, готовую на любые выдумки, на самые неожиданные затеи. Правда, знали и другое: свои шутки, свою живость она умеет сочетать с серьезной добросовестной работой в школе, с обязанностями вдумчивого, интересного агитатора. И, как это часто бывает, никто никогда не задумывался над её внутренней жизнью — мыслями и мечтами, переживаниями и взглядами. А жизнь эта между тем шла довольно сложным путем, и ей иной раз бывало тяжело, что нет чело-века, с которым можно было бы поделиться своими сомнениями или надеждами. Отец? Но не всякую девичью тайну расскажешь отцу. Обычно поверенным молодой души служит дневник. Но Лида не любила дневников и бросила их ещё в десятом классе. Уже тогда она заметила, что в дневнике трудно не покривить душой. Каждый раз, когда раскрываешь его, хочется записать о себе самре хорошее, а худое утаить. А вот человеку она никогда не солжет, тем более другу. И потому она больше любила писать письма.

С Алесей у них шла аккуратная переписка. В этот длинный зимний вечер она писала ей о том, что тревожило её в последнее время. Алеся несколько раз спрашивала в письмах о её взаимоотношениях с Максимом. И вот она отвечала...

...Лида долго стояла у окна, наконец вернулась к столу и перечитала последнюю страницу своего неоконченного письма:

«Я тоже грустила, ждала настоящей любви, я мечтала о ней по ночам. Я создала себе образ человека, которого мне хотелось полюбить, но человек этот не встречался. Однажды мне показалось, что я его нашла, это было в первые дни жизни в Добродеевке, когда к нам стал наведываться Василь Лазовенка. Но я скоро поняла, что

Василь — это не тот герой, о котором я мечтала. К тому же я узнала, что он любит другую — Машу. И вот теперь — Максим...»

Она подумала и разорвала эту страничку.

«Не нужно о Василе, потому что неправда. Не было ничего, не думала я о нем».

Зачеркнула несколько строчек на другой странице и стала писать дальше:

«Сначала я не верила в искренность его любви, мне казалось, что такой человек, как Лесковец, не может полюбить по-настоящему, на всю жизнь. Теперь я верю, что он любит, на всю жизнь или не на всю — не знаю, но действительно любит...

Но ты, моя славная подруга, спрашиваешь не о кем, ты спрашиваешь: люблю ли его я? Признаюсь тебе откровенно, что это для меня трудный вопрос, я и сама не раз задавала его себе. Люблю ли я его? Я почти возненавидела его за то, что он сделал по отношению к Маше. Меня это страшно поразило и возмутило. Шесть лет ждать, шесть лучших лет, и, дождавшись, встретить такое холодное равнодушие! Ты помнишь, я рассказывала тебе, как я буквально выгнала его из дома, как он вышел, сгорбившись, словно ожидая удара. Но когда я узнала, что Машу давно и сильно любит Василь, и когда Маша вышла замуж, я поняла (ещё раз), что все это не так просто, как я представляла. Я простила Максиму все, когда случайно услышала его признание моему отцу вечером того дня, когда Маша и Василь зарегистрировались. В его словах было столько человеческой печали, что у меня даже сердце дрогнуло. Но я снова возмутилась, когда он однажды попробовал говорить мне о любви. Я его не понимала. Я и сейчас плохо его понимаю и потому боюсь, серьезно боюсь и его и его любви. Еще больше я боюсь признаться самой себе, что и у меня зародилось какое-то чувство. Я не могу его ещё определить, дать ему название. Время меняет все: чувства, мечты, самих людей. Я присматриваюсь к Максиму и, как ни странно, нахожу в

нем много стоящего, даже те его черты, которые я раньше осуждала, теперь мне кажутся привлекательными. Мучительно рождается моя любовь, если только действительно это любовь. Я все взвешиваю, все оцениваю, как будто по какому-то расчету. Даже самой противно становится. Но я не могу иначе, когда думаю о Максиме. Мне, например, тяжело было узнать, что он не учится, мало, читает, и знает мало, и учиться не желает. Я как-то сказала ему об этом, сказала насмешливо, язвительно, такой уж у меня дурной характер. Он обиделся, первый раз заговорил дерзко: «Конечно куда уж мне, колхознику, когда уважаемой Лидия Игнатьевне снится поэт, профессор...» Неправда! Никто мне не снится, и ни о ком я не мечтаю. Я мечтала, я хотела полюбить человека умного, жизнерадостного, веселого, с которым легко и счастливо могла бы идти в завтрашний день, в светлый день нашего будущего. Между прочим, говорят, что Максим теперь много читает. Возможно. Он к нам не так часто наведывается, и мы редко видимся.

Я, однако, разболталась, времени у меня много, не то что у тебя, нашей москвички. Завидую я тебе и твердо решила в будущем году пойти в аспирантуру, если не в Москву, так в Минск.

Видишь, как нескладно, как сумбурно я пишу: начала об одном, а кончаю совсем другим. Написала целый роман, а главного и не сказала. Не ответила на твой вопрос. Люблю ли я Максима? Кажется, люблю...»

Лида написала эти слова и, как бы испугавшись, быстро встала. Снова подошла к окну, всмотрелась в морозный узор и вдруг громко и раздраженно прошептала:

— Нет, не люблю! Может быть, только ещё хочу полюбить. — Вернулась к столу и вычеркнула последние слова, написала краткое: «нет».

Совещание председателей колхозов и директоров МТС, на котором обсуждались мероприятия по подъему урожайности колхозных полей, шло уже второй день. После доклада секретаря ЦК начались выступления.

Василь тоже выступил — обоснованно, продуманно, он ещё дома к этому готовился. Он говорил про свой колхоз, про МТС, подверг критике работу, районных и областных организаций, бросил несколько метких замечаний в адрес Академии наук и Министерства сельского хозяйства.

Закончил он свою речь предложением подумать над вопросом о целесообразности объединения мелких колхозов в более крупные хозяйства.

— Докладчик, товарищ секретарь ЦК, рассказал нам о том, как из года в год будет расти наш тракторный парк, как правительство и партия помогут нам машинами. Да и сейчас у нас их немало, разных машин. И бывает уже трудно применить их в мелких хозяйствах, на малых земельных площадях… Я вам приведу пример. — Он хотел было рассказать о своих колхозах — о «Воле» и «Партизане», показать, какие выгоды дало бы слияние этих колхозов, но вспомнил, что в зале сидит Максим Лесковец, смутился, подумал, что тот опять припишет ему дурные намерения, и привел в пример другие колхозы своего района. — Товарищи, это мысль не только моя, так думают многие механизаторы, работники МТС. Уверен, что и здесь на совещании они меня поддержат.

— Правильно! — крикнули из зала.

— Фантазия! — возмущенно произнес другой голос.

В зале зашумели, зашевелились.

Объявили перерыв. Василь, взволнованный, дрожащими руками собирал на трибуне листочки с тезисами своего выступления. Секретарь ЦК, проходя мимо, пожал его локоть.

— Правильно, Лазовенка! Смело критикуй всех, кто мешает подымать хозяйство. И предложение твое разумно. В Москве над этим уже думают.

В зале его окружили председатели, директора МТС, стали высказывать свои соображения, спорить. Видно, многим уже приходила мысль об укрупнении, о более рациональном использовании машин.

Незнакомый человек через головы протянул ему бумажку.

— Вам телеграмма, Лазовенка. Давно вас ищу. У Василя дрогнуло сердце: Маша.

На телеграмме не совсем обычный адрес: «Минск, совещание председателей колхозов, Лазовенке».

Василь боялся развернуть её здесь, в присутствии людей, и начал торопливо пробираться в фойе, уже плохо понимая смысл вопросов, невпопад отвечая на них. В фойе тоже было полно народу.

Кругом разговаривали, курили. Работница просила:

— Товарищи, нельзя здесь курить. Есть курилка. Ах, какой несознательный народ.

— Вот он, ваш Лазовенка, — произнес кто-то рядом. Его окликнули:

— Василь Минович!

Он не обратил внимания на оклик, поскорее выскочил на улицу.

Остановился у подъезда, развернул телеграмму: «Родился сын. Поздравляю. Маша».

— Сын! — Он не замечал, что повторяет это дорогое слово вслух.

На него смотрели, должно быть понимая, в чем дело, улыбались.

Наконец он увидел эти любопытные взгляды, смутился, быстро спрятал телеграмму в карман, перешел через улицу в сквер. И тут вздохнул полной грудью, с особой силой почувствовал, что уже весна. Вчера ещё было холодно, то и дело начинал падать мокрый снег. А сегодня ярко светило апрельское солнце, подсохли прошлогодние листья на клумбах, кое-где пробивалась первая травка.

Вверху, на голых липах, громко и сварливо кричали галки. Возле фонтана — мальчик с лебедем — играли дети. Молодая женщина сидела на скамейке и качала коляску. Василь подошел, заглянул под занавесочку. Там спал розовощекий малыш, посасывая пухлыми губками красную соску. Василь залюбовался им, улыбнулся. Женщина нахмурилась, подкатила коляску поближе, потом встала, как бы собираясь заслонить свое дитя от этого чудаковатого незнакомца. Василь понял её чувство и неожиданно сообщил, как хорошей знакомой:

— У меня сегодня сын родился. Женщина засмеялась:

— Первый, конечно? Поздравляю.

Он вышел на Советскую улицу, которая напоминала строительную площадку: все тут было разворочено, разрыто и все строилось заново. Перепрыгивая через груды земли, пробираясь по хлипким кладкам через глубокие канавы, во все стороны непрерывным потоком шли люди. По ту сторону улицы работали два экскаватора, рыли котлован для фундамента будущего дома. На огромной груде наваленного кирпич ча и песку стояли любопытные, любовались работой машин.

Василь тоже постоял, полюбопытствовал, испытывая некоторую зависть: вот бы им такой экскаватор на строительство гидростанции! Сновали автомобили. Возле Комсомольской улицы работал бетоноукладчик. Объемистый ковш ходил по длинной стреле, самосвалы вываливали в него бетонную массу, ковш кидал её в зев машины, она медленно передвигалась и, прессуя, укладывала между балок густой раствор. На этом

участке уже вырисовывалась будущая улица — широкая, ровная, величественная.

Василь вспомнил проекты, развешанные в фойе Дома офицеров, где проходило совещание, проекты великолепных зданий, план реконструированной улицы. Он представил себе эту улицу через два-три года, когда проекты воплотятся в жизнь. Замечательная будет улица!

Отправив ответную телеграмму и вернувшись на заседание, Василь сел на балконе: в зал опоздавших не пускали.

В перерыве его разыскал Максим, тоже чем-то взволнованный.

— Ты что это — выступил и драпанул? Тебя из президиума искали.

Перерыв был на обед, и они, долго простояв в очереди у вешалки, вышли на улицу. Шли мимо экскаваторов, бульдозеров. Василь все продолжал думать о Маше, о сыне и потому молчал. Изредка только отвечал Максиму, которому, видно, хотелось поговорить.

— Вот где ворочают так ворочают! Нам бы на наше строительство пару таких машин, хоть на несколько дней.

— Павел Степанович обещал дать экскаватор и один самосвал. Ты же знаешь постановление обкома, — отвечал Василь, опять оглядываясь на женщину с ребенком на руках.

— Да, брат, работают люди. Строят коммунизм. Посмотришь, душа радуется. Недаром там, — Максим кивнул голо вой на запад, — воют от злости и бомбочкой своей помахивают. Между прочим, ты не слышал самого интересного выступления. Орловский говорил, председатель «Рассвета». Здорово говорил. Но, по-моему, хвастает…

— Почему ты так скептически относишься к нему? О

его колхозе целые книги написаны.

— Книгу написать легче, чем поднять хозяйство.

— Смотря какую книгу и какое хозяйство. Максим минуту помолчал и снова вздохнул:

— Да-а, работают люди, — и повернулся к Василю. — Знаешь, какой вывод я сделал здесь на совещании? Надо учиться.

— Открыл Америку, — улыбнулся Василь.

— Для себя — да, открыл. — И вдруг рассердился: — Брошу я к черту этот колхоз и уеду. Надоело мне, не могу. Чувствую — закисну, отстану.

— А ты не отставай, учись дома. Я же учусь заочно. Было бы только желание.

Максим остановился (он немного опередил Василя), взглянул на товарища — не улыбается ли тот иронически над его очередной вспышкой. Василь не улыбался. Но вид у него был какой-то необычный.

— Что это ты выглядишь сегодня именинником? — спросил Максим, помолчав.

— У меня сын родился, — тихо, точно тайну, сообщил Василь.

Максим остановился. Загородил проход на кладку через траншею, на лице его отразилось сложное, противоречивое чувство, он некстати спросил:

— У Маши?

— А у кого же ещё? Чудак!

Максим ничего не ответил, не поздравил даже. Василь предложил:

— Давай зайдем куда-нибудь. Хочется мне чарку выпить за здоровье моего сына.

— Так в столовой, пожалуйста.

— Говорили, что там ничего нет. Начальство побоялось, как бы кто по простоте душевной не злоупотребил.

Максим опять долго не отвечал. Потом сказал угрюмо:

— Нет. Не хочу. Пей сам. Я пойду к фронтовому другу.

15

Маша в первый раз после родов вышла в поле. Сев был в разгаре. После сухих солнечных дней прошли теплые дожди. В полную силу дышала земля, подымалась, как тесто, и дружно покрывалась богатой зеленью всходов. Все росло прямо на глазах. Стоило постоять час-другой на месте, и можно было увидеть, как черная пашня вдруг начинала зеленеть, точно её опрыскали светло-зеленой краской. Волнами переливалась под дыханием ветра густая озимь, шелковыми всходами радовали взгляд бескрайние площади ранних культур.

Маша вышла из сада «Воли», в душе у нее все росло чувство какой-то странной радости. Не первую весну встречает она. На всю жизнь останется у нее в памяти весна прошлого года. Тяжелая была весна. Маша вспомнила, как по этой вот самой дороге бежала она к Ладынину просить по мощи… И вот прошел год, всего один год, и все стало иначе. Дело не в её личном счастье, изменилась не только она и её жизнь, изменились и поля, их вид. Маша сначала даже не могла понять, в чем сущность этой перемены. Она остановилась, осмотрелась вокруг, поглядела на небо. Как всегда в такое время, больно было глядеть в синеву, как всегда, там звенели невидимые жаворонки. Синел вдалеке лес. По-прежнему стояла посреди поля старая суховерхая береза, чуть дальше чернел высокий пень. Но не было год назад вот этих столбов. Идут вдоль дороги они — невысокие, светлые, с двумя нитями проводов. А подальше, у речки, через поля, через лядцевский сосняк, по огородам размашисто шагают высокие черные мачты. Это линия высоковольтной

передачи от гидростанции в Добродеевку. За сосняком на столбе видна была фигура человека: монтеры «Сельэлектро» тянули линию, блестели на солнце толстые медные провода.

Её догнал на велосипеде Михаила Примак, он ловко правил одной рукой. Маша уступила дорогу, но он, поравнявшись, затормозил, соскочил на землю.

— Садись, Маша, подвезу.

— Что ты, Михаила!

— Думаешь, не справлюсь одной рукой! Плохо ты меня знаешь. Я и трактор уже вожу не хуже, чем до войны, и мотоцикл осваиваю. Скоро буду мчаться, только пыль столбом… Читала в журнале? Повесть там была помещена про настоящего человека, про летчика, который без обеих ног летал и бил немцев. Все дело в тренировке. А я человек упрямый. Значит, боишься ехать?

— Боюсь.

— Зря. Теперь тебе не страшно. Погоди, сколько уже твоему «крючочку»?

— Три недели.

— Всего? Рано ты вышла в поле. Если б я родил такого сына — полгода отдыхал бы… Не выдержала?

Маша засмеялась.

— Не выдержала. Примак попросил:

— Сверни, будь добра, мне цигарку, а то ветер.

Маша взяла у него бумажку, кисет, неумело начала сворачивать, заслонясь от ветра.

— Ты тоже не выдержал бы, я уверена.

Цигарка у нее разорвалась, и махорка просыпалась на землю.

— Курил бы ты, Михайла, папиросы. Примак с усмешкой покачал головой.

— Мой батька был самый скупой человек в деревне. Слышала? Да и женка у меня скупая. У нее на чарку не выпросишь, не то что на папиросы.

Когда цигарка наконец была готова, Примак вернулся к её замечанию:

— Не выдержал бы, ты права. Особенно в такую пору. Час трудно в хате просидеть. Ты знаешь, как мы работаем? Видишь? — он показал на поле, на ровные рядки всходов. — Моя бригада взяла обязательство вырастить в «Воле» и «Партизане» самый высокий урожай по району. Сеем только рядовыми. Машины у нас теперь — во, — он поднял большой палец. — Слышишь? Гудят.

И в самом деле, воздух был напоен гудением моторов. Неподалеку за холмом на лядцевском поле работал трактор, позади за речкой виден был второй, но его шум заглушали другие машины: визжала циркулярка, пыхтел локомобиль.

Примак вслушивался в эти звуки с наслаждением, как в чудесную музыку. И, не заметив, Маша положила руку на руль велосипеда и повела его. Примак шел по другую сто рону дороги, курил, размахивал рукой.

— Приятно работать, Маша, когда все вот так налажено Бригада обслуживает один сельсовет. Близко, хорошо. Если что — собрались, обсудили. Начнет, к примеру, твой Лазовенка чего-нибудь хитрить-мудрить — Ладынину скажешь, он ему сразу мозги вправит. Но, к счастью, все взялись за ум, как это говорится. И Лесковец, и Радник. Про своих хлопцев я уж и не говорю — орлы! Один Петя твой чего стоит! За год назубок изучил комбайн и трактор. За всю весну ни одной аварии. По графику работают, по полторы нормы в день дают, — Примак достал из кармана часы. — Подойдем? Он сейчас в поле.

— Конечно, подойдем. Ведь это же поле моей бригады.

— А ты так и собираешься оставаться бригадиром?

— Так и собираюсь.

Михайла с восхищением посмотрел на нее.

— Нет, ты ещё упрямее, чем я. Молодчина!

Новенький гусеничный трактор тащил сеялку. Сеяли ячмень. За сеялкой стоял дед Явмен Лесковец. Больше полувека ходил старик по полю с севалкой, пригоршнями разбрасывая зерно, осенял себя крестом перед началом сева, приговаривал на каждой ниве заветное слово, которому научился ещё у своего деда. И вот на старости лет он сеет машиной. Не надо ходить, вязнуть в пашне, стой, переключай рычажки. Ветерок шевелил седые волосы и бороду старика.

У дороги, где стояли бочки с горючим и водой и лежала куча мешков с зерном, Петя остановил трактор.

Он соскочил с сиденья на землю, сдержанно, как с чужими, мало знакомыми людьми, поздоровался, отвел взгляд в сторону. После того как Маша вышла замуж, Петя вообще странно вел себя при встречах с ней: не то стеснялся сестры, не то был на нее в обиде. Напрасно Маша старалась лаской, заботами о нем вернуть прежние дружеские отношения. Петю, казалось, ничто не трогало. Маше было больно и обидно. Особенно остро почувствовала она это сейчас, когда он так холодно встретил её. Она не знала, о чем с ним говорить, и спросила, тоже как у постороннего:

— Как живешь, Петя?

Он ответил коротко, не глядя на нее:

— Живу.

— Живет! — подхватил Примак. — Еще и как живет! Хату свою превратил в штаб-квартиру трактористов. Жениться надумал, но только глаза у него разбежались

— не знает, кого выбрать… Одним словом, не в тебя удался, Маша…

— Как же, жениться! — презрительно хмыкнул Петя и, ладонью счистив с гусеницы землю, взобрался на трактор.

— Почему ты никогда не зайдешь, Петя?

— А что мне у вас делать?

— На племянника бы посмотрел.

— Да-а, брат Петя, и не оглянулся, говоришь, как дядькой стал, — пошутил дед Явмен, который раньше ковырялся в сеялке, а сейчас подошел к ним.

— Не опомнишься, как и дедом станешь, — подхватил Примак.

Петя повернулся, посмотрел на Машу с высоты трактора, засмеявшись, спросил:

— Хороший парень, Маша?

— Хороший, Петя. У него глаза на твои похожи.

— Не слушай, Петя, вылитый Лазовенка, ничего кацубовского, — снова отозвался из-за трактора Примак.

Петя все смотрел на Машу, смотрел с каким-то новым интересом, но во взгляде этом, как прежде, были тепло, братская сердечность. Маша после долгого перерыва увидела брата таким, каким знала его с детства, и радостно стало у нее на душе.

— Ладно, зайду, хотя и не люблю я твоего Лазовенку.

Это его откровенное, детски-непосредственное признание всех рассмешило, и сам он засмеялся. Маша не обиделась. Еще как-то осенью говорил ей об этом Василь, удивлялся: «Насколько хорошо относится ко мне твоя сестра, настолько же не любит брат. Не пойму,

отчего такие крайности?»

Тогда Маша доказывала, что насчет Пети он ошибается, что парень просто стесняется. Теперь она поняла: Петя молчал и избегал её, когда у него и в самом деле, неведомо по какой причине, были неприязненные чувства к Василю, но сейчас он сказал неправду, сейчас, по-видимому, от этих чувств уже ничего не осталось. Поэтому он в них и признался, поэтому и обрадовался приглашению сестры прийти к ним.

Примак внимательно осмотрел мотор трактора. Засыпали в сеялку зерно. Маша хотела было помочь деду Явмену поднять мешок, но неожиданно подскочил брат, отстранил её.

— Тебе нельзя, — и лицо его залилось краской.

Когда Петя завел мотор и начал разворачиваться, дед Явмен сказал Маше и Михаиле:

— Вы бы, бригадиры, позаботились, чтоб хлопцев лучше кормили. По две нормы дают. Если кто, может, думает, что это легко, так я вот поездил с ними, знаю, что это такое — две нормы. А вчера зашел к ним, попробовал борщ, который они ели, выплюнуть хотел. Назначил председатель Ольгу Ладачку готовить им, а она дома за всю жизнь путного борща не сварила. Бесталанная баба. Портит только хороший харч…

— А что ж они молчат? — спросил Примак.

— Да они тебе никогда и не скажут. Хлопцы. А твои глаза где? Ты командир. Может, потому боишься заглянуть в тарелку, что Ладачка тебе родня?

— И тебе тоже, дед.

— Я-то заглянул и сказал ей. Так сказал, что целый день ревела.

— Дед Явмен! Поехали! — позвал Петя.

— Иду, иду, Петя. Смотрите же, начальники, снова

проверю, — пригрозил дед и проворно побежал к сеялке.

Деревня тоже показалась Маше непривычной, словно за месяц её отсутствия здесь все стали иным, новым.

В действительности ничего особенного не произошло, кроме того разве, что тогда только начинал таять снег, а сейчас из палисадников доносился запах черемухи, да проводов стало больше: протянули осветительную линию. На каждой хате теперь над окнами было уже по две пары изоляторов — маленькие и большие. Может быть, именно эти провода и придавали деревне новое обличье. Маша зашла на колхозный двор. Она раньше часто ссорилась с конюхами, с Максимом из-за беспорядка, царившего там обычно. Но сейчас ничто не вызвало в ней неудовольствия, протеста: все было приведено в порядок. Только двое саней все ещё стояли возле конюшни полозьями на земле. Маша разыскала конюха и пристыдила его, велела втащить их под навес.

Возле коровника её встретила Клавдя, в белом халате, очень пополневшая и подурневшая. «Неужто и я такая была?» — подумала Маша и, вспомнив сына, счастливо улыбнулась. Клавдя обняла её.

— Прости, Машенька, что не зашла проведать. Заработалась совсем. Какая ты стала красивая! А у меня сегодня счастливый день: Ласточка отелилась, двух чудесных телочек принесла. Идем поглядим. Вот будет жалеть Гайная, что продала Ласточку. Это ведь прямо богатство — две такие телочки!

Клавдя говорила не умолкая, ведя Машу за плечи по длинному пустому коровнику. Навоз весь вывезли, и От влажной земли в коровнике было прохладно.

— Говорят, что твой Василь на радостях привез тебе из Минска полный чемодан подарков. Правда? Мой Мурашка не догадается... скупой, как мать...

Всегда шумная и веселая, Клавдя в этот день была в каком-то особенно возбужденном и счастливом

настроении — прямо вся сияла. Выйдя из коровника, они встретили Максима.

Он запрягал жеребца, чтоб ехать в поле, и был, как никогда, весел и приветлив. Маше подал руку, от души улыбнулся, — Осматриваешь? Давай, давай. Вскрывай недостатки. Да и позволь тебя поздравить. Какое имя дала? Павел? Старо. Вы б выдумали что-нибудь новенькое, оригинальное… Звучное.

Трудно было понять, шутит он или говорит всерьез. Стягивая хомут, попросил:

— Скажи, пожалуйста, Лазовенке, что экскаватор сегодня кончает работу. Пускай позвонит, чтобы поскорей забирали, а то придется платить за лишний день. И пускай форсирует распиловку. Не хватает досок для настила водобоя.

Он вскочил в повозку, но Маша задержала его. — Трактористы жалуются, что Ольга невкусно готовит. Надо дать другого человека.

— Жалуются, возможно, и правильно, мне мать тоже говорила… Но ты знаешь, что шеф-повара у нас нет.

— Опять ты…

— Ну-ну!.. А кого в самом деле дать?

— Знаешь что? Разреши мне найти подходящего человека. Один из трактористов — мой брат, и я уж позабочусь…

— Правильно. Пожалуйста. Тебе и карты в руки. Максим дернул вожжи, засвистел какую-то незнакомую мелодию.

Маша стояла и удивленно глядела ему вслед.

Побывав в поле, у ям, где женщины её бригады перебирали картошку, она заглянула в свою хату — квартиру трактористов, привела там все в порядок, помыла пол, постирала Петину рубашку. Перед тем, как

возвращаться в Добродеев-ку, забежала к Сынклете Лукиничне, к которой чувствовала горячую благодарность. Сынклета Лукинична первой из ляд-цевских женщин пришла её проведать после родов, как самый близкий, родной человек, и растрогала Машу до слез. И все-таки шла Маша в их новую хату, где не бывала ещё ни разу, с каким-то странным волнением, как будто даже со страхом, и успокоилась, только когда перешагнула порог и увидела Сынклету Лукиничну. Она сидела на лежанке и перебирала семена свеклы. Увидев Машу, она легко соскочила на пол, пошла навстречу.

— Вот хорошо, что зашла, Машенька. А я видела, как ты через огороды бежишь, сижу и думаю: неужто не зайдет?.. Бегаешь уже? Не сидится?

— Разве можно усидеть в такое время?

— Но тебя, видно, ругать некому. Куда смотрела Кате рина, что отпустила тебя так?

Маша удивилась:

— А что такое? — и испуганно огляделась.

— В одном платье…

— Жарко, тетя Сыля!

Старуха ласково провела ладонью по её полной тугой груди.

— Жарко! И не оглянешься, как простудишь. Весенний ветерок, он будто и теплый, а на деле… вмиг прохватит. Тогда намаешься. Я тебе теплую кофточку дам, мне Женя оставила…

— Ну, что вы, тетя Сыля! Неудобно. Совсем ведь тихо. Сынклета Лукинична повела её в комнату, усадила у стола на диван.

— Ты не слушай, когда начинают рассказывать, как раньше в поле рожали, на другой день на работу шли и

ничего, мол, здоровые были. Знаю я это. Сама Алексея в поле родила… В шестнадцатом году это было. Антона на войну взяли, на мне все хозяйство… Хотя сколько того хозяйства!.. Так что ж ты думаешь, так это мне и прошло? Еле оправилась потом. Да что говорить! Не зря советская власть о нас так заботится. Сами только мы не умеем себя беречь…

Они поговорили о разных женских делах, о колхозе, о людях. Посоветовались, кого бы попросить готовить еду для трактористов и присматривать за домом, и решили взять невестку деда Явмена.

— А я ей помогу, — пообещала Сынклета Лукинична. Маша уже спешила домой — пора было кормить малыша.

Хозяйка вышла вместе с ней и здесь, на крыльце, остановила неожиданным вопросом. Маша ещё раньше поняла, что она хочет сказать что-то, но не решается.

Сынклета Лукинична взяла её за руку, заглянула в глаза.

— Давно, Машенька, хотела я тебя спросить. Ты там ближе. Скажи, пожалуйста… Выйдет у них что-нибудь? Любит она его?

Маша поняла, о ком она спрашивает, за кого так волнуется.

— Ей-богу, тетя Сыля, не знаю. Алеся, когда была на каникулах, говорила, что любит.

— А откуда Алеся знает?

—. Они с Лидой дружат. Переписываются…

— Коли любит, так чего ж она его все за нос водит? Не понимаю я такой любви. Ничего у них, видать, не выйдет. — Она вздохнула, пожаловалась: — Тяжело мне, Машенька, одной. Только и порадовалась, когда Алексей в прошлом году гостил с семьей. — И тут же, словно устыдившись своей слабости, подняла голову,

гордо сказала: — Ну, да пусть, У самого голова на плечах.

16

В июне открыли гидростанцию.

Под вечер, в субботу, начали сходиться и съезжаться колхозники из Добродеевки, из Радников, из Гайновки. Молодежь шла группами, с гармонью, с песнями, празднично разодетая.

Вечер был как по заказу. С утра прошел славный дождик, а к полудню распогодилось, трава и деревья подсохли. Но дороги ещё были влажными, не пылили. К вечеру на небе не осталось ни облачка, оно было бездонно-глубокое, прозрачно-голубое. Стало чуть прохладно. Ветер совсем утих, даже листья вербы не шевелились.

Солнце опустилось за добродеевские тополи, вершины которых виднелись из-за пригорка. Над рекой, над болотистыми низинами собирался туман. Узкая прядь его повисла над дальним концом продолговатого озера, образовавшегося здесь за два дня, после того как были закрты последние створы. Неподвижным зеркалом лежала водная гладь, отражая небо и дубы, под самые корни которых подошла вода. Время от времени по воде расходились широкие круги: ребята посмелее кидались в озеро с возвышающегося над водой пня вербы, стоявшей раньше на берегу речки. Дед Пилип Мурашка, назначенный сторожем гидростанции, грозил палкой. Но это придавало им ещё больше прыти и задора.

Люди по насыпи земляной плотины, по мостику переходили на другую сторону, где под дубами, на ровной площадке стояла сбитая на скорую руку дощатая трибуна. Оттуда видно было, как под лучами заходящего солнца пурпуром горят стекла широких окон здания гидростанции. Одной наивной бабусе даже показалось, что там, внутри, уже зажглась «электрика».

Над ней весело посмеялись. Вообще на площади с каждой минутой слышалось все больше смеха, шуток и просто шума. Гармонисты из Радников и Гайновки, мешая друг другу, играли каждый свое.

Старики останавливались на мостике, смотрели через перила на просмоленный настил водобоя, на щебенку рисбермы, заглядывали в рабочую камеру.

— Работали, работали, а смотреть не на что. Шлюзы да небольшой домишко, — удивлялся Радник.

— Кто не знает, тому трудно поверить, что здесь, под нами, тысячи кубометров леса, — заметил Василь Лазовенка.

— Тысячи кубометров? — усомнился какой-то старик из Гайновки, — Неужто тысячи?

— А земли сколько! А щебенки! И подсчитать трудно, — важно объяснял Денис Гоман, начальник станции, доставая из кармана засаленную записную книжку, где у него были все цифры. Обычно этот человек ходил испачканный, замасленный, сегодня же выглядел необыкновенно торжественно — в новом костюме, с галстуком, правда завязанным довольно не-умело. Он чувствовал себя именинником: строитель станции и её будущий начальник. А с локомобилем управится и его сын, которого он за два года обучил этой лучшей в мире профессии — механика и электрика.

Тайная пришла пешком с большой группой девчат.

Одета она была, как и большинство девушек, в белую вышитую блузку и синюю юбку с вышитым передником. И выглядела она так значительно моложе, чем в обычном платье.

Подошла и весело крикнула:

— А ну, хлопцы, гляньте на моих девчат! Вам такие красотки и не снились!

— Можно подумать, что ты, Катерина Васильевна, не

так девчат своих выхваляешь, как себя, — насмешливо кинул сто-явший в группе мужчин Василь, которого она сначала не заметила.

— А-а, Василек — колючий язычок! Здравствуй, чтоб тебе до старости здоровым быть. А что я, такая уж никчемная, что и похвалить нельзя? До мэнэ ще учора дуже гарна людына сваталася.

И правда, хлопцы из других деревень, как по команде, сразу окружили украинок.

Тайная довольно посмеивалась.

— А что, соколик мой Василек, не говорила я тебе, что мои девчата твоих хлопцев завоюют. Была б я годков на двадцать помоложе, был бы и ты у меня в руках как миленький.

— В таких случаях говорят: баба надвое гадала — або этак, або так.

Солнце скрылось за пригорком, погасли стекла электро-станции, только, вершина дуба ещё светилась да пламенел красный флаг над крышей. Темно-синей стала гладь воды, нахмурилась, на средине покрылась мелкими складками.

Приехали в «газике» Макушенка, Белов и Ладынин.

Митинг открыл Василь Лазовенка короткой речью. Он поблагодарил партию и правительство за помощь, оказанную колхозам в строительстве гидростанции.

В это время Денис Гоман и Максим Лесковец протянули через мост ленточку.

Опоздавших дед Пилип теперь не пропускал, и они должны были переходить речку ниже плотины, где вода едва покрывала дно русла. Один Гольдин уговорил деда: ему срочно нужно было организовать буфет, и он вместе с продавщицей Гашей, пролезая под ленточкой, таскал ящики с пивом и за кусками. Белов незаметно погрозил Гольдину кулаком, и тот покорно снял шапку

и с невинным видом стал слушать речи. Выступали коротко даже те, кто обычно любил поговорить, — всем хотелось поскорее увидеть результаты своих трудов. Гайная закончила свою речь низким поклоном:

— Спасыби вам, сусиды наши дорогие, браты наши ридные, за вашу добрую дружбу. Нехай свитло, що зараз запалыться, освитыть наш шлях до коммунизму!

Неприметно и быстро смеркалось. Последним выступающим уже трудно было разбирать свои заметки.

Макушенка объявил гидростанцию открытой. Пока греме ли аплодисменты, он спустился с трибуны. Лида подала ему ножницы. Он направился к плотине. Плотней стеной двинулись за ним все присутствующие.

Секретарь райкома перерезал ленточку и вместе с Денисом Гоманом взялся за ручки шлюзного ворота. В наступившей тишине скрипнуло дерево, брякнули железные цепи о крючки створа. И вдруг все заглушила вода, потоком хлынувшая в турбинную камеру. Денис Гоман быстро вбежал в здание, повернул штурвал. Глухо застучала турбина, тонко запел незагруженный генератор.

Люди с любопытством заглядывали сквозь открытые окна и двери в темноту здания. Макушенка обернулся к ним и почувствовал, что волнуется, волнуется вместе со всеми.

— Включайте, Прокоп Прокопович!

Он подошел и опустил рубильник. В это же время Гоман щелкнул выключателем на стене. Свет ударил в глаза, на мгновение ослепил. На улице громко закричали «ура». Дети с криком помчались по мосту к деревне, их «ура» ещё долго звучало где-то там, на улице.

Здание дрожало от работы турбины. В воде отражались фонари, ярко осветившие всю площадь, по которой расходились колхозники — кто к баянистам, кто в буфет.

Весело засветились окна лядцевских хат. Далекими звездами мигали с другой стороны огни Гайновки. Добродеевки и Радников не было видно за сосняком и холмами.

— Радостно смотреть на такую картину! — кивнул Белов в сторону деревни.

Выйдя из помещения гидростанции, они остановились на мосту и оглядывали окрестности.

— Люблю свет, — тихо и задумчиво говорил Макушенка, глядя, как колышется в воде отражение фонаря.

Маша взяла Василя под руку, прижалась к его плечу, тихо засмеялась и шепотом сказала:

— А я, кажется, больше всего на свете люблю своего Павлика. Я поеду, Вася!

Василь стоял, смотрел и думал, что Лесковец слишком много навешал всюду фонарей. И правда, вся улица была залита светом, много было лампочек и на колхозном дворе и даже в саду, где они вовсе были не нужны.

— На что ему такая иллюминация, скажи на милость? Вот ведь любит человек блеснуть! — Василь пожал плечами. — Подожди минуточку. Поедем вместе.

— Тебе, Вася, нельзя, Максим обидится. Я уеду с Ниной Алексеевной.

— Он не захотел выпить за моего сына.

— Не будь злопамятным, Вася. Не надо. Нам ведь вместе работать.

Широкую трибуну быстро превратили в подмостки. Выступал хоровой коллектив районного Дома культуры и хор колхоза «Дружба». Гайная гордилась своим хором, который ездил в Киев на республиканский смотр самодеятельности. Её девчата и в самом деле пели

хорошо.

Это был вечер песни. Одна за другой, то веселые, буйные, то протяжные и широкие, лились песни в просторы лугов, летели над полями, где колосящиеся посевы жадно пили соки спрыснутой дождем земли.

Пели на трех братских языках. Белорусы с любовью, умением и вкусом исполняли украинские народные песни, украинцы с таким же увлечением и так же душевно пели белорусские. А перед началом выступления оба хора слили свои голоса в «Песне о Родине» — о самом близком и дорогом, что наполняло сердца людей в тот вечер. К ним присоединились десятки слушателей, подхвативших любимый напев.

Гайная, которая очень любила петь сама, тоже подпевала и утирала слезы умиления. Когда выступал её хор, она взволнованно закричала:

— Где этот сухарь Лазовенка? Пускай послушает, тогда он, может, поймет, чей колхоз лучше.

Песни так захватили всех, что даже пусто стало возле буфета. Гольдин сидел на бревне над самым обрывом, кидал в воду пробки и жаловался деду Пилипу:

— Все требуют: товарищ Гольдин, выполняй свой финансовый план. А попробуй выполни его с этим народом. Такой день! В такой день должно было быть выпито столько, сколько воды в этом озере. Но когда один умный человек предложил устроить банкет, так что вы думаете? Все сказали: «Нет, будем слушать песни». И слушают. А ты, Гольдин, выполняй свой план как хочешь. Тебя позовут и спросят…

Дед Пилип сочувственно вздохнул, махнул рукой:

— Ну, так и быть! Налей кружечку!

17

Максим отыскал в толпе Лиду и пригласил её к себе в

гости — отметить этот торжественный день. Он долго добивался, чтобы открытие гидростанции было отпраздновано более широко — общим банкетом, как это показывают в кинофильмах и описывают в романах. Он даже подготовил место в саду, приказал монтерам навешать там побольше-фонарей. Но Лазовенка и Ладынин выступили против этой затеи, их поддержала Тайная: дорого обойдется колхозам такая роскошь. Максим в конце концов согласился с ними, но все равно считал своим долгом устроить хоть небольшое угощение у себя, за свой собственный счет. Кстати, это подсказала ему мать: Сынклете Лукиничне очень хотелось, чтобы в такой торжественный день собрались у нее в новом доме за праздничным столом дорогие ей люди — соратники мужа, наставники и друзья сына.

...Лида серьезно выслушала его приглашение, поблагодарила и, не отвечая, придет ли, предложила:

— Давай пройдемся, Максим, — и взяла его за руку, легко сжала пальцы.

Электрическим током ударило в сердце это неожиданное прикосновение. Никогда ещё Лида не была так ласкова и внимательна к нему, она всегда подсмеивалась, шутила. Он даже сначала не поверил в её искренность и насторожился — как бы она не выкинула какой-нибудь шутки?

Они пошли по тропинке, которая вела от гидростанции к заречной дороге. Сзади раздались аплодисменты. Громкий голос объявил:

— «Ой, хмелю, мой хмелю»!

Высоко к небу взлетела знакомая мелодия, запевал один мужской голос, бас, важный, спокойный:

Ой, хмелю, мой хме-е-е-лю,

Хмелю мо-ло-день-кий.

Хор дружно подхватил последнюю ноту запевалы, протянул её высоко, звонко:

—..Маш… Где ж ты, хмелю, зиму зимовал,

Да не развивался?

Они шли и молчали, слушали песню. И Максиму хотелось, чтобы песня никогда не кончилась. Он держал Лиду за руку, нежно сжимал её мягкие горячие пальцы. Тропка была узенькая, и он шел обочиной, по высокой росистой траве. Он не чувствовал, как намокали брюки, носки. Он ничего не ощущал, кроме теплых Лидиных пальцев в своей руке и тревожных ударов собственного сердца. Ему было и радостно и страшно.

«Наконец-то она поняла меня, оценила мою любовь», — думал он, веря, что в этот необыкновенный вечер решится наконец его судьба, устроится его личная жизнь. Теперь пусть попрекают, что он прозевал Машу. Зато он нашел Лиду, молодую, красивую, образованную. О лучшем друге жизни нельзя и мечтать.

— Хорошо поют украинцы, — сказала Лида. — Только очень уж известные песни у гайновцев. А какие песни есть на Украине! Ах, какие песни, если бы вы знали, Максим! Мы с мамой жили на Урале с украинцами. Как они пели!

— А я служил с украинцами, — сказал Максим, чтобы поддержать разговор. — У меня лучший друг был украинец…

— Откуда? — серьезно спросила Лида.

— Винницкий. Панас Комар.

— Вы переписываетесь? Он смутился.

— Переписывались. Но потом… не помню, кто из нас первым не ответил… Знаете, как бывает.

Лида грустно вздохнула. Она была в этот вечер на диво серьезна, даже как будто печальна. Но Максим толковал это по-своему, в свою пользу: всегда трудно бывает перешагнуть какой-то рубеж в жизни. И он

старался ей не докучать, молчала она — молчал и он. Пускай подумает.

Они вышли на дорогу и, обернувшись назад, остановились. Красиво выглядели Лядцы отсюда, с пригорка, в эту ясную июньскую ночь! Над деревней повисла неполная луна, а под ней переливались электрические огни. Ярче всего они были у гидростанции, особенно ярко светились широкие окна, на фоне которых хорошо видны были фигуры людей. Они мелькали одна за другой, как на экране. Выступления хоров окончились, и на площадке танцевали. Заливались баяны. Девичий голос выговаривал веселые частушки.

Снова долго молчали, и молчание это становилось уже неловким и трудным, Максим не выдержал: неожиданно обнял девушку, притянул к себе, хотел поцеловать в губы, но она отвернула голову, и он поцеловал в щеку раз… другой… В первый момент она не сопротивлялась, безвольно затихла в его руках. Тогда он, переполненный горячим чувством, порывисто поднял её, маленькую, легкую, и крепко поцеловал. Лида, как бы опомнившись, энергично вырвалась из его объятий, отскочила в сторону. Но он устремился за ней, схватил за руки, снова притянул к себе.

— Скажи… Скажи одно только слово — любишь? Скажи…

Она молчала.

— Ну, почему ты молчишь? Разве это так трудно?

— Для меня трудно.

Он засмеялся счастливым смехом.

— Когда по-настоящему любишь, это совсем не трудно. Я могу повторить тысячу раз: люблю, люблю… Я не в силах дольше так жить… Мне надоела эта игра в жмурки… Я хочу сегодня же все знать, все решить… Лида! Скажи…

Она отступила, отняла у него свои руки и сказала:

— Хорошо, Максим. Я скажу. Не будем касаться чувств... Не надо... Я думаю, что никогда не буду твоей женой...

То, что она сказала, было так неожиданно и так ошарашило бедного Максима, что он не мог вымолвить ни слова и только не то хмыкнул, не то всхлипнул... Он почувствовал себя мальчуганом, которого отшлепали как раз в тот момент, когда он, после всех своих шалостей и озорства, хотел сделать что-то очень хорошее, серьезное, за что бы ему простили все прошлые грехи. И ему и в самом деле, как такому мальчугану, хотелось одновременно и смеяться над своим глупым желанием и заплакать от обиды.

— Ты не сердись... Говорят, сердцу не прикажешь. — Она тяжело вздохнула.

Максим неприятно засмеялся и со злостью спросил:

— Не подхожу по социальному положению?

— Не груби, Максим... Я хочу, чтоб мы остались друзьями... И может быть, когда-нибудь я смогу тебе все объяснить и ты меня поймешь... До свиданья... Ты забыл, что тебя ждут гости? Иди, а то неудобно... гости соберутся, а хозяина нет. А я пойду танцевать. Прощай! — Лида протянула ему руку, и он пожал её коротко, вяло, как жмут на прощанье руку малознакомому человеку.

Она сбежала с насыпи и быстро пошла по тропке навстречу огням и музыке.

Он стоял на дороге и смотрел, как отдалялась её фигурка, освещенная луной, и, когда она скрылась совсем, горько усмехнулся: «Вот и все, Максим Антонович. Еще одна оплеуха судьбы... Ну ничего, переживем и это... Что там у меня ещё? Ах, гости! Ну что ж, брат, пойдем к гостям... Пойдем и напьемся с горя».

Гости и в самом деле ждали хозяина, и взволнованная мать встретила его упреком. У нее давно уже было все готово и поставлено на столы, залитые светом двух стосвечовых лампочек.

В ответ на её попрек Максим ласково обнял мать:

— Ничего, мама. Все хорошо… Все хорошо, мама. Она удивилась, что он такой ласковый и смирный.

Он извинился перед гостями, пошутил и сразу начал разливать водку. И никто ничего не заметил.

Только Ирина Аркадьевна вздохнула, Игнат Андреевич взглянул на жену и нахмурил свои лохматые брови.

— Ну, первый тост полагается провозгласить старшему из нас, — предложил Макушенка.

— Николай Леонович? Нет, Игнат Андреевич. Ладынин поднял руку, требуя внимания.

— Нет, товарищи. Старшая среди нас Сынклета Лукинична.

Она смутилась, попробовала отказаться, но, когда убедилась, что все настойчиво требуют, чтобы именно она сказала первое слово, поднялась и перешла с края, где примостилась было, на середину стола, остановилась рядом с сыном. Подняла чарку, легко вздохнула, вытерла уголком платка губы.

— Выпьем, гости дорогие, за свет. За этот вот свет, — она показала на лампочку. — Чтобы всем нам так светло жилось…

Гости захлопали, осушили чарки.

Провозгласили ещё несколько тостов. Выпили.

Но никто не пьянел, и беседа не становилась беспорядочной, как это иногда бывает, когда после трех-четырех рюмок праздничный стол превращается в улей — каждый гудит о своем. Здесь же, о чем бы ни

зашла речь, в беседе принимали участие все. Говорили спокойно, обдуманно, по-хозяйски, о будущем урожае и об использовании электроэнер гии, о знакомых людях и о жизни вообще, о мире и о детях — обо всем, что волновало их в тот день.

Хорошо, душевно текла беседа людей, ежедневно встречавшихся на работе, но редко — за столом, в минуты отдыха от многочисленных забот. От серьезных разговоров переходили на шутки. Белов очень интересно и с юмором вспоминал молодые годы, женитьбу, с гордостью рассказывал о своих детях. Должно быть, один только Максим не принимал участия в беседе. Правда, сначала он старался быть веселым, шутилподливал в рюмки, настойчиво уговаривал выпить. Но, выпив первые чарки, гости пили мало, сдержанно, только из вежливости пригубливали и ставили обратно на стол. И продолжали беседу. Немного опьянев, Максим понурился, умолк и, подперев кулаками щеки, молча слушал, хотя и не все слышал, многое пролетало мимо его ушей. Желание напиться исчезло, водка показалась противной. Им овладело какое-то безразличие, усталость, хотелось скорее остаться одному, лечь и уснуть — он в последние дни мало спал, вставал с петухами.

Теперь многие заметили, что он не похож на себя, что у него чем-то испорчено настроение. Но только Ладынины да мать догадывались, в чем дело.

Василь долго и внимательно следил за ним, потом вдруг поднялся, налил рюмки.

— А хозяева, пожалуй, вправе на нас обидеться, — весело начал он, кивнув на бутылки. — Сколько стоит нетронутого. Давайте же докажем, как надлежит хорошим гостям, что мы ценим их радушие… Я хочу выпить за нашу дружбу… За мою дружбу с Лесковцом… Максим Антонович?

Максим встал, но какое-то мгновение не поднимал глаз, как бы раздумывая, стоит ему выпить или нет. Все притихли, насторожились. Вдруг Максим поднял

голову, приветливо и как-то виновато улыбнулся и пошел к Василю, на другой конец стола. Они чокнулись, выпили и, обнявшись, поцеловались.

— Вот за такую дружбу и я выпью, — весело сказал Ладынин, поднимая чарку. — В добрый час!

Стал затихать шум турбины гидростанции. Погасли лампочки. Но было уже светло. Начинался новый день.

Минск 1949–195

Падрыхтаванае на падставе: Иван Шамякин, В добрый час. Криницы. — Москва 1962.

Вошедший в настоящее издание роман «В добрый час» посвящен возрождению разоренной фашистскими оккупантами колхозной деревни. Действие романа происходит в первые послевоенные годы. Автор остро ставит вопрос о колхозных кадрах, о стиле партийного руководства, о социалистическом отношении к труду, показывая, как от личных качеств руководителей часто зависит решение практических вопросов хозяйственного строительства. Немалое место занимают в романе проблемы любви и дружбы. В романе «Криницы» действие происходит в одном из районов Полесья после сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Автор повествует о том, как живут и трудятся передовые люди колхозной деревни, как они участвуют в перестройке сельского хозяйства на основе исторических решений партии.